

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1966 года
САРАТОВ

9-10 (452)

2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Алексей Цветков. «учебник насморка» *и др. стихи* 3
Владимир Шапко. Один день перед поездкой в Бирск. *Рассказ* 7
Александр Титов. «Жозефина». В плену у бауэра. *Рассказы* 22
Павел Бессонов. Славик с Гавани. *Рассказ* 31
Виталий Лехциер. «мясо твое по-провансальски я никогда не забуду...» *и др. стихи* 41
Александр Авербух. «эта тишина вокруг...» *и др. стихи* 47
Антон Пайкес. Кансер. *Повесть* 50
Сергей Трунев. «странно бывает порой, когда...» *и др. стихи* 86
Ольга Дернова. «Явится Август, чуть полноватый в талии...» *и др. стихи* 90
Руслан Комадей. «рыбы в потёмках ветрены но скуласты...» *и др. стихи* 93

ПЕРЕВОД

Ален Бешич. Из книги «Голое Сердце»
Перевод с сербского Мирьяны Петрович и Андрея Сен-Сенькова при участии Анны Ростокиной 95

ДЕБЮТ

Ярослав Солонин. «Развалы. Схождения» *и др. рассказы* 101

THAT IS THE QUESTION

Антон Ботев. Лимитрофный человек 115

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Андрей Пермяков. «Если спросите – откуда...» 137
Николай Скворцов. Стихи математика 140
Сергей Трунев. «Ниже Нижнего»: воплощенная мифология 141
Александр Котюсов. Изображая правду 142
Станислав Секретов. Мир без имени 150
Олег Рогов. Андрей Белый, чело века. Уже не двадцатого 152

КИНООБОЗРЕНИЕ

Иван Козлов. Ной в двойнике города грехов 154

© «Волга», 2014

Алексей ЦВЕТКОВ

учебник насморка

утро вечер чет да нечет
на заре заводит кочет
перед сумерками кречет
вниз на звук где дичь щебечет
по ночам сверчок стрекочет
срок не точен день не начат
в лунном омуте умыться
отчего ребенок плачет
вор вокруг или убийца
топора в руках не прячет

что все это вместе значит

снова в спину сноп картечи дар внезапной русской речи даль иванович владимир соловей максимыч горький петр степаныч верховенский суслик в свист над теплой норкой все животные природы проносящиеся мимо словно точные приборы пульс отсчитывают мира в чаще млечные собачки собирают гриб с малиной выстлав солнышком лукошко прав топор и труп окрошка грот с аскольдовой могилой снег иванович ложится на валдайские просторы птичьи стаи волчьи своры леший пустоши владелец чей убийца на свободе почему завыл младенец привидение в соборе днем и ночью череп с течью как поступим с отчей речью как нам быть с постылым словом скарб в баулы собираем пробил срок припасть к основам расставаться с милым краем ночевать в приятной ницце но с картечью в пояснице

чет да нечет вечер утро
звезды в пруд стремглав сгорая
кто трусы развесил мудро
на веревке вдоль сарая
плесень в летописный свиток
участковый в ступе скачет
догадайся с трех попыток
почему младенец плачет
почему во рту ворона
но рукой нельзя потрогать

Алексей Цветков родился в Станиславе (ныне Ивано-Франковск), Украина. Жил в Запорожье, Одессе, Москве, учился на химическом факультете Одесского университета, на факультете журналистики и историческом факультете МГУ. Был участником поэтической группы «Московское время». С 1975 г. в США. Окончил Мичиганский университет, диссертация об Андрее Платонове. Работал на радио «Голос Америки», затем долгие годы – в Праге на радио «Свобода». Автор нескольких книг стихов и прозы, переводов с английского и польского. Лауреат премии Андрея Белого (2007) в номинации «Поэзия». Живет в США.

вечер полночь полвторого
вот из ходиков по локоть
в жирной перхоти кукушка

сколько их куда им нужно

кругом головы насколько в облака уходят ели мы зарыли здесь аскольда мы верстовскому подпели из бревна точили бога ели мыло но немного после сруб тесали хитрый васильки на ставнях даже в нем младенец тот димитрий дремлет с дыркой в фюзеляже весь дитя добра и света рифму рвением не вымучь мы потом ему за это дали отчество максимыч пароход плывет по волге пионер в сортире летом царский сын на сером волке все к максимычу с приветом сам в слезах любовью тронут и гагары тоже стонут хоть и дан отпор татарам но остались сами с носом как нам быть с заветным даром с неотвеченным вопросом правь дружина вниз по каме утлый гробик с детским фаршем ель торчком над облаками станет мять ее руками бог древесный в чине старшем нам чума его наградой мы всегда к нему с обидой

снег иванович не падай
бог васильевич не выдай

***

Марианне Кияновской

вот контур эльбруса реальность обрел
в космической дымке нечеткой
а совесть и есть тот зевесов орел
которому платишь печенкой

здесь крыльями плещет смятенье и боль
хоть жизнь прокрути в голове ты
предел за которым союзников ноль
повсюду вражда и наветы

в долинах в апреле трепещет листва
столетия в ритме покорном
но злые с олимпа глядят божества
портвейном давясь и попкорном

так зверя дразнить в зоопарке смелы
подонки в испарине липкой
но глянешь на мир с одинокой скалы
и мир отвечает улыбкой

окинешь кострами пестрящий пейзаж
где греются в стужу приматы
и знаешь что их никогда не предашь
что с них не потребуешь платы

à la recherche

поиск в интернете незакатных мертвых в парусных болоньях в пиджаках двубортных колоколом юбки ульями прически стеклышки в колечках гробовые доски
вот стою под дверью собственной квартиры подвели-звонили две астральных феи полкило пшеничной кореша-кретины след губной помады в ареале шеи грозный взор отцовский мать всплеснет руками в одеяло рылом и беда не горе но в конце маршрута баня с пауками мыльные разводы двери на запоре отскрипела юность разлетелись звенья вымпелы похмелья знамя отрезвленья
где вы толик-топик или шубин яша валя и агнесса якушева люба вдребезги с разгона вся телега наша голую реальность выкатили грубо вывеску с которой навсегда отмыты мелкие кровинки все эритроциты отключили сердце от подачи тока неуютно смертным старым одиноко безуспешен поиск предстоящий людям где от гугла яндекс отличать не будем первая подружка жмур на катафалке прелая кадушка крестовик на балке вспомнится при встрече с вечными мышами как тогда любили где еще дышали

***

дело не клеится лето кончается
с осенью пасмурный август венчается
падают с веток плоды
грустный енот у воды

лето с платформами с дачными сплетнями
купола звездные швы
вот мы остались на свете последними
из остальных что ушли

отбыли рано по кромке над пропастью
по золотому ковру
все на кого мы надеялись попусту
верили тщетно кому

вот почему не сидится на месте нам
если с утра за окном
осень стоит в облаченье невестином
в новом венце ледяном

место где прервана фабула повести
пеплом светил замело
мельком лицо в отбывающем поезде
в недрах ночного метро

***

нищий взял потертый грош
их на спуске свора

и сказал мне ты умрешь
но еще не скоро

так печально поутру
протерев посуду
вспоминать что вот умру
и уже не буду

все забуду выйду в сад
все же труп не вдруг ты
где красивые висят
ягоды и фрукты

там где яблоня росла
расцветает вишня
может он соврал со зла
и ошибка вышла

в сучьях светится окно
ночь с огнями в саже
это было так давно
что не страшно даже

Владимир ШАПКО

ОДИН ДЕНЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ В БИРСК

Рассказ

За грудиной опять подавливало. И не за грудиной даже, а будто в пищеводе. Пищевод словно был поранен чем-то изнутри. Слипся, саднил. Покосившись на Курову, Константин Иванович сунул под язык таблетку. Вновь попытался сосредоточиться на письме... *Я хоть и милиционер... но тоже человек...* Да, не густо у тебя с грамотешкой, человек-милиционер... Прямо надо сказать...

Задергало вдруг форточку, привязанную за шнурок.

– Константин Иванович... – не прерывая писанину, сказала Курова.

Новоселов полез из-за стола. Подошел, потянувшись, развязал шнурок. Но не захлопнул форточку. За шнурок и удерживал. Был будто при форточке. Охранником.

– Константин Иванович, разобьет ведь!.. Гроза начинается!

– Не нужно закрывать. Душновато что-то. Я подержу, не беспокойтесь. – Переворачивал во рту валидолину, по-прежнему удерживал форточку. Так удерживают хлопающийся парус. В надежде, что тот куда-нибудь вывезет. – Ничего...

Ветер задул еще сильнее. Как крестьяне перед помещиком, деревья внизу неуклюже зараскачивались, закланялись вразнобой. Голубей носило, кидало будто косые листья. Полетели сверху первые сосулины дождя. И – хлынуло. Константин Иванович смотрел в непроглядную стену дождя, потирал потихоньку грудь. На улице разом потемнело. И только автомобилишки мчались по асфальту искристые, как мокрицы. В морозный от валидола рот стремился озон.

Ночью луна лезла в облака словно в разгром, словно в побоище. Константин Иванович лежал на кровати у окна очень живой, точно весь облепленный дрожащими аппликациями. Потом за окном наступило ночное безвременье – час, полтора между ночью и утром. Которое ощущалось большой черной ямой, где все неподвижно, где воздуха нет – удушен. Катал во рту таблетки. Уже распластанный. Как рыбина. Конечно, клялся, что уж бо-ольше ни в жизнь! ни одной! (Сигареты, понятное дело.)

Добротные закладывала храпы Даниловна в соседней комнате. Хозяйка квартиры. За семьдесят старухе, ест на ночь от души – и хоть бы что. Храпит себе!.. Не-ет, всё-о. Завязал. Пачку вот... докурю... и амба!.. Где спички-то, черт подери? Куда засунул опять?

...В кафе на Случевской горе Константин Иванович взял гуляш, стакан компота, хлеба кусочек. Поколебавшись, заказал коньяку. Пятьдесят грамм. Вроде бы помогает. Малыми дозами, конечно. Все отнес на подносе к краю раскрытой веранды, поставил на голубой пластиковый столик.

Владимир Шапко родился в 1938 году. Окончил Уфимское музыкальное училище. Печатался в журналах «Уральский следопыт», «Урал», «День и Ночь», альманахе «Енисей». С 1997 года – постоянный автор журнала «Волга». Живет и работает в Усть-Каменогорске.

Кафе было пустым. Буфетчица сидела за стойкой как неиграющая туба. На раструбе которой много осталось скрипичных ключей и разных ноток.

Константин Иванович выцедил из стакана, стал есть. Солнце играло в бойких листочках куста у веранды. Как будто и не было никакого ливня вчера.

Курил на скамейке неподалёку от кафе. Аллея была тенистой, провальной. Вдоль асфальтовой дорожки сохранились водостоки в почве, ветвистые русла от ливня. В бликах солнца над асфальтом билась одинокая бессонная лотерейка мошек. Чей-то пёс-дурень пытался их кусать. Мошки взмывали повыше и опускались. Снова бились. Бился будто крохотный движитель... жизни... только бы не мешали... Здоровенный дурила дог изумленно крутил башкой, расставив передние, будто полиомиелитные, лапы. Из кустов вывалилась дамочка в брючках.

– Джерри! Что ты делаешь! – Джерри клацал слюнявым капканом. – Перестань! Не смей! Бяка! – Ухватила за ошейник, с гордостью повела. Джерри прошел мимо Константина Ивановича, навек ушибленный. Тестикулы сзади никчемно болтались. Эх-х...

Посмеявшись, Константин Иванович поднялся, бесцельно двинулся куда-то. Парк тоже был безлюдный. Пройдя вдоль цветочной клумбы, неожиданно вышел на открытый склон горы, к полянам. Вышел к солнцу, к простору во весь дух, к Белой внизу, к уходящим за ней до горизонта кудрявым лесам, перелескам, лугам. Устроился прямо на траве. Слева гудел коммунальный мост, вдали по горе утопали в садах домишки Старой Уфы, напротив, через реку – Цыганская поляна, и вправо вдоль реки до железнодорожного моста раскидалась Архиерейка, или попросту *Архирейка.* Домишки там лепились по берегу, по косогорам, по оврагам. Хороший обзор, все видно.

...давненько не бывал здесь. Река даже вроде другой стала. Поуже, что ли. Помельче. Вода другая – серая, не беловатая как раньше. Заводы. Подпускают втихаря. Как в штаны. Пьют ли сейчас воду из Белой? Архирейские хотя бы? Раньше только из реки. Ведрами на коромыслах. Женщины в основном таскали, девчонки. Полоскали зимой тоже на реке. В прорубях. Валиками молотили. Матери белье к реке тоже таскал. В Старой Уфе. Белье в корзинах. Мороз ни мороз – полощет. Тем и сгубила себе руки. Прачкой всю жизнь была. Да-а... Гырвас опять разглагольствовал вчера. Начнет всегда за здравие, а кончит за упокой. Досталось и мне как всегда. *Отдел писем не реагирует на сигналы трудящихся.* Дурень. За сигналы люди слетают с работы. Сами сигнальщики. На планерках всегда снимает пиджак. В подражание какому-нибудь американскому издателю-зубру. Времен Марка Твена. Бархатная жилетка. Пальцы заложены. Поигрывают на животе. Похаживает. Как длинная вздутая шотландская волынка. С болтающимися сосками. *Мы газета, а не... пардон, здесь дамы.* Постоянный обрываемый тезис. Постулат. На каждой планерке. Клоун. *Руководители на это предприятие были подобраны самым тщательным образом. И результат не замедлил сказаться.* Дурость, газетная шелуха. Отвяжется ли когда? К черту! Цыганская вон лучше. Цыганская поляна. Понятно, что прозвали из-за цыган. Таборы те там разбивали. Телеги, лошади, костры. Песни на лугу. Пляски-оторви-сапоги. Ситцевые метели... Всё прошло. Сейчас и в помине ничего не осталось. Сейчас дома́. Добротные дома. Усадьбы. И ни одного цыгана... Каждый год подтопляет. Земляная вода какая-то. Грунтовая, видимо. Уже после ледохода. Только дома на воде и ровные рамки огородов. С месяц так держится. Каждый год. И – живут. И никуда с Цыганской. Все дело в рамках этих водяных. В огородах. Нет лучше на базаре помидоров, огурцов, чем с Цыганской поляны. И из колхозов убежали. И в город калачом не заманешь. Эх, «Ракета» вон опять по воде летит. Легкая, стремительная. Сверкающая стеклом. Прямо Сорбонна. Летящая по реке Сорбонна. На Бирск пошла, к моим, двенадцатичасовая. Завтра и я поеду. И видится почему-то сейчас на гаснущих волнах лодчонка. Давно сгинувшая лодчонка. В ледовом крошеве весенней реки черепашкой шкрябающаяся к берегу. А в лодке той двое. Молодой парень с чубом и его пожилой отец. Иван Филиппович Новоселов...

...Ночами по апрельской раздетой реке рыскали лодки архирейских. Звякнет цепь, проскрипит вдруг натужно уключина, взворкнёт коротко матерок – и опять только всхлипывающий несущийся черный холод. Видимости – глаз выколи... А утром, как по щучьему велению, берег Архирейки – в топляках. Укидан. Весь! И на Цыганской такая же картина!

Иван Филиппович Новоселов метался на лодке с сыном между берегами.

– Ты закон знаешь?! Ты закон знаешь?! – бегал перед каким-нибудь амбалом из архирейских. Маленький, до пояса в мокром плаще. Красноглазый от бессонницы, весь воспаленный. – Знаешь, я тебя спрашиваю, черт, а?

– Знаю... – уводил в сторону глаза архирейский. – *Тюлень*... Сам выполз... – Кивал на берег: – Вон их... Как на лежбище... – И добавлял, поглядывая на Новоселова, как бы причастный к его заботе: – Лезут, гады...

Новоселов с досадой плевал, лез прямо в ледяную воду, опять мочил полы плаща. Неуклюже, по-стариковски переваливался в лодку. Резиновые сапоги стукали о борт как колотушки. Долго налаживался с кормовиком. Приказывал, наконец, сыну: «Давай, Костя, греби». И Костя, слушатель рабфака тогда, греб. Но чуть пониже по реке... отец опять выбегал на берег. Опять ругался. С другим уже амбалом:

– Ты закон знаешь?! Черт ты этакий, знаешь?!

Не в законе было дело. Дело было как бы в поправке к нему. Если «тюлень» с а м выполз на берег, да у твоего дома – он, стало быть, твой. Так ведь? Филиппыч?

– А нижегородским что? А? А дальше – по деревням? А благовещенским? Куда тебе столько? Глот ты чертов! Продавать?

– Ну, одного... двух и спихнуть можно... Пусть плывут... Нижегородским... Иль еще кому... Если доплывут, конечно...

– Тьфу!

Все лето «тюлени» вылеживались на берегу, матерели. Под ветрами, дождями, солнцем. Осенью их начинали пилить. Потом вывозили на лошадях с татарами, продавать. Лучше топлива зимой – не было. Лес строевой по берегам не валялся никогда. Белого дня не видел. Дома рубились-ставились по Цыганской и в Архирейке словно бы сами собой. Вроде бы тоже по ночам. Отношения к реке не имели. Мы к этому касательства никакого. Мы – сторона. Ловите там чего, вылавливайте. На то вы и речная инспекция!..

Отец и сын курили, скукожившись на гольце. Сплывала перед ними огромная холодная тишина реки...

...бедняга отец. Хотел, чтоб по справедливости. Чтобы всем доставалось. Опять полетела Сорбонна. Красавица. Эта до Благовещенска. Двенадцать тридцать. До Бирска не идет. Однако припекает. Солнце что тебе перцовый пластырь. Хоть и ветерок с реки прибегает. Прямо сюда, на Случевскую. Кустарники теребит... Случевская... Случевская гора... От «случая», наверное, назвали. Всё тут бывало: и любовь, и раздеть-прирезать. Однако печет. Голова уже как грелка. Напечь может. Лосиха ведь говорила, прикрывать надо. Лопух, что ли, вот этот хотя бы? Увидели б мои. Антонина с Сашкой. Лопух сидит. Укрытый лопухом. Газету где-то оставил. Брал или не брал со стола? Вот память! Зато опять вспоминается это письмо в редакцию. Безграмотное. *Я хоть и милиционер, но тоже как бы человек.* Кто же спорит? *Не могу молчать.* Молодец. Присылай. Весели редакцию. Зубоскалов у нас хватает. Зачем все это лезет в голову? Мысли разбрасываются. Глаза только видят точно. Река блёсткает как кольчуга. Утки две плывут. Держат наискосок от берега. Сыграли под себя. Мгновение – и нет на поверхности. Вынырнули. Опять плывут. И опять сыграли. Мы ведь чукчи. Акыны. Что видим, то и поём... Лосиха вот опять вспомнилась. Врач. Кардиолог. Странная фамилия Лось. Странная для еврейки. Лосиха. Все побаиваются ее в отделении.

Лосиха сказала. Лосиха узнает. Белый персонал весь на цыпочках. За семьдесят, поди, старухе. А всё работает. Одна, наверное, уже живет. Никого не осталось. Только в душе. Горбунья. Которая знает все подлости жизни. Хлебнула наверняка всего. С лихвой. Не удивишь такую ничем. Приклонится к тебе с кривульным своим фонендоскопом, вопьется им в тебя – и слушает. Как паук. Только глаза пошевеливаются. *Зачем же лечить безвольного жалкого курильщика. Вас же опять видели с папироской. У меня же кегебе.* Забавная старуха. Сколько же мне осталось? Год? Два? Месяц? Так и не сказала. Что с Сашкой будет? С Тоней? Воздержаться пока от сигареты. Получаса еще осталось. Помнит ли женщина всех, кого любила? Или прав Бунин. Сломал в общем-то жизнь бабе. Ничего не дал. Постоянный приезжающий, идиотски радующийся гость. Стесняющийся деликатный подлец. *Вы не беспокойтесь, я ненадолго. Не буду вас стеснять.* Под-лец. Ладно. Хватит об этом. Тут еще сигарета эта. Не разминается. «Памир». Дешевле просто нету. Эконом-подлец. На сигареты с фильтром ему жалко. Так и будет до смерти пёрхать. На поездки экономит. Этаким благодетелем всегда приезжает. Встречайте его. Стесняется. Улыбочку прячет. *Извините. Ненадолго.* С сумочками, со сверточками. Ножками о половичок шоркает. Га-ад. Однако сигарета – дерет, стерва. Но что с письмом милиционера делать? Мимо Гырваса не пройдет. Сигнал. Хотя совсем другое там. Кстати, почему – Гырва́с? Фамилия-то его Балашов? Что Григорий Васильевич, что ли? Гырва́с. А также Гарва́с. Острословы. А меня и вовсе – Неуверенные Муди. В первый раз услышал, не обиделся даже. Не в бровь, а в глаз. Коньки отброшу – *Муди умер. Слыхали?* Тоже не плохо. Сашку привел в редакцию – Село. Сразу. Как и пацаны в Бирске. *Я же не Село, хотя и Новоселов. Почему? У тебя чуб не так растет. У тебя вверх, а у него вперед. Значит, – маленький Село.* И смеются. Тяжело парнишке будет. Замкнутый, неразговорчивый. Может быть, со мной только так? Гость ведь? Вечный гость? Чувствует мальчишка, чувствует. Эх, думать даже об этом тяжело. А в глубоком горизонте опять погромыхивает, вздрагивает. Опять что-то рвут. Словно в большой церкви большая проповедь войны идет. Парнишка сразу тот вспомнился. В Белоруссии. Чем-то Сашка теперь похож на него. Затаенным ожиданием, что ли. Стоял тогда на перроне. В немецком кителе цвета цемента. С подвернутыми грязными рукавами. Оловянные пуговицы. Как глаза слепых по тогдашним вокзалам. Вдруг побежал за раскрытым вагоном. За нашей теплушкой. Расплескивая из котелка. *Дяденька, меня Гришкой, Гришкой зовут! Из Лебядихи я, из Лебядихи!* Почему плакал и бежал. Много всего было, а этого не забыть... Ладно, хватит. Тяжелое. Не надо. Сейчас. О другом лучше думать. Зарегистрировала ли Курова письмо? Такая вряд ли забудет. Робот. Автомат. Густые красивейшие волосы блондинки. Но с кожей лица уже самостоятельной. Какая бывает у дамского наморщенного сапога, надетого на ногу модницей. Лет пятьдесят уже даме. Однако до сих пор с талией хорошо перевязанной метлы. Ходит гордо. Сохранила фигуру. Рожала ли когда? Нет, пожалуй. Такие не рожают. Всю жизнь возле начальства была. Секретарствовала. Нашими-то ловеласами брезгует. Впрочем, Тигривый там чего-то вроде бы. С улыбочками докладывали. В Совмине до нас была. Под каким-то министром. Не угодила чем-то. А может, просто надоела. Молодой заменил. Фаворитка в опале. На письма к нам засунули. Как и меня в свое время. Хотя я сапоги никому не лизал. За «дело», как они сказали. *Ты аморальный человек, Новоселов, и в партии тебе не место.* А, да ладно. Пусть. Быльем поросло. А эта многим уже крови попортила. *Письма жалобщикам нужно писать от руки, уважаемый Константин Иванович, но на бланке редакции и с печатями.* Большой психолог. Всю жизнь отфутболивала. Как такой не знать? *Вам опять Виктория Леонидовна звонила. Говорит, что вы скрываетесь от нее. Говорят, вы теперь комнату где-то снимаете. Так ли?* Курова... Курвовой бы ей называться. Ладно. Черт с ней. Громадный плот вон из-под моста вылезает. Два катера в хвост впираются. Чтобы не занесло на берег. Головной катер с длинным тросом бурлит точно на месте. Метров на триста плот. Отец бы ахнул, увидев, какие плоты стали таскать. Рубленый домик на одной из секций. Проплывает. Постирушки под солнцем полощутся. Ребятишки в рубашонках бегают, подпрыгивают. Черпаком

ворочает в казане мать. В свисшем кошеле платья заголились расставленные убойные ноги молодухи. Сам хозяин-плотогон в резиновых сапогах – валяется. На спине. Русая голова в воде меж бревен плавает – как замоченное белье. Да-а, жизнь. Семейная. Вспоминается сразу Куликов. Доцент нефтяного, кажется, института. До войны у Цыбановых комнату снимал. Рядом с нашим домом. Жена – хромоножка. Как старенькая обезьянка взбалтывала и прихлопывала ножкой во время ходьбы. Когда он вел ее под руку, то тоже приволакивал ногу. Синхронно, почти как она. Сам лысый. Виски, что у старого голубя – горящими спиртовками. Так и шли всегда под руку какой-то неразлучно-обоюдной обузой. Такие не живут друг без друга ни дня. Старая Цыбаниха говорила, выкатывала вареные глаза. *Моет её! Не поверите! В тазу! Как ребенка! А потом она его – такого байбака.* Бабы покачивались у ворот. Смотрели как на небожителей. На всю жизнь запомнилась пара. Отец однажды. Выпивши. На скамейке сидели. *Вот как надо любить. А ты тряпка. Вытирают ноги – молчишь.* Прав был старик. Прав. Семейные отношения. Тайна двоих. Известная всем. Тот же Коля. Коля-писатель. Друг Коля. Постоянно напряженный весь. Напряженный в себе. И одновременно – вовне. Как слепой, идущий по тротуару. Стукающийся палочкой. Бедняга. Тоже фронтовик. Контуженый. Без руки. Нет, моей далеко до его Аллы Романовны. Далеко. А впрочем. Такой же тряпкой, как Коля, всю жизнь был...

...В тот день Константин Иванович ехал в Бирск последним автобусом. Как всегда, истерически приподнятое настроение перед поездкой (бегал по магазинам, накупал продуктов, торопился, дома складывал, паковал) сменилось в пилящем автобусе тяжестью, тоской. Обложенный сумками, сетками, Константин Иванович болтался в полупустом автобусе на переднем боковом сидении... В облаках у горизонта светило закатное солнце. Светило коротко, медно. Как светит коротко, медно трехлинейная лампа, зажженная раньше времени, оставленная в пустой избе на столе... Три селянки с пузы́ристыми остановленными глазами удерживали свои корзины, как неотпускающие дневные заботы свои. Будто гусеница, тыкался в клюшку задремывающий старик...

И опять было топтание у порога, тихие приветствия, извинения. Пошаркивал, вытирал ножки о половичок. Гость, знаете ли. Гость смущающийся. Ладно. Чего уж.

Потом семья, что называется, мирно ужинала. Гость освоился уже. Шутил. Да. Конечно. А как же.

Тут дверь – словно без веса, словно картонная – резко распахнулась... В комнату вошел Коля... Вернее, не вошел – он словно вплыл в своих слезах; его трясло, пытаясь говорить, он клацал зубами, очки буквально плавали по лицу...

Сашка и Антонина вскочили. А Константин Иванович уже подбежал, уже заглядывал в глаза:

– Что случилось? Николай! Умер кто?

Коля мотнул головой.

– Кто?! Алла?!

– Нет, нет!.. Я... я умер... – Коля больно наморщился и потащил из кармана уже весь мокрый платок.

Константин Иванович отпрянул от него, тоже полез за платком – аж потом прошибло. А дальше все трое только пугались, вздрагивали от Колиных слов:

– Я... я... я не могу больше!.. Костя! Тоня! Я не вынесу!.. Она... сегодня... она мне... мне на стол... мне... прямо на стол... на рукопись поставила... на рукопись... ведро, ведро поставила... мне... ведро...

– Какое ведро? Куда?

– На... на рукопись, понимаете... ведро... прямо...

– Какое ведро, черт тебя дери?!

– Помой...ное... на рукопись... прямо... помойное ведро... Я не могу больше! Я... я...

– Что-о?! Ну, знаешь! – Константин Иванович сразу заходил, закипел самоваром. – Эт-то! Однако, да-а! Так издеваться! Да где она, стервозка! Я ее... А ну пошли!

Антонина метнулась, загородила дорогу, торопливо, испуганно говоря, что не надо, не надо ходить, что разобраться сперва надо, разобраться, Константин!..

– Это еще в чем? – с подозрением прищурился Константин.

Дальше всё смешалось. Кричал Константин Иванович, теперь уже как от ударов дергалась от его криков Антонина, пыталась останавливать, чтобы по-хорошему, чтобы разобраться сначала, чтобы по-людски! Безучастный, давился слезами на табуретке Коля. Безрукое плечо его вздернулось как у сжаренной утки.

– ...Да мужик ты, Колька, или нет, а? В конце-то концов! Или тряпка, которую топчут всякие гадины? Долго ты будешь терпеть? Долго, я тебя спрашиваю?! – Константин Иванович подскочил к стенке, застучал в нее кулаком: – Слышишь, сучонка? Я тебя говнами твоими накормлю, так и знай! Я тебя, мать-перемать, в порошок сотру! Я тебя...

Антонина стала хватать за руки, уговаривать, умолять, что не надо, не надо, нехорошо это! нехорошо! Господи!

– А-а-а! Нехорошо-о-о?! – перекинулся на нее Константин Иванович.

– Да что ты! Что ты! – пятилась Антонина. Деликатный постоянный гость был неузнаваем. Таким неузнаваемым бывает внезапно одуревший, пьяный.

– ...А-а-а! Неудобно-о-о?! Так ты заодно с ней?! Значит, если б я тоже вернулся с войны таким, да к тебе пришел, то ты... то ты – тожа-а-а?! Да я тебя!..

– Костя! Костя! Опомнись!..

Сашка кинулся, схватился за мать. Тут всунулась толстая Кудряшова. Соседка:

– Что у вас происходит? Вы не даете смотреть телевизор! Я...

Константин Иванович тут же подбежал:

– А ты иди, презервативы свои надувай! (До самой пенсии Кудряшова работала начальником ОТК линии «резинового изделия номер два» на заводе Резинотехнических изделий в Уфе.) Презервативы! Чтоб дырок не было! Поняла?! – Мотал длинным указательным пальцем перед большим испуганным лицом: – Знаю, кто написал на меня в редакцию! Знаю! Стукачка! Вражина! – Кудряшова попятилась, исчезла.

– Костя! Костя! Опомнись! – уже плакала Антонина.

Как от сильного удара схватился за голову Константин Иванович. Сел на порог у распахнутой двери. Раскачивался, не выпуская безумной головы из рук: что он делает?! что он несет?! что он мелет?!

Ночью метались по темноте немые молнии. Словно слепцы по разным дорогам яростно пытались прозреть. Словно это была последняя их возможность, последний шанс... Сашка спал в простенке своем. Резкий сжатый свет из окон точно подбрасывал его и тряс вместе с диваном. Однако мальчишка был покоен, не просыпался. Во время сверканий родители не без опаски глядели на него с кровати. Потом – как продолжение шальных этих вспышек, как черная их слепота, падающая в комнату – вновь возникал и мучился в углу голос:

«Костя, почему ты скрываешь от нас с Сашкой всё? Ты год уже, оказывается, живешь на квартире, снимаешь комнату, ушел от жены, у тебя недавно был приступ, ты почти месяц лежал в больнице – а мы с Сашкой не знали ничего. Посторонние люди сообщают. Кулёмкин ваш был в Бирске, фотограф, рассказал. Почему ты скрываешь от нас всё? Что же ты с нами делаешь-то, Костя! Господи, когда ж это кончится всё! Что ты там оставил в своей редакции? В Уфе своей? Что?! Я знаю: ты ждешь, когда я состарюсь. Чтоб ровней тебе была, ровней, да, только так! Неужели за одиннадцать лет ты ничего не понял! А с сыном, с сыном что ты будешь делать, Господи...»

Вспышки рвались по окнам, и опять падала в комнату чернота.

«Ну что ты, Тоня. Не надо. Успокойся. Вот Сашку и нужно поднять. А что я тут? С удочкой на берегу сидеть? Тебе мешаться, в ногах путаться? Еще годик-два... Ну-ну! Не надо. Прошу тебя. Ты ведь свободна, Тоня. Я всегда это тебе говорил. Подлец я, конечно. Не смог вовремя порвать. Прилепился. Сейчас у тебя совсем другая бы жизнь была. А так – конечно. Потерпи еще. Образуется как-нибудь. Да и вредно в таком возрасте жениться, хе-хе. Вон Брынцалов был. Живой пример. Вернее, мертвый теперь. Ведь и у меня так же может случиться. Пельмешки там, ватрушки разные пойдут, хе-хе. Шучу, шучу! А если серьезно... подожди еще немного. Надо решиться. Одиннадцать лет, конечно, прошло. Для меня пролетело. Я был счастлив в эти годы, Тоня, счастлив. Прости...»

Ранним утром в высокой, подпираемой солнцем, теплеющей синеве скукожилась заснувшая луна. У раскрытого окна, у подножья этого необъятного мира, приобнявшись, стояли мужчина и женщина... Их сын спал рядом – руку можно протянуть. Ветерок мял белую занавеску. Потом слетал и прятался в распущенном чубе мальчишки...

...мать. Мама. Шьет что-то возле большого нашего стола. Нагорбилась. Седая вся. Как пробеленный свет, натянутый от окошка. Робкие руки ее. Боящиеся тронуть голову тоже совсем седого сына. Жаловался зачем-то ей. *Жить надо, Костя, жить. Дети ведь. Не бросай детей.* Эх-х. Прав был отец. Тряпка я. Не мужчина. Точно. Да-а. А свадьбы какие были у нас. Двух дочерей выдал отец. Троих сыновей женил. Всех, кроме меня. Вытаскивали отцовский здоровенный стол во двор. На волю. На простор с горы во все небо. Вдали Белая. Леса. Еще столов добавляли. Гостей – море. На заборе ротозеи висели. Человек по двадцать. Забор падал. Хохот. Смех, шутки. Песни потом, пляски. Отец гармонь не выпускал. Пальцы что тебе работающие сороконожки. Да-а. После гостей сразу тащил стол в дом. Пьяный не пьяный – корячится. Мать ругается. *Отец, до этого ли сейчас. А вдруг дождь,* отвечал тот. Разворачивал, мотался со столом. *Помогай лучше, дуреха. Чудак. Моя свадьба в другом месте была. Не желаете ли вот это блюдо попробовать? А вот эти анчоусы? Или крабов вам?* Отец в каком-то новом костюме серого цвета. Неподвижен как фанера. Мать не знает куда смотреть. Рюмка в прижатой руке отца стукается с рюмками соседей безотчетно. Как кутас лошади. Лишь бы отстали. Чувствуют всегда родители. Кожей чувствуют. Не в свои сани их дитятя сел. Не в свои. Чувствуют сразу...

...Летами речка Дёма, приток Белой, тонула в ивах и черемухе. Ветви лезли к середине от самой воды, от берега. Течение подползало под них и отворачивало. Чтобы уйти и мыть противоположный берег. Более приподнятый и – нет-нет – да с полянами и с проплешинками от костров... Посередине сплывает на резиновой лодке рыбак. Рыбачит на́хлыстом. Кидаемая удилищем снасть пролетает под самый берег, под кусты. Конусная безгрузильная леса с кузнечиком или бабочкой на крючке летит, будто длинный вьюн с цветком на конце... Коротко, резко подсек. По-дельфиньи рыбина выпрыгивает, стремится сойти, спрыгнуть с крючка, но рыбак расторопен – быстро подвел, подсунул подсачик. Усмиряет рыбину в лодке... Курит. Дым идет с лодкой вровень. Сверху нудит обеденное солнце. Шляпчонка на старике – будто опрокинутый на голову тюльпан. Притемненные глаза спокойно смотрят на обрывистый невысокий берег. На мужчину и женщину. Мужчина на коленях хлопочет возле костра. Женщина в купальнике развалилась на одеяле. Ноги – ко́злами...

– Да это же отец! Виктория! – Мужчина вскочил. Трусы на ногах, как знамена на кривых палках. – Отец! Это мы!.. – Старик спокойно смотрит на него. – И, главное, мимо проплывает!.. – удивляется мужчина. – Давай сюда! Папа!..

– В другой раз... – проплывает спокойно старик. – На-ка вот. Держи! – На берег летит крупный красноперый голавль, выбивая в воздухе сырую многоцветную дрожь.

Пока мужчина ловит на приплёске скачущую рыбину, женщина в купальнике, уперев руки в бока, смотрит на уплывающую спину. Которая через какое-то время начинает ворочаться. Руки старика берут удилище, чего-то там морокуют с крючком. Затем старик резко кидает лесу под противоположный берег...

– Дикарина все же этот твой отец! Прямо надо сказать!..

Женщина все смотрит. На бегущей воде дрожит ее ломаная тень-карга...

...стол. Стол в нашем доме. Простой был стол. Струганный, деланный самим отцом. Сколько помню себя, всегда стоял. Тянулся через всю комнату. От простенка меж окон – и почти до входной двери. Отцовский стол. Так и называли. Однако опять погромыхивает над рекой. Опять рвут. Горизонт аж вздрагивает. Новый аэропорт закладывают. Писали об этом. Вот опять. Чапай бил из орудий так же. По Старой Уфе. Только вон оттуда. С заворота реки. Здесь-то не полезешь – круто. Снаряды крыли гору. Дом не дом. Только балки и доски взлетали. На середине реки паром. На пароме паника. Лошади дыбьем. Бабы в воду давай прыгать. Сарафаны на воде пузырями. Сколько перетонуло! А те – долбят. Черемисиным прямо в дом. Хорошо, те в погребе сидели. А доблестные поплыли уже. Сами. Плоты, лодки, жизнь – копейка. Буксиришка откуда-то взялся, запыхтел. Висят на нём гроздьями. Колчак тоже накрыл. Разлетались доблестные, как тряпичные. Пароходишка сразу на бок. Как инвалид колченогий заплутал. Остальные доплывают уже. И пошли разбегаться по косогору тараканами. Уря-я-я. А мы смотрим. Во все глазенки. И про сопли забыли. С крыши смотрим. Наблюдательный пункт. Черемисины взлетели. Теперь мы ждем. Когда к нам прилетит. Ох, мать тогда и отстегала! А двор наш широкий был. Открытый всему миру. Далеко с горы было видно. Всю Белую. Как отсюда вот. Леса, перелески вдали. Озера, как зеркала для Бога. Взблескивают только. Паровозик с составом бежит. Будто длинную кудельку лебедей протаскивает через железнодорожный мост. Красота. В самом дворе пёс Хоро́шка возле своей будки на балалайке играет. Ходят внимательно куры. У Порыгиных кот опять на голубей вышел. На басмачей, значит. Присел на крыше, вытянулся. Чекист, крадущийся маузер. Во́рон сидит на нашей березе в огороде. Просто как чучело. Да-а. *Воды, воды не жалей, Костя. Огурцы любят. Горькими не будут.* Мать стирает, дергается над корытом. А большая хрустальная водяная метла гуляет по грядкам. Будто сама по себе. Будто и нет никакого мальчишки при ней. Да-а. Всё было. Внезапно почесался и снова уснул куст на бугре. Разморило. Печет все же. Лопух стал уже как слизень. Кислицын сразу вспомнился. Тоже сосед отца. *А я тебя во-от таким помню.* Лет двадцать на скамеечке просидел. С палочкой. Сверстники поумирали все давно. А он все сидел. Как сморщенный пустой мундштук от папиросы. Что-то с ногами у него в молодости было. Ох, отец не любил его. *Это Кислица-то, что ли? В чайной, пьяный, на голяшке играл. Через пень-колоду. Для таких же пьяных. Жена вечером домой приводила. Вместе с голяшкой. На ногах не стоял. С работы как бы. Паразит. Плюнуть и растереть. Вот твой Кислица. Тьфу!* Ох, не любил отец. Земля всех помирила. Да-а. А как он смеялся. Отец. Особенно над анекдотами. Пропаще, пыточно. Мгновенно сдернув с лица свои глаза. Велогонка вон в гору козли́т. Как раз по Старой Уфе. Кидает под собой велосипеды. На самом пике горы начинает выталкиваться из машин, пьянеет, изнемогает. Переваливает через бугор и куда-то вниз начинают падать. Как на освобождающих от всего парашютах. Сзади три открытые машины с причиндалами катят. Точно подметают за велогонщиками всё. Прямо Тур де Франс. Кулёмкину опять работа. Завтра репортаж с фотографиями тиснет. Однажды кто-то «тиснул». *Обязуемся надоить от каждой коровы по 1200 гектопаскалей.* Опечатка. Нарочно, конечно, подсунули. Что было-о! Мизгирёв чуть с работы не полетел. Корректор. А ведь не

виноват, заморочили голову. Говорили, что Брынцалова работа. Кости. Хохмач был. Да-а, Костя Брынцалов. Тезка. Умница. В больнице когда уже лежал – не узнать было. Туша центнера в два на кровати. Жаловался мне, что женился зря. Три года назад. Здоровье бы так быстро из рук не выпустил. *Не-ет, Костя, одиночество б заставило держать. А та-ам, как деньги – пошло-о. Не успел опомниться, развалиной стал. Пельмешки, галушки, барашки пошли. Ватрушки. Вообще старость, Костя, – это сор из избы. На улицу.* Так и сказал в конце. Эгоцентрик. Прожженный. Возвышался на кровати каким-то небывалым брыластым анахоретом. Серым. Недовольным всеми. Больше всего самим собой. Гудков сразу лезет в голову. Из сельхозотдела. Вечный соперник Брынцалова. А потом и гонитель. Немало и мне крови попортил. Ходил как-то... очень уж энергетически для старика. Дёргально. Будто подпитывая ноги переменным током. Быстро втыкая ноги и как бы сразу обжигаясь ими о землю. Странно ходил. *Иван Иванович, как здоровье? Нормально. Любовницу еще имею. Только забываю, зачем пришел. Так и уйду, не вспомнив.* Оба ушли. И любовниц оставили. В один год. Синяя дымка над Старой Уфой стоит. А вёснами медовый запах черемухи по всей горе гуляет. По субботам баньки дымят. Запахи перемешиваются и разбегаются. Как лоботрясы. Не поймешь, как говорится, где кто. Наша банька на огороде была. От черемух подальше. И вот потянулись чередой. Мужики и мальчишки сперва. Потом женщины с девчонками. После бани все пьют чай за отцовским столом. Женщины с белыми султанами на головах. С лицами как *огнь.* Ребятишки уже засыпают. Все как вареные. На промытых лицах мужиков глаза блуждают. Чай – явно не то. Ждут мужики. Мать не выдерживает. Достает. Одну. Что тут начинается! Смех сразу, шутки. Счастье, оказывается, вот какое на вид. Вот оно, на столе, стеклянное. Любит все же русский человек выпить. Любит. Чего уж там. Вот и мне, пожалуй, пора. Полечиться. Профилактически. Сколько времени-то набежало? Ну, пора-а...

В кафе было уже немало людей. Сидели за столиками и взрослые, и дети. С мороженым, с бутылками газировки. Человек пять стояло к стойке. Константин Иванович пристроился к ним.

Совершенно не ворочая шеей, тубистая буфетчица умудрялась всё отовсюду доставать. С боков, позади себя. Бутылка коньяка, тарелочки, казалось, сами подплывали к ней, к коротким ее рукам. Уже после того, как она отходила, вдруг начинал верещать кассовый аппарат. У нее за спиной. Точно сам по себе. Ни одного лишнего движения у женщины. Профессиона-ал. Константин Иванович размахнулся... на сто грамм коньяку! Лечиться так лечиться! С подносом направился опять на край веранды, как бы к своему столику. Хотя там и сидел уже один гражданин. Армянин вроде бы. Можно к вам? Армянин кивнул и даже отодвинул стул. Вот и хорошо! Все расставил на столике Константин Иванович и пошел обратно к буфету, чтобы вернуть поднос.

Армянин сидел возле своего стакана очень грустный. Нос его свисал как кета. Соленая, красная. Кивнул, когда Константин Иванович приподнял свой стакан. Мол, давай. Пей. Не обращай внимания. Грущу. Константин Иванович выцедил половину. Стал закусывать бутербродом с сыром.

– Жена моя... – мотнул головой армянин.

– Где?! – испугался Константин Иванович.

– Буфетчица... – не спускал печальных глаз с визави армянин. – Бывшая... Галей звали...

Конечно. Понятно. Бывает. Ваше здоровье. Константин Иванович поднял стакан. Дескать, прозит! Выпил. Опять жевал бутерброд.

Армянин задумался, накорнувшись вперед. Жидкие волосы на голове были сродни журавлиным останкам. Покрутил в руках пустой стакан, полез из-за стола. Красную новую десятку держал у буфета робко. Как поднос. «В очередь!» – рявкнули ему от кассового аппарата. Послушно встал за двумя посетителями. Без мензурки буфетчица шарахнула ему полстакана. Начала бить

на стойку сдачу. Рублями, рублями! Потом мелочью. Пятак сверху припечатала. Всё! Следующий! Армянин стоял со стаканом, не зная, то ли выплеснуть из него на жену, то ли поставить на стойку и горько заплакать. Да, драма. Не позавидуешь. Константин Иванович пробирался к выходу.

Опять сидел на прежнем месте, на поляне, соорудив из чьей-то газеты на голову бумажный колпак. Вообще-то бумажный шлем. Если точнее, правильнее...

...теперь хоть до вечера можно сидеть. Умеет ли Сашка такие делать? Мы пацанами запросто. Заворачивали-загибали. Быстро. Надо научить его. К шлему щит, понятно. Меч из дранки. И понеслась. Да, погорел армянин. Измена, конечно. Трепанулся. Тоже, наверное, повар какой-нибудь. Или директор базы. А если не любишь? Давно не любишь? А дети давно взрослые, разъехались? Это как – измена? Не давать развод пять лет! По парткомам бегать! Хотя давно уже безбилетный. Ее же стараниями. Ласково, иезуитски разговаривать с тобой – и тут же за волосы, за волосы тебя драть! Как льва какого-то дрессированного. Кнутом и пряником, как говорится. Это – как? Удивлялся еще Кольке. С Аллой Романовной его. Колотит. Помойное ведро поставила на рукопись. Как апофеоз уже всему. Скандалил. В стенку бил. А сам на другое утро извиняться заявился. Прошу простить, Алла Романовна. Погорячился. Корректен. Как белогвардейский офицер. Каблучками ещё щелкануть надо было. Пардон, мадам. А та стесняется, а та стесняется. Как стерва. Ручки заминает. Хихикает несмазанно с утра. Как якорная цепь из зубчатой лебёдки. *Кому какое дело, хирт-хирт-хирт. Это никого не касается, хирт-хирт-хирт. Я буду жаловаться, хирт-хирт-хирт.* Э-э, осел. Тряпка. Ладно, хоть Коле все же помог. Смылся тот. Набрался-таки мужества. Через два дня умотал из городка. С Булкиным провожали. Из местной газеты тоже парень. Провожали на пристани. В буфете. Пьяные, конечно. Стукались кружками, плакали и обнимались. Рассказывали все это, так сказать, очевидцы. Потом засовывали Колю в «Ракету». А он с плачем рвался назад и обнимал друзей своих. То есть нас, получается, с Булкиным. Кое-как с чемоданом затолкали в судно. И Коля умчался вверх по реке за убегающим солнцем. Так сказать, к новой, светлой жизни. Ох, и пометалась стерва по городку, ох, и поискала. Ищи теперь «урода очкастого», стерва. Ищи ветра в поле. Мы с Тоней – молчок. Могила. Булкин тоже не скажет – верный друг Коле. Тоня только долго не могла успокоиться. Особенно после встреч со стервой во дворе. Дома делала большие глаза: *Начальница Отдела Культуры! Вы только подумайте: Куль-туры!* Да-а... Отец пришел опять в память. Часто работал с сыном, с младшим, последним. С любимцем Костей. Что-нибудь налаживали там во дворе. Или в сарае. Изредка подматюкивал. Как бы вводил в подростка сына яд малыми дозами. *Ах ты, бля!* Так и с куревом при нем. Курил мелконькими затяжками. Курил как бы только слегка. Понарошку. Поглядывал на сына. Наивная голова... А как он играл на праздники, на пасху! В коленях ловко приручал гармошку. Возле дома наяривал. С отсутствующим, даже страдательным выражением лица. Будто и не он это играет – а мученик. Бабы подпирались кулачками, охали. А он с цыганским глазом к матери! И опять мученик. Жестокий был мужчина. Да-а. Всё меж ними было. И любовь, и слезы. Шестерых детей поднять. Всегда полон дом детьми был. И своими, и родственников. А братья его? Тоже все речники. Шкипера, мотористы. Все с усами заточенными. Как с кошками рыбацкими. И жены их тут же всегда. Плясуньи-хохотуньи-работницы. И все в его дом, за его стол... Да, стол. Семейный его стол. Не понимали мы тогда. Чем он для него был. Пошучивали. Взрослые уже – а дурни. Да-а. Иногда вечерами сидел за этим столом один. Руки широко поставив. Как будто за собранными им землями. По двенадцать-четырнадцать человек усаживалось. Это в будни обедать или ужинать. И еще места оставались. А уж гулянка когда – то во всю длину комнаты! Да-а... Засыпает послеполуденная одурь реки. Поблескивает, плавится. Речной трамвай вон почу́хал. Этот на лапоть смахивает. Этот недалеко. Дачники внутри с корзинами до потолка. Эх, бывало, татары на лодках выплывали

семействами. По воскресеньям. Обязательно тальян-гармонь у них переливается. С колокольцами. Далеко по воде слышно. Ничего не стало. Левинзон опять вчера приходил. Как на работу уже ходит. Как прописался. *Когда мое письмо будет напечатано, т. Новоселов? А почему оно должно быть напечатано, т. Левинзон? Да как так! Да вы же бюрократ, т. Новоселов! Махровый бюрократ! Я буду с вами бороться!* Порода такая. Лицом как олимпийский факел. С которым бегут многие километры. По странам и континентам. Негасим. Ни при каких обстоятельствах! Эх, борец. Почему не живешь-то как все? Ведь отовсюду выгнали. Жена втихаря прибегает. *Не берите у него писем! Не берите! Умоляю вас, он нас погубит!* Это – как? Одни глаза да волосы остались. Факел. Горит. Полечиться бы тебе, бедолага. Отдохнуть. А попробуй, скажи. Так и будет ходить. Пока не засунут... Эх-х, закурить, что ли? Сколько там времени прошло? Рано еще. Потерпим. Еще жалуется Каданникову. Ответсекретарю. Нашел, кому жаловаться. Ягненок волку. Да Каданников же стучит! Вся же редакция об этом знает! Осведом! С многолетним стажем! Так попробуй факелу скажи. *Мне нечего скрывать. У меня всё правда. Требую напечатать.* Дурень. А тот всю жизнь в Главные метит. Бездарь, неуч. Как... как узластый деревенский корень. Неимоверным упорством вспоровший городской асфальт. Неимовернейшим. И побега нового не дает (и не даст), и люди спотыкаются – шишка, бугор. Вот уж кого терпеть не могу. Один такой гад на всю редакцию. Ему ведь стукнули о нас с Тоней. Из Бирска-то. А уж он развернулся. Раздул кадило, сволочь. Закурить все-таки надо. Никак нельзя после таких не закурить. Вон Тигривый, тот не закурит. Нет. Не станет переживать. Веселый человек. Зачем-то десятку ему дал. Своими руками. Когда теперь отдаст? Игорь Тигривый... Прическа – как петух, сидящий на голове. Чудо в джинсах. Грязных уже в той степени, когда их можно ставить возле кровати на ночь. Стоймя. И любоваться на них вместе с любовницей. Что, наверное, и делает сердцеед. Залетает однажды к нам на Письма. *Константин-Иванович-там-ко-мне-пришли-приехали-прилетели. Мать-дочь-кто-то-еще. Так-меня-нет-не-было-и-никогда-не-будет!* Распахивает окно – и сигает со второго этажа. Прямо на головы прохожим. Анекдот редакции. Гырвас кряхтит, но терпит – нет лучше спецкора. Да и беспартийный. Не потянут. Т*ы там где-нибудь, Тигривый. В кустах своих, что ли. На танцах. Почему они к тебе в редакцию-то идут? Не знаю, Григорий Васильевич. Честное слово, не знаю. Несознательные.* И смеется, подлец. Легкий человек. Вот уж для кого всё всегда ясно. А тут городишь, городишь черт знает что сам себе. Нагородил уже до неба. Никак вылезти не можешь. Родиться надо таким. Чтобы на все плевать. Не получается. Куда уж! С милиционером вот что делать? Рукину, что ли, послать? Чтобы нашла этого милиционера? Вот – тоже, что она Рукина, что Валя, Валентина, давно забыли. «Добрый День» вот теперь ее имя. И ведь гордится. Ходит. Наверно, в юности своей нюхнула интеллигентности. Посреди грязи-то деревни. Нюхнула культурного, незабвенного. Учитель ли так говорил? От приехавшего ли кого услышала? Лектор, к примеру, был? С тех пор – только «добрый день» говорит. Утро ли, вечер – не важно. По нескольку раз с одними и теми же так здоровается. *Где эта, ну как ее? ну «добрый день» которая? Пошлите ее. Срочно!* Так и прилипло. Сама себя, глупенькая, означила. Не деревенская уже, не городская. Не понимает этого. Ходит по коридорам. Чтобы сказать это свое «добрый день». Тигривый, говорят, что-то такое. И тот даже отпал. *Добрый день, товарищ Тигривый.* Выйдет ли замуж когда? Городские-то просмеивают. Вся жизнь перевернута. Не понимает хоть пока этого, ладно. *«Реа́хтер! Реа́хтер!»* И побежали деревенские ребятишки. В Яблочной было. На высоком берегу Белой. *«Реа́хтер!»*. Что за «реа́хтер» такой? Оказывается, реактивный самолет. В небе. ИЛ летит. Этакая дура. «Реахтер». Хохотал до слез. Вот тебе «добрый день», с одной стороны и «реахтер» – с другой. Да-а. Что же делать с милиционером? С Ноговицыным? С Александром? Пишет в письме: *Этот обидчик мой, лейтенант Григорьев, по национальности русский. Его особые приметы: нос древнегреческой формы, широкие плечи и узкий таз. То есть фигура у него среднеазиатская.* Да-а. В «Крокодил» хоть

посылай. Одного не может понять, дурачок, что сор из избы вынес, что не работать ему там больше. Не быть в милиции. Да. *А пособник лейтенанта Григорьева Стрелков, находясь в больнице, залез в чужую семью и разбил ее.* Так и пишет. А дальше: *После этого случая он приходил в мой дом еще четыре раза. Только один раз в трезвом виде, а три раза с угрозой. Все время подпаивал Григорьев. Направлял. Я хоть и милиционер, но тоже человек. Начальство смеется. Иди служи, говорят. А как служить?* Да-а, пропал милиционер. Пропал. Эх, еще, что ли, дернуть? Сходить? Нет, хватит. Это уже не лечение будет. Хватит. Башка как хронометр стала. Утром просыпаюсь ни свет ни заря. Ровно через четыре часа. И пятнадцать там каких-то, семнадцать минут. Вот эти минуты поражают. Хоть часы проверяй. У всех стариков, наверное, так. Чем старше, тем меньше спят. Мозг трепыхается, боится. Вздрючивается по утрам. Хотя Даниловну взять. Свистит до десяти. Если не разбудить. Утром, наверное, отчалю. Отец – утром. На рассвете. Как он мылся в последний раз, не забыть. За три дня до смерти. Мыли в бане с младшей сестрой. С Настей. Раздели когда, стоять не может, трясется весь. Стариковский членок как тряпочка. Как белая тряпочка. Стесняется нас с сестрой. Ручонкой, ручонкой прикрывается. *Вы уж простите меня, старика, простите.* Господи, как забыть? Муравей лезет на стебель. Лезет, падает и лезет. Падает и лезет. Как на копье. На казнь. Глаза застлало. Ничего не вижу. Где платок? Опять забыл. Да ладно...

...«Почему жизнь-то так быстро уходит? Костя? Нюра – полгода не прошло. Теперь я вот». Константин Иванович подсовывал под себя табуретку, присаживался, бормотал в растерянности: «Ну что ты, отец... Что ты... Поживешь еще...» В сумраке спальни махнула длинная белая рука. И снова упала с кровати. Как сломавшийся овёс. Такой была уже худобы!.. Константин Иванович сглотнул. Отвел глаза.

Оба молчали. Осторожно переступали ходики на стене.

Потом нужно было уходить на работу. «Иди, иди, Костя. Чего тут...»

Смотрел на большой провалившийся висок отца, куда проникала сейчас слеза. Так протекает последняя вода в провалившуюся речку... Осторожно прикоснулся к виску губами. Отец зажмурился... «Поправляйся, папа...» Уводил глаза, долго пробирался к двери.

Сестра плакала на груди у брата. Голова ее была как кипяток...

Через два месяца после похорон, когда дом уже был продан примчавшейся из Владивостока старшей сестрой... будучи по редакционным делам на Авторемонтном заводе, который в ту пору находился неподалеку от Белой, почти на берегу, Константин Иванович обратно в город зачем-то пошел не низом, где было ближе и проще, а верхней дорогой, через Старую Уфу. Было уже часов десять вечера. Темно. Постоял, покурил возле одинокого фонаря, где убивалась и убивалась мошка́. Когда вышел на свою улицу и увидел дом, – сердце сразу заколотилось где-то вверху, как та мошка под фонарем, а ноги сразу разучились ходить. Дом просвечивал темноту понизу. Окна были пусты, без единой занавески, без цветка. Пусты были и комнаты. Везде словно гулял красный сквозняк. Какие-то два парня (новые хозяева? воры? кто они?) вытаскивали из красного зёва двери на крыльцо и дальше стол. Отцовский стол. Парни вытащили его, перевернули и бросили на землю. Ножками вверх. И почти сразу же один из них начал ломать. Орудовать длинной выдергой. Стол затрещал. Константин Иванович не выдержал. В следующий момент началось какое-то безумие. Он забежал во двор, стал останавливать парней, что-то говорить про стол, что-то объяснять им, что не надо, что заберет, что вывезет, сегодня же, сейчас, сколько вы хотите, сколько?! Не ломайте!!

Парни смотрели на перекинутый стол...

– Ну, пятерку, что ли... За такой хлам...

Ладно. Хорошо. Я сейчас! Сунул деньги. Заторопился, побежал к Есенбердину. Коновозчику. Тот поможет. Всегда поможет. Быстро вернулся с лошадью, телегой и стариком. Стол погрузили. Так же, вверх ножками. Есенбердин окидал веревками. Выехали со двора.

– Куда теперь, Кинсти́н?

– Ко мне. Домой, – не давая себе отступить, сказал Константин Иванович. Будь что будет.

Он шел сзади, держался за ножку стола, беспрерывно курил. Ничего, всё нормально. Должна же она понять, черт дери! Ничего. Ладно. Как-нибудь. Колеса скрежетали, стукали ободами по камням. Второй этаж. Нормально. Затащим. Скатерть на него. Незаметно будет. Должна же она. Лестница. Освещенная. Широкая. Сталинский дом. Они со столом суетятся. Расторопные. Как тараканы. В раскрывшейся двери Лицо. Лицо С Вертикальными Глазами. А за лицом – ковры, люстры, хрустали... Нет... Константин Иванович стал спотыкаться. Отпустил ножку. Отставал все больше и больше.

На мосту через Быстрянку – остановил Есенбердина.

– Чего, Кинстин?

– Нет, не надо везти дальше, дядя Касым... Давай обратно...

– Куда?

– Себе возьми, дядя Касым.

– Так ведь не войдет! Домишка маленький. Разве не знаешь?..

Есенбердин стоял, низенький, кривоногий, в каких-то толстых, будто ватных штанах, на мягкую похожий игрушку.

– Ну, разломай... На дрова... Еще там чего...

– Ни-ит. Такой стол нельзя-а... Лучше отдам. А? Кому-нибудь? Кинстин! – Глаза из-под кепчонки блестели. Как кнопки от тальян-гармошки.

Константин Иванович махнул рукой. Есенбердин пошел сразу заворачивать, понукать. У первого же дома остановился, застучал в окошко:

– Эй! Стол не на́дым?.. Вон, хороший... Даром, даром!.. Ни-ит? Ладно. Спаси́бам!

Дальше телега полезла в темноту улицы, к сине мерцающим, бубнящим окнам.

– Эй, хазяйкам! Вон столик. Не на́дым? – Так предлагают игривую кошку. «Столик» свисал с телеги еще на длину одной телеги. – Ни-ит? Удивительно! Ладно. Спаси́бам.

Голос и телега лезли все выше и выше. Затихали. Телевизионные окна мерцали, точно ульи по пасеке.

– Эй, хазяйкам...

Облокотясь на перила, Константин Иванович смотрел на бьющееся под одинокой складской лампочкой вдали черненькое маслецо речки. Вода набегала под мост. Тянула за собой. Хотелось закрыть глаза – и как в омут головой...

...Константин Иванович все сидел на Случевской горе. Солнце опустилось на реку, и расплавившаяся вдали река, как от поставленной красной лупы, самосжигалась в черных зыбящихся воротах железнодорожного моста, за которыми, казалось, уже ничего нет.

Точно с гирями, к выходу шла буфетчица с двумя сумками. Армянин деликатно за ней переступал. Старался в ногу. От криков буфетчицы, как от ударов тока, журавликом перескакивал в кусты. Снова появлялся, чтобы переступать. И опять упрыгивал в кустарник, словно ветром сметенный.

Константин Иванович стал подниматься, чтобы тоже идти домой.

На другой день, сразу после работы бегал в центре по магазинам. Вынюхивал поверх очередей, сразу становился где надо, накупал. Долго стоял за апельсинами. По рубль двадцать. В магазине было душно. Константин Иванович поминутно вытирался платком.

Дома все добытое упаковывал, а потом укладывал. Ну, вроде бы всё. Приготовился. К отплытию, так сказать. К дальней дороге. В двух руках и за спиной. Даниловна у соседей, наверное. Сказать бы. Да ладно. Догадается.

– ...Мне бы увидеть Ноговицина. Александра.

– А вы кто ему? Минуту!.. ОВД Советского района... – Голубенькие глаза просвечивались, слушали трубку. Короткий седоватый волос на голове был кучеряв вверх, стоек. – Так. Записываю. *Цурюпы, 108\1, квартира 65. Раз-гиль-дяев.* Однако фамилия. Так, принял. Дежурный, старший лейтенант Батраченко. Ждите. Будем. Всё.

Константин Иванович стоял с рюкзаком, с двумя сумками. На затылок съехала пенсионерская шляпка.

– ...Так вы... из деревни его? Из Кузьминок? Родственник! Точно! Одна порода! Там все такие.

Откинувшись от стола, милиционер смеялся. Посвечивал золотым зубом. Как украинская смуглая ночка окошком.

– Да понимаете, я ведь...

– Нету его. В патруле. Будет ездить до 23-х ноль-ноль. Вон, дочку оставил.

Лет трех-четырех девочка выделывала в углу за столом карандашом в тетрадке.

– После садика приводит. Не с кем. Да вы знаете, чего говорить, – все чему-то радовался милиционер.

Константин Иванович подошел. Девочка была крохотной. С торчащими косичками. С личиком глазного котенка. Карандаш и глаза остановились, замерли... Протянул ей апельсин. Девочка взяла. Удерживала большой плод двумя ручонками. Милиционер все не унимался:

– Вам ночевать негде, понятно. Ждите. Вместе поедете. На Бульвар Славы, комната 606. Шестой этаж. Чайку попьете, может, еще чего, завтра он отдыхает. – Милиционер все смеялся. Посвечивал зубком. То ли оттого, что жизнерадостный такой, то ли оттого, что так легко решил задачку. Константин Иванович записал адрес, поблагодарил, сказал, что зайдет в понедельник. На пороге обернулся. Девочка по-прежнему удерживала апельсин двумя руками. Словно брошенную с неба большую каба́лу. Знак.

– ...Передадим, передадим. Не волнуйтесь. Одна порода. Никуда не денешься. Сразу догадался. Ленка, давай обдеру апельсин!..

...Да. Одна порода. И никуда не денешься. Один к одному. Как клеймёные. Только я был брошен с двумя детьми. С погодками. Шести и семи лет. А так один к одному. Все верно. Что Ноговицин, что Новоселов. Глаз милиционера. Глаз-ватерпас. И лейтенант Григорьев свой был. И Стрелков. Да не один. Абсолютно верно. Одна порода. Чего ж тут трепыхаться. За версту видно. Колодки ведь клеймёные. Счастливые неудачники, толкущиеся возле порога. Все точно...

Спинки сидений жестко тряслись, растрясывались до громкой стукотни, до лихорадки. Автобус опять был полупустой, восьмичасовой, последний. Константин Иванович трясся на переднем боковом, как баба детей, одерживал руками свои сумки. Ногой старался подрулить к себе упрыгивающий рюкзак. По грейдеру после Черниковки шофер гнал не на шутку. Где-то сзади все время тараба́халось пустое ведро. Какого-то пьяного вдруг стало кидать по заднему сидению как строительные леса. Пока не укинуло, не рассыпало где-то внизу. Две пожилые женщины пыта-

лись говорить, но рты прихлопывали. Как тайны. Как свой молчок. Хотелось и смеяться, и плакать. Давно давило за грудиной, покалывало сердце. Давно перекидывал во рту таблетку, боясь прикусить язык. А автобус... уже бил, бил по ухабам. Да что же это такое! Константин Иванович привстал, постучал в выгнутое оргстекло. И тут же улетел на место. Пригнувшийся шофер даже не обернулся. Пригнувшийся шофер решил разбить автобус вдребезги.

Побросав сумки, не обращая внимания на скачущий рюкзак, Константин Иванович раскинулся, вцепившись левой рукой в штангу, а правой за спинку сиденья. С тоской смотрел за поля вдаль. Хоть там не трясло. Как будто бы уснувшие дневные шрапнели, ушли к закату вечерние лохматенькие облачка. И там же, вдали, солнце трепетало в черном тополе, как мерзнущая потонувшая лампадка...

Он торопился по щербатой площади, окруженной кирпичными низкорослыми лабазами. Выдыхал в красное небо голубей, как реденькую сажу, обезглавленный собор. Из еще открытой пивной пьяницы выходили на крыльцо, как из кузницы. С лицами – как с горнами. Глаза выхватывали почему-то всё это. Стремились унести с собой, запомнить.

Пройдя площадь, он так же торопливо шел, оступался в узкой, по-вечернему сильно притемненной улице, старался глядеть под ноги, солнце между домами мешало, цеплялось как репей. Впереди, в перекрестье двух улиц вдруг увидел женщину и мальчишку. Они стояли рука за руку в низкой лаве солнца... Заторопился к ним с сумками, неуклюже побежал. Они тоже увидели его, заспешили навстречу. А он уже шел, всё замедляя и замедляя шаг. Таращился на них, как на маяки. Хватался за узел галстука, бросив одну сумку. Уже серый, без воздуха. Ноги его стали вдруг легкими, снялись с земли и, мучительно, медленно запрокидываясь, он полетел в рассыпающийся и плотнящийся черный пух, рассыпающийся и плотнящийся, взмахивая второй сумкой, осыпаясь апельсинами...

...он помнил, как знакомился с ней. Тридцать шесть лет назад. Она протянула ему очень узкую упругую руку. *Виктория.* Протянула – как хлыст. Словно чтобы он потрогал и оценил. И он потрогал и оценил. *Очень приятно познакомиться. Костя...*

Александр ТИТОВ

Рассказы

«ЖОЗЕФИНА»

– Ребята вы хорошие, настоящие сельские журналисты... – с упреком глядел на меня и на Леву Пал Иваныч. – Но иногда склонны к оппортунизму!

– О чем вы, дедушка?

– Помните «Жозефину»? Был там у них такой начальник по кличке Брелок.

Еще бы не помнить!.. Первая коммерческая фирма в нашем поселке. Ее открыл некто Брелок, седеющий сорокапятилетний парень, бывший демократ, ставший вдруг необычайно известным в нашем поселке. Брелком его прозвали с детства за пристрастие к разным блестящим вещичкам – цепочкам, колечкам, женским сережкам... Еще в юные годы Брелок мечтал скопить «золотишко» и уехать во Францию – эта страна была его золотой Мечтой. Там он хотел бы жить всегда.

Во время перестройки он вместе с другими «демократами», такой же полушпаной, как и сам, ходил по поселку с мегафоном, требовал свободы и равноправия. Был замечательный лозунг: «Вся власть Советам!», намалёванный на обрывке картона, – этот картон, размытый дождями, еще недели две валялся в кустах нашего парка.

Местный ветеран Пал Иваныч, испытавший все лозунги на своей шкуре, посмеивался: ну какой дурак отдаст власть Советам? Мы это уже проходили!.. Власть всегда берут конкретные люди! Хваткие, хитрые и – главное! – сильные люди!

Поначалу события развивались вполне обнадеживающе – после августа 91-го Брелок обошел всех своих мало-мальски знакомых и, поболтав с ними на разные темы, без всякого спроса записал их в список «демократов», отослав его в область для отчета. И сам же подписал этот список, назвавшись местным демократическим лидером. Его начали приглашать на совещания разных уровней, он выступал с разных трибун ярко и уверенно, призывая к скорейшей капитализации дремучей российской жизни. Была в этой демократическом списке графа под названием «сочувствующие». В нее Брелок в организаторском запале вписал старого большевика Пал Иваныча Металлического, назвав его «вечным революционером-бунтовщиком». Старик, каким-то образом узнав об этом, пришел к Брелку на квартиру и, угрожая костылем, приказал вычеркнуть из «оппортунистического» списка свое нетленное имя, вписанное золотыми буквами в перечень сабельных походов!

Александр Титов родился в 1950 году в селе Красное Липецкой области. Окончил Московский полиграфический институт, Высшие литературные курсы. Автор семи сборников рассказов и повестей, выходивших в разные годы в Воронеже и Липецке. Публиковался в журналах «Подъем», «Аврора», «Лепта», «Север», «Новый мир», «Зарубежные записки», «Новый берег», в сетевом журнале «Топос». С 1990-х годов постоянный автор журнала «Волга». Живет в селе Красное, работает корреспондентом районной газеты.

Брелок, как мог, успокоил старика, прибегнув для этого к различным бывшепартийным терминам, почерпнутым им еще в школе на уроках обществоведения. Вздохнул, взял с печки потрепанную амбарную книгу, добытую еще в советское время на каком-то складе, и сделал вид, что вычеркивает имя бывшего буденовца из «прогрессивного» списка борцов за «свободную» Россию. А сколько еще таких липовых списков хранится в разных архивах, и где теперь эти люди, которых куда-то записали без их ведома?

Очень быстро перестройка начала оборачиваться в сторону коммерции и предпринимательства. Лозунги «равноправия и справедливости» были тотчас забыты. Богатый чудак из областного центра, помешанный на «цивилизованном» бизнесе, дал Брелку в кредит двести тысяч тогдашних рублей. Для Брелка это были дикие деньги, он и в советские-то времена больше десятки в руках не держал, а тут есть чем размахнуться! Эпоха давала шанс, и он снова надел на лысеющую голову «диссидентский» блинообразный берет. И организовал сельскую универсальную фирму под чудесным именем воображаемой французской красотки – «Жозефина»!

Мы с другом Левой, будучи безработными, подались в эту «Жозефину», к Брелку, обещавшему платить по две тысячи «на рыло». Леву оформил менеджером, меня – делопроизводителем. Лева бегал, суетился, у него, как всегда, была масса идей насчет стремительного обогащения, вплоть до покупки в областном аэропорту самолета и перепродажи его за границу.

Я принес из дома старую пишущую машинку, на которой печатал бланки договоров под копирку. В этом и заключалась вся моя работа. Их забирал Брелок, уносил к себе в чулан с прогнившим полом, именуемый «кабинетом». Из темных углов кабинета выпрыгивали лягушки, они с недоумением смотрели на владельца заброшенной сельской хаты, к дверям которой была прибита фанерная табличка с намалеванным названием фирмы. Зато сейф у Брелка был почти новый, подобранный на задворках советского учреждения, а печать и вовсе настоящая, сделанная по заказу у какого-то мастерюги.

Пал Иваныч обозвал нас с Левой «перебежчиками в стан дикого капитализма». Ветеран возмущался: как вы, бывшие советские журналисты, могли продаться в услужение к малограмотному проходимцу? К этому ничтожнейшему демократишке? Он обычный жулик, этот ваш Брелок! Ни копейки он вам не заплатит!.. Старик так обиделся, что даже не пригласил обмыть, по обыкновению, свою очередную пенсию. А с выплатами пенсий уже начинались задержки – результат общественных перемен, которые старый большевик искренне ненавидел.

Несмотря на поглощенность коммерцией, Брелок не забывал о родной демократической партии. Вместе с местным либералом по фамилии Висельник он побывал на областном и всероссийском демократических съездах, которые проходили с большой помпой. Побывал «ходоком» в высоких кабинетах, заверяя тогдашних боссов, что «назад пути нет, и что провинциальная Россия полным ходом движется к капиталистическому процветанию».

Деньги, взятые в кредит, Брелок тратил бездумно. Купил себе видео- и прочую аппаратуру, мягкую мебель. Ждал больших прибылей, но «Жозефина», работавшая по принципу «купи-продай», приносила одни лишь убытки. Киоск под названием «Белокурая Жози», торговавший в основном фальшивой водкой, доход приносил, но продавцы обжуливали Брелка. Фермеры, с которыми он заключил договоры на выращивание картофеля, нашли более деловых и выгодных партнеров. Впрочем, настоящих земледельцев среди них почти не было – те же «фермеры в белых рубашках», о которых с ехидством писал журналист Висельник.

Брелок понимал демократию как финансовую вседозволенность и приглашение к бизнес-авантюризму. Многие так и действовали, но Брелок оказался одним из тех, кому не повезло.

Нам с Левой за месяц работы Брелок не заплатил ни копейки. И не потому, что на счету не было денег, – просто он по натуре халявщик. Вот, дескать, раскрутимся, заработаем кучу «бабок», тогда и с вами рассчитаюсь.

Пал Иваныч, встречая Брелка на улице, показывал на него пальцем – вот идет язва первичного русского капитализма! Как был тунеядцем, так и остался. Ишь, как беретку свою диссидентскую на глаза надвигает!.. Брелок – смесь наивного мечтателя-шестидесятника и мелкого фарцовщика, жулика. Дикий капитализм набирает силу, он «отбреливает» и отстреливает лишних.

Брелок, слыша это, сердито фыркал, отворачиваясь всем своим мясистым постсоветским лицом. Седеющие пушистые бакенбарды казались приклеенными и делали его похожим на спившегося провинциального актера.

Всех сотрудников «Жозефины» Брелок называл «мальчиками».

– Организуйте, мальчики, бутылочку... – а сам денег не дает.

Однажды Брелок привел нас с Левой в магазин. И говорит продавщице:

– Лариса, лапонька, заинька, красавица...

Лариса с иронической улыбкой смотрела на него.

– Мне надо две бутылочки водочки, пару баночек консервиков, три плавленых сырочка, буханочку хлеба...

Как не дать в долг известному коммерсанту, ворочающему делами фирмы с красивым названием? Авторитет подкреплялся солидным «комсомольским» брюшком – не выпяченным, а как-то по-джентельменски отвисающим вниз.

Брелок указал важным бледным пальцем на нас с Левой:

– Эти мальчики отдадут тебе деньги, Ларисонька, с получечки...

Вот те раз! А мы-то надеялись хотя бы раз в жизни выпить за счет Брелка! Да и будет ли она, долгожданная «получечка»?

Вздохнув, продавщица выставила пару бутылок и закуску.

Лева шутил: Брелок и гласность несовместимы! Никогда не скажет о том, что у него в кармане завелась лишняя десятка.

Брелок на шутки не обижался, зато требовал, чтобы мы называли его «боссом».

По пьянке хвастал, что продает все, что попадает в его руки, вплоть до самолетов и пароходов. У «коммуняк» всюду валяется дельный хлам, глупый Запад купит всё это по хорошей цене. А «Жозефина» прогремит на весь мир!

С детских лет Брелок обожал все французское. Уверял, что в юности был копией Алена Делона. Предел мечтаний – купить «Ситроен» и жениться на «белокурой Жози», пусть даже по происхождению она будет русская.

– Ты не буржуй, а просто жулик! – охарактеризовал его однажды Пал Иваныч. – Куда тебе в капиталисты с твоим либеральным пузцом?..

Был у Брелка и собственный охранник – мелкий уголовник по прозвищу Хмырь, отсидевший пару раз за мелкие кражи. Хмырю под пятьдесят – согбенный, туберкулезный, в наколках, хитрый взгляд прищуренных глаз. Частый гость Брелка – его «идеолог» и советчик Любомудрий Висельник.

Офис «Жозефины» располагался в брошенной деревянной хате на окраине поселка. Когда-то в домике жила старушка, она умерла, Брелок каким-то образом завладел вросшей в землю избушкой. Одичавшая кошка жалобно мяукала в сарае, иногда заходила в дом, превращенный в «офис». Животное голодало – закуска в «офисе» скудная, в основном огуречно-луковая.

Брелок был уверен, что через год-два он построит на месте избушки современное здание из стекла и бетона, украсит его современной мебелью, компьютерами и факсами, чтобы сподручнее держать связь с банками всего света. Мечтал поставить спутниковую антенну, чтобы принимать передачи из Франции.

Одевался он своеобразно: на плечах замызганная бархатная жилетка, купеческие часы на серебряной цепочке. Широкие брюки солидно отвисали на заду и коленках. На ногах модные крос-

совки. Из бокового кармана торчит синяя чековая книжка с заранее проставленными печатями. В любой момент Брелок мог пойти в банк и снять нужную сумму. Деньги, выданные в кредит, быстро таяли, однако дела фирмы никак не хотели идти в гору. Купил по дорогой цене пять тонн картошки, а сбыть не смог – картошка валялась кучами возле офиса, засыхала и прорастала.

Вечно пьяный Хмырь, изображая «крутого», сидел в тени березы, поигрывая резиновой дубинкой, одетый в ковбойскую рубаху и камуфляжные штаны, заправленные в кирзовые сапоги. Хмырь тоже не получал зарплату, зато пропивал помаленьку картошку – все равно ей пропадать.

Однажды в «офис» явился подвыпивший Пал Иваныч – выручать меня и Леву из «капиталистического ада». Хмырь не хотел впускать скандального старика в деревянную покосившуюся калитку, замахивался дубинкой, но ветеран революции наступал, размахивая ореховой тростью.

Мы с Левой взяли старика под руки, усадили в тень. Пал Иваныч перевел дух, малость успокоился, показал на Хмыря пальцем – теперь я знаю, кто крадет у моих соседей кур!

– Харэ́, дед, базарить! – Хмырь примирительным жестом засунул дубинку под стреху сарая. – У меня малость самогонки осталось...

Ветеран поначалу отказывался выпивать в компании с представителем «криминалитета».

«Какой же я «криминалитет»? – обиделся Хмырь. – А насчет кур у тебя фактов нету...

Брелок поначалу затаился в кабинете-чулане, ему не нравилось появление Пал Иваныча на территории «офиса», он грозился вызвать из города «быков», которые быстро наведут порядок в поселке.

– Вызывай хоть «баранов»! – ворчал старик. – Я прошел допросы 37-го, Чадлаг, на твои угрозы мне наплевать. Смотри, чтобы эти «быки» тебя самого не затоптали...

Предупреждение, как выяснится позже, оказалось пророческим.

В тот день мы расположились неподалеку от «офиса», за полуразвалившимся овином. Брелок сходил в хату, побряцал сейфом и выдал Хмырю денег на литр самогонки. На газете с фотографиями певцов и актеров разложили зеленый лук, подвядший хлеб, немного сала, на запах которого пришла, робко мяукая, серая кошка.

– На, киска! – Брелок со вздохом кинул ей кусочек сала.

Старик поднял стакан, произнес небольшую речь:

– Товарищи! Сладость поэтического рабства дотлевает в спокойном свете нашей провинции. Настоящие голоса ушли из моего *чичичилетия* (так произнес он это слово из-за отсутствия зубов), конец которого окрашен алым остатком моей пламенной жизни. Грядет новый феодализм, замки, рыцари в бронеавтомобилях... Не родился еще новый Тургенев, который воспоет эти невразумительные времена возрожденного крепостничества.

Выпили одну, другую, и «классовые» противоречия как рукой сняло. Брелок повеселел и сделался своим в доску, травил анекдоты из жизни «новых» русских, к которым, судя по замашкам, причислял и себя. Затем Брелок, приосанившись, встал с травы и тоже произнес тост:

– Господа!.. Вы живете в великую переломную эпоху. Отныне богатство достанется не дуракам, а предприимчивым людям...

Пал Иваныч жестом перебил его и, презрительно указывая то на Брелка, то на Хмыря древним закорюченным пальцем, произнес:

– Они, эти... хотят, чтобы их называли господами!.. Масштаб истории в ближайшее время раздавит их, как клопов! Ребята, вам надо бежать в разные стороны, пока не угодили в пасть разбуженного вами чудовища по имени Капитал!

– Не пугай, дед, мы пуганые... – с натужной бравадой произнес Брелок. – Возьми лучше домой картошки! А то, небось, жрать нечего «товарищу» пролетарию! – хозяин фирмы с пьяной широтой повел рукой, указывая на холмики подвядших клубней картошки. – Вон её сколько тут валяется, прорастать начала... Крепко я, однако, погорел на этой картошке!

Брелок пил наравне с нами, быстро пьянел и вскоре начал по-детски рыдать: зачем я, братцы, полез в этот идиотский бизнес? Сидел бы сейчас с вами на равных, радовался мирной жизни! Не хочу быть «шефом». Печать – в пруд, чековую книжку – в сортир! Зачем мне чековая книжка, если на ней с трудом наберется на опохмелку?

Он прилег на мешковину и тотчас заснул в тени черемухи. Кошка облизывалась, подкрадывалась к последнему кусочку сала. Хмырь предупредительно выставлял вялую ладонь:

– Ша! Я тебе и так всю ветчину скормил!..

– Отдай животному последнее! – воскликнул Лева. – Все равно ваша фирма лопнула!

Хмырь вздохнул, швырнул, не глядя, последнее сало.

– На, киска, хавай! Бедная «Жозефина» накрылась одним местом...

– Пойдемте, ребята, домой! – воскликнул Пал Иваныч, обращаясь ко мне и Леве. – Объявляю захолустному бизнесу крандец! Долой бессмысленную алчность человечества! Да здравствует борьба мирового пролетариата за освобождение трудящихся!

Кошка, пообедав, умывалась в тени лопуха, она, словно бы улыбаясь, терла мордочку грязной лапой, поглядывала на Пал Иваныча круглыми благодарными глазами.

Мы с Левой покидали «Жозефину» навсегда, унося за плечами по мешку отборной картошки – сгодится старику на пропитание, тем более сам Брелок разрешил!

Вскоре прошел слух, что к Брелку приезжали из города ребята на старенькой, но солидной иномарке и требовали вернуть долг. Брелок обещал вернуть деньги, которые брал на «развитие бизнеса», и в тот же день ударился в бега. Кто-то видел его в областном городе – бородатый лысый бомж просил возле церкви на пропитание. Другой земляк, лечившийся от белой горячки в психдиспансере, вроде бы опознал Брелка среди пациентов дурдома. В память о Брелке остался крохотный магазинчик под названием «Белокурая Жози».

В ПЛЕНУ У БАУЭРА

Его звали Иона Михалыч. Он жил на нашей улице и часто приходил к нам домой на посиделки. По вечерам у нас собирались мужики, чтобы поговорить о том, о сем. Все местные люди знали, что Иона был в немецком плену, работал на хуторянина-бауэра, однако из деликатности они его редко об этом расспрашивали. Что сам расскажет, то и слушали.

О своем пребывании в Германии Михалыч рассказывал неохотно. Мужчина высокого роста, мощного сложения, он чем-то был похож на Сапрона, который тоже часто приходил к нам в дом на посиделки. Но Сапрон, как и мой отец, были настоящими фронтовиками, а Иона – бывший пленник, оттого в общении между ними ощущалась неловкость, молчаливая недоговоренность. Хотя в войну многое происходило с людьми.

Если черты лица Сапрона при всем его богатырстве были тонкие, резкие, порой жесткие, то Иона Михалыч то и дело расплывался добродушной улыбкой – большой широкий рот с толстыми лоснящимися губами, он непропорционально выделялся на лице. Таким ртом можно, наверное, проглотить полбуханки хлеба. Шутил, что в плену «заработал» себе постоянный голод, и теперь все время хочет есть.

Слушая необыкновенные, порой забавные истории, я хохотал, лежа на печи, где мне было тепло, уютно и не страшно.

У нас дома к осени всегда были моченые кислые груши, чугун с мочёнками стоял всегда на лавке, их можно было брать и есть сколько угодно, чем Иона и пользовался, опорожняя чугун наполовину.

Иона Михалыч во время своих воспоминаний по имени своего бывшего немецкого хозяина даже называть не хотел, вроде бы Иоганн его звали: «мой свинячий Гитлер», «мой фашист»... – бывший раб продолжал ненавидеть своего бауэра даже спустя десятилетия. Мечтал поехать в Западную Германию, поймать Иоганна где-нибудь возле усадьбы и от души набить ему рожу, отомстив таким образом за свои мучительные годы.

Однажды, собравшись с духом и перестав есть груши, Иона рассказал, как попал плен, выбираясь из окружения под Смоленском, как на поезде его везли до лагеря в Дессау – там Иона вместе с другими невольниками строил бараки, разгружал вагоны с углем.

Охранник Хайнц, коммунист в душе, тайно принес в барак проволоку, наушники, серу, кусочек свинца от пули – для детектора. Смесь серы и свинца переплавили в наперстке. Получился бурый кристалл, на который нацеливали острие булавки с подключенным проводом, после чего происходило чудо: под действием тока, поступающего из антенны, звучали голоса и мелодии – постоянно шли сообщения из Москвы! Заключенные по очереди слушали голос Левитана, шепотом повторяли текст сообщений. Мужественный, стойкий, совершенно непоколебимый голос! За голосом Левитана, звучащим над всеми просторами мира, стоял весь тогдашний необъятный и непобедимый СССР.

Чтобы лучше настроиться на советскую радиостанцию, подсоединили к приемнику конденсатор, сделанный из консервной банки, намотали триста витков катушки из медной проволоки. Вскоре в наушниках заключенные услышали слова «Сталинград! Наши разбили немцев под Сталинградом!».

Анна, чешка, которая поддерживала связь между лагерями, принесла записку о готовящемся восстании сразу нескольких лагерей. Шифр заключался в письме мнимой возлюбленной к одному из заключенных. В каждом третьем слове вторая буква – шифрованная. Заключенные в лагерях Дессау, Рослау и других были готовы на всё. Планировалось захватить пушки, затем открыть огонь по гестаповцам.

Однако восстание провалилось, нашлись изменники. Анну и Хайнца расстреляли, самодельный приемник отобрали. Заключенных отдали на работу в разные города Германии, Иона попал в деревню к бауэру.

«Разум тогдашних немцев ушел в войну, они свой дух в нее полностью вогнали!.. – размышлял Иона во время посиделок. – Многое они делали по хозяйству механически, жалости к рабам не было. Бауэры с виду вялые, жадные, но хитрые, себе на уме. Типичные русские кулаки! Мой бауэр относился ко мне вообще как к скотине, свиней он уважал больше, чем меня...».

Работая на хуторе с утра до вечера, Иона часто вспоминал, что где-то далеко живет и ждет его освободительница земель – Москва. Она уже близко – идет в Европу вместе со своими войсками, об этом открыто говорили на хуторе. Иона мстительно думал: вот придут наши, конфискуют эти мощёные дворики, каменные сараи, жирных свиней отправят на полевые кухни, солдаты хозчасти выдоят выскобленных до блеска коров...

В неволе Иона познакомился с будущей женой Верой Павловной, ее также привезли в Европу в телячьем вагоне, на котором была надпись: «Да здравствует Германия!». Вера родом с Белоруссии – отец ее погиб, брат партизанил, он остался жив. На малолюдном хуторе раб и рабыня встретились, познакомились, полюбили друг друга. Кругом тоска, тяжелый труд изо дня в день: поля, хлев, огород, кухня... Казалось, ненависть к войне запечатлена в окружающем уютном пейзаже.

Однажды хозяйка лупила ремнем бауэра за то, что приставал к Вере. Иона также ему пригрозил расправой. Иоганн не на шутку испугался – русские приближались к территории Германии.

Спустя годы Иона Михалыч размышлял: потерял он в плену свое человеческое достоинство или нет? Мужики за чекушкой водки его успокаивали – радуйся, что живой остался, что тут, в нашей стране, тебя не посадили как шпиона, разобрались, что ты пострадавший советский человек.

Достоинство не в том, что пленный вынужден есть месиво вместе со свиньями и хочет выжить, а в том, что он, как и всякий воин, надеется на победу. Иона в плену мечтал совершить какой-нибудь подвиг. Но что же такого великого сделать? Хозяин при всей своей отвратительности и жадности смешон, свиней отравить – бауэр сдаст обратно в лагерь. Иона, будучи высок и полон телом, не наедался пайком, который выделял для своих работников бауэр, поэтому Ионе приходилось становиться на колени, зачерпывать пригоршнями месиво из свиного корыта и жадно торопливо насыщать свой желудок. Свиньи серчали, норовили его укусить.

Бауэр заметил, что свиньи не наедаются, выследил Иону и в качестве наказания запер его в сарай, посадил на голодный паек. Иона едва не умер от истощения, но Вера приносила тайком еды – она работала в поле и делилась с Ионой своим пайком.

«В нашей России нет ни одного бауэра! – с гордостью думал Иона, сидя в темном холодном подвале. – Одни только настоящие колхозы! В своем селе я опять буду вольный человек, там не придется воровать корм у свиней...»

До военнопленных доходил слух, что с картошкой в России туго, собираются по весне картофельные очистки в землю сажать. Вера вздыхала, ворчала:

«Из очисток крупные клубни не вырастут... В Германии колхозов нет, народ живет богато, чисто, а у наших колхозников ничего нет, живут в грязи и холоде...»

«У немцев все богатства не свои – награбленные со всей Европы! – объяснял ей с жаром Иона. – Всё здесь создано невольным трудом, как ты не понимаешь, Вера? От жира немец взбесился, попёр на Россию, сколько наших людей в землю положил!»

«Даже в свинарниках, конюшнях каменные полы, чистота, много корму – разве это награбленное? – не унималась Вера. – Объясни, почему у них жизнь правильная?»

Иона озирался, морщился: «Что же здесь такое “правильное”? Конечно, в хозяйственных делах, в чистоте и бережливости нам до немца далеко. Россия – страна отсталая, мы и в войне-то побеждаем с великим трудом... Мои родители в колхозе за “палочку” работают, недоедают, лишь бы армия в боях закрепила победу».

Через неделю бауэр освободил Иону из карцера, они запрягли в две большие телеги с высокими бортами коней-тяжеловозов, поехали в ближайший лагерь заключенных – за пеплом. Возле куч золы собралось много телег и грузовиков из окрестных хуторов. Зола людей – дармовое, насыщенное минералами удобрение, бауэры ссорились из-за места в очереди. Грузили пепел совковыми лопатами, Иона кашлял от серой пыли, глаза слезились...

Домой бауэр ехал сидя на мешковине поверх горы пепла, насыпанного в телегу. Иона понуро брел рядом со своей лошадью, хотя тоже мог ехать, постелив на пепел домотканый коврик.

«Чего же ты не садишься на телегу, пепел легкий, я тебе разрешаю ехать!» – оборачивался бауэр.

«Потому и не еду, что пепел этот слишком тяжелый...» – вздыхал Иона.

На следующий день они этим пеплом удобряли поля, брали светлый легкий порошок лопатами, разбрасывали по грядкам.

Когда Иона Михайлович рассказывал про пепел, он вновь задыхался и кашлял, словно едкие частицы вернулись в нашу сельскую хату из тех давних германских лет, и опять человеческая пыль точила ему горло, вышибая из глаз слезы. От пепла руки его становились красными, словно от негашеной извести. В куче пепла Иона нашел оплавившиеся золотые часики, женские, страшные, без стрелок, похожие на сверкающую желтую каплю с вкрапленными черными точками.

Тучная выросла у бауэра картошка, и свекла уродилась, было много других овощей, колосилась пшеница. Ионе казалось, что колосья сверкают под солнцем блеском миллионов глаз, в картофельных клубнях бугрятся человеческие лица, в бурачной свекле – краснота чужой крови.

Иона в тот год совсем исхудал – великан брезговал есть хлеб и свиное сало, пропитанные сладким человеческим духом, перенесенным в еду из лагерного пепла. Иона во многом питался ненавистью к врагам: «Будьте вы прокляты со своей войной и со своими концлагерями!»

Бауэр, надеясь, что русских прогонят, стал еще зажиточнее – двор заасфальтирован, скотные помещения вычищены, коровы пьют из чугунных раковин, нажимая мордой на клапан. Позже в советских колхозах появятся такие же автопоилки на молочных фермах, а Иона, работая в колхозной мастерской токарем, будет вытачивать для поилок запчасти. Он первым на нашей улице купил себе радиоприемник «Рекорд» – ездил за ним в Москву, достал на складе у знакомого кладовщика. По приемнику он иногда слушал западные голоса, надеясь что-либо услышать о своем ненавистном враге Иоганне, процветающем западногерманском фермере. Однажды радиоприемник сломался, и он позвал меня его чинить. Я пришел, снял с приемника заднюю картонную стенку, стер с нее пыль.

Иона Михалыч с напряженным вниманием вглядывался во внутренности приемника, стараясь разглядеть «детектор». Он считал, что все приемники устроены из детекторов, вроде того, который изготовили заключенные немецкого концлагеря.

– Здесь должен быть серый камешек с желтыми блестками, а в него уперта иголка! – чуть ли не кричал он. – Я видел там, как устроен приемник...

Я показал ему перегоревшую лампу и тут же заменил ее – приемник заработал. Иона Михалыч огорчился, что в приемнике он не увидел знакомого ему «детектора».

Вскоре он купил телевизор. В то время это была диковинка, телевизоры доставали по блату, а у Ионы был в Москве знакомый по лагерю кладовщик. Мы с отцом в те годы часто ходили к нему, как тогда выражались, «на телевизор». Отец любил фильмы тридцатых, я же предпочитал кинокомедии и футбол. Кстати, Иона Михалыч тоже был заядлым футбольным болельщиком. Правда, болел он только за сборную СССР и болезненно переживал каждый ее проигрыш. А проигрывала команда частенько.

Мы, пацаны, в то время старались не пропускать ни одного матча международного масштаба. Иона был не очень гостеприимен, однако на футбол разрешал приходить всем желающим – мальчишки сидели на полу, на стульях, полностью заполняя небольшую комнату, где стоял телевизор. Всех наших футбольных противников Иона Михалыч называл почему-то «фашистами», громогласно кричал в экран телевизора, ободряя таким образом нашу команду и обрушивая на соперников шквал ругательств. После каждого гола, забитого в наши ворота, Иона Михалыч тяжко стонал, поднимался с табурета:

– Что за команда? Кого набрали – мазилы! У фашистов не могут выиграть, дармоеды!.. – он хватал из кастрюли, стоящей на полу возле телевизора, большой пельмень, засовывал в свой огромный рот и мгновенно его съедал.

Мальчишки с изумлением смотрели на него – вот это едóк! Пельмени и котлеты, говорил Иона, помогают ему заглушить гнев от поражения наших футболистов. Он не отрывал взгляда от черно-белого экрана, где советские игроки мужественно боролись хотя бы за ничью.

Иона Михалыч был в поселке уважаемым человеком, считался токарем-универсалом. Водки почти не пил, заказы текли к нему со всех сторон, по тем временам жил он безбедно. Наголодавшись в плену, Иона сам готовил еду очень вкусную и в больших количествах. Домашние котлеты у него получались размером с мужскую ладонь, пельмени – величиной с лапоть. Он любил хорошо поесть, хотя в те послевоенные годы мясная еда для многих была роскошью.

Сковороды и кастрюли в его кухонном закутке были намного больше обычных, чем нужно для семьи из трех человек – у него подрастал слабоумный сын Коля, жена Вера Павловна работала медсестрой. Я иногда дразнил бедного Колю, когда его приводили к нам на посиделки, подсо-

вывал ему кислые груши. Коля машинально ел их, морщился и уже готов был заплакать, на лице его перед слезами показывалась страшная, в полные зубы, улыбка идиота.

Иона Михалыч потихоньку грозил мне пальцем: не дразни его!..

Своего мучителя Иоганна Иона все-таки однажды встретил... Нашего токаря-новатора за его рационализаторские предложения отправили вместе с колхозной делегаций на ВДНХ, где Ионе должны были вручить серебряную медаль.

Там как раз в эту пору проводилась выставка достижений немецких фермеров. Один из стендов был посвящен работе Иоганна, который в течение многих лет селекционного труда вывел нежирных свиней беконной породы. Под стеклом холодильника демонстрировался срез свиного сала с многочисленными прослойками мяса.

Протиснувшись сквозь небольшую толпу к Иоганну, Иона взглянул ему прямо в глаза. Обыкновенный седовласый человечек с красной от волнения лысиной водил указкой по срезу сала, объясняя, как он вывел столь полезную породу свиней. Увидев и узнав Иону, фермер потерял дар речи, указка со стуком упала на мраморный пол. Некоторое время два седых пожилых человека молча смотрели друг на друга. Затем Иона резко повернулся и ушел. В тот же день, не дожидаясь окончания экскурсии и вручения медали, он забрал свой чемодан из гостиницы, уехал домой. А медаль ему спустя несколько дней привез и вручил в своем кабинете сердитый председатель колхоза, обругавший Иону за неповиновение подходящими словами.

Я подрастал, увлекся фотоделом. Иона Михалыч, глядя на меня, купил себе точно такой же фотоаппарат «Зенит», которым впоследствии не сделал ни одного снимка.

Увидев у меня катушечный магнитофон, Иона Михалыч поразился – он услышал звучащий с пленки свой голос! Несколько раз он просил повторить запись, с удивлением прослушивая самого себя. Вскоре он купил себе точно такой же магнитофон, пригласил меня к себе, чтобы я показал, как нажимать кнопки. Затем, до самой его смерти, магнитофон пылился на подоконнике, Иона Михалыч не сделал на нём ни одной записи.

Он любил современные вещи. Доживи Иона Михалыч до наших дней, он бы непременно купил компьютер, чтобы ни разу не включить его.

В начале семидесятых он вдруг заболел и умер – народ говорил, что рак у Ионы Михайловича «приключился от пережитых нервов».

Павел БЕССОНОВ

СЛАВИК С ГАВАНИ

Рассказ

Он проснулся с улыбкой на губах, потому что увидел сон, какой ему приносит радость, – море с мелкими солнечными бликами, желтый и теплый на ощупь песок и голос бабки: «Славик! Снидати пора!»

Славик опустил ноги с кровати, почесал пятерней лохмы побитых сединой, но еще густых черных волос и вопросительно посмотрел на стол, где на обрывке газеты куски поломанного хлеба, кружки вареной колбасы, луковица, разрезанная на дольки. Бутылка из-под водки – пустая. И гудящая голова.

Светлое видение сна детства растворяется в реальности. А реальность – это захламленная комната с оборванными обоями, с мусором на полу, с кислым запахом давно непроветренного помещения, в котором курят, пьют спиртное, сбрасывают обувь и верхнюю одежду.

Славик смотрит на пустую бутылку и еще по инерции кривит губы в улыбке. Нашарив голыми ступнями комнатные тапочки, он шлепает к старому скрипучему платяному шкафу и начинает методически обшаривать карманы развешенной там одежды. Вот что-то зашелестело у него под рукой. Славик достает и рассматривает бумажку. Мало! Ищет дальше. Ну вот! Этого хватит. Можно одеться и сбегать в ближайший магазинчик за бутылкой.

Прятать деньги в карманах одежды Славик начал давно, с тех пор как начал их зарабатывать. Прятал не от врагов внешних или внутренних – от себя. От бывшей жены тоже прятал, но она находила их мгновенно, на нюх брала.

На улице противная погода приазовской осени – дождь не дождь, снег не снег, что-то среднее, но противное до невозможности.

Возвратившись к себе, Славик сбрасывает со стола все остатки недельного запоя в мусорное ведро, которое постоянно стоит у стола. От ведра в атмосфере комнаты витает специфический аромат нужника. Намокшую куртку и шапочку Славик кидает в угол у входных дверей.

Поставив бутылку водки посередине стола, Славик включает магнитофон. Старый ленточный аппарат с шуршанием и потрескиванием вполне исправно начинает распе-

---

Павел Бессонов родился в 1926 году в с. Синявка Грязинского р-на Воронежской области. Добровольно вступил в Красную Армию в январе 1944 года. Участник боевых действий, инвалид войны. Окончил Ленинградскую Военно-воздушную инженерную Академию в 1960 году. Служил на офицерских должностях в Ракетных войсках стратегического назначения. Уволен по возрасту в 1972 году, работал на предприятиях Мариуполя грузчиком, матросом, мастером производственного обучения в Приазовском государственном техническом университете. Публиковался в журналах России и Украины: «Донбасс», «Радуга», «Склянка часу», «Смена», «Юность», «Костер», «Огни Кузбасса» и др. Издано 12 сборников поэзии и прозы в издательствах Донецка, Мариуполя, Киева, Москвы. Член Украинского Межрегионального союза писателей и Международного сообщества писательских союзов. Живет в Мариуполе.

вать голосом Владимира Высоцкого. Славик, подперев голову, задумывается, глядя на давно не мытое окно.

Задуматься есть о чем. Вот он, мужчина, можно сказать, полный сил, с запасом лет до пенсии, остался один на один со временем, которое его не собирается щадить. Об этом пока говорит только зеркало, но недалек момент, что те подружки, каких он приводит с танцев, скажут: «Дед, отвяжись!»

От прогулки к магазину в голове Славика посветлело, но желание выпить осталось. Налил половину стакана, выпил, занюхал крошкой хлеба, случайно оставшейся на столе. Нестерпимо зудят царапины на ладонях. Так и хочется сорвать, соскрести бурые струпья – память о неудачной рыбалке. Славик может позвонить Лене, узнать, что делать, чтобы избавиться от зуда, но не звонит. Он обещал ей позвонить на следующее утро, как придет от нее домой, но не получилось. В забегаловке встретил Гришку, дружбана со школьных времен, и «зацепился». Неделю потом не смог остановиться. Сейчас он звонить не будет. Может, завтра? Но позвонит. Обязательно!

***

Бабки нет уже два года. Пока была – копошилась на кухне, готовила нехитрую еду. Она и жила на кухне, хотя квартира эта однокомнатная была ее, выделенная городскими властями после одного из весенних ледовых наступлений моря. Старую хату на Гавани тогда развалило до половины, и бабке дали наконец эту квартирку. А поставили ее на очередь давно, с того времени когда она, беременная, в конце войны приехала с фронта в свой город, где у нее уже не было ни матери с отцом, ни жилья. Слава Богу, приютил ее инвалид детства Степанович, Федор, по инвалидности не попавший на фронт. Хромой, немого кособокий, Федор с ранней весны до поздней осени жил в дощатой пристройке, где хранилось все его рыбацкое имущество. Его лодка, густо просмоленная байда, колыхалась, привязанная к бакену метрах в десяти от берега. С раннего утра, затемно, он ежедневно выходил в море перебрать поставленные сети. Только в крутой шторм он отсиживался в своей пристройке, по привычке занимая себя какой-нибудь мелкой работой – чинил запасные сети, строгал поплавки, крепил грузила.

Славика дед особо не приваживал, но учил работать руками. Выходя в море, дверь пристройки он запирал на ржавый висячий замок устрашающего размера.

Славик помогал бабке продавать рыбу на маленьком базарчике возле железнодорожного вокзала. Контингент продавцов на прилавках базарчика был постоянным, и бабка занимала всегда одно и то же «свое» место. Да и кто мог покуситься на ее участок! Она была тут единственной фронтовичкой, имела награды. В День Победы, надев кофту с тремя медалями – только эту кофту она всегда и надевала по праздникам, – бабка отправлялась к месту сбора ветеранов и гордо шествовала в колонне рядом с мужиками.

Продавая бабкин товар, Славик узнал арифметику лет в пять. И не только четыре основных действия: сложение, вычитание, умножение и деление, но и проценты. Как же не знать! Бабка отчисляла ему долю прибыли на мороженое.

– Сегодня добре потрудились мы, Славик! Получай свой процент... – и рубль, а то и два попадали в ладошку помощнику.

И читать Славик учился здесь, на базаре. Бабка приносила с собой аккуратно нарезанные листки из старых газет, и Славик читал мелкий газетный шрифт свободно.

Так что с чтением и арифметикой в первом классе у Славика не было проблем. Другое дело письмо или рисование. Славкины пальцы, привычно вязавшие рыболовные крючки на поводки и затягивающие узлы при вязке сети, никак не могли справиться с палочками, кружочками, восьмерками и прочими фигурками на бумаге...

Когда бабка получила квартиру однокомнатную, дед уже умер, а Славик закончил ПТУ и начал работать сварщиком по направлению на заводе. Бабка тогда сказала: «Славик, переходи ко мне. Подальше от Райки». Славик привык к бабке, с детства жил в ее комнате, а мать, какую, как и бабка, называл «Райка», осталась в сохранившейся половине хаты, по-прежнему пила по-черному, запоями, и приводила мужиков. Славика она родила в шестнадцать лет.

Пьяная мать была доброй, угощала Славика сладостями, а мужики иногда подкидывали ему, путающемуся под ногами, мелочь. С похмелья Райка была злющей, накидывалась на бабку, всячески охаивая ее фронтовое прошлое, а Славику щедро отсыпала оплеухи и подзатыльники.

Потом она вышла замуж за разведенного мужика намного старше ее. Мужик был деловой и при деньгах. Он восстановил хату, обложил шлакоблоками, утеплил пристройку. Потом он приобрел лодку дюралевую и два «Вихря», сети и стал браконьерить, заручившись «крышей» рыбнадзора. Мать стала продавать рыбу на Центральном рынке.

Матери было под пятьдесят, когда заболела всерьез и умерла. Славику в наследство доставалось половина хаты и, недолго думая, подписал он бумагу, по которой ему отошла пристройка. Он вновь занялся рыболовством, купив подержанною «резинку», лодку однокамерную. Ходил на ней, ставил пару сеток на том месте, где их ставил когда-то дед, добытую рыбу сдавал отчиму.

***

Самое ценное, чем Славик обладал, была свобода. Один раз, правда, на него уздечку накинули. По молодости и опять же по пьяни. Связался с малолеткой. Остренькая мордочка, пухленькие грудки под ажурной кофточкой. О чем говорили? Да ни о чем. Он говорил, она или хихикала, или тупо молчала. Привел к себе. Бабка как всегда заперлась на кухне, о чем-то там ворчала. Славик привык к этому ворчанию. Так же привычно запустил маг с записью песен Высоцкого, так же привычно раздавал любезности в адрес пацанки. Хмель бродил в голове. Открыл еще бутылку. Налил в два стакана.

– За любовь?

Пацанка пить не стала. Вертела головой, оглядывая жилье. Не пьет – не надо! Выпил до дна, передвинул стул, сел рядом, вплотную. Опять что-то «заливал» по привычке. О том, что несовершеннолетняя, уже и думать забыл, раскладывая вскоре не очень-то сопротивляющееся тело на кровати. Лепетала что-то вроде «Не надо!», но это дело обычное, все шалавы так изображают девочек из себя.

В общем, уснул рядом с девчонкой. Проснулся – пацанка трусики подтягивает, поправляет.

– Ты куда?

– Мне домой надо...

Свалила молча. Опять лег спать. Утром глянул – кровь на простыне. Целка была или на критические нарвался? Черт с ней!

А она через день заявилась сама. Бабка открыла дверь. Славик после шабашки, с устатку, приняв стакан водки в рюмочном отделе гастронома, только-только начал задремывать. Услышал, как бабка кого-то отчитывала: «На что тебе, девчонке, этот кобель нужен? Парней, что ли, в городе для тебя нет?» Крикнул: «Пусть зайдет!» На свою голову...

Потом в ее квартире начали встречаться, в дни, когда мать ее была в смене – поваром в кафешке трудилась.

Две старший сестры девчонки замужем, в своих квартирах. Мамаше младшую надо было пристроить за кого-нибудь, за любого. Лишь бы жилплощадь имел. Мамаша вроде бы не знала, что ее школьница спит с мужиком, прикармливала Славика, приваживала. А когда лоху Славику его пацанка предъявила четырехмесячный живот, отступать ему было некуда. Накинули на него уздечку и повели на регистрацию. Женили, в общем.

А что из этого получилось? Родила Людка девочку. Кариной назвали. Жил Славик у тещи, какая сразу начала требовать переехать с новой семьей к себе. Перетащились – тряпки да телевизор в приданое. Славик выпивал, с работы на работу переходил, ругань в доме каждый день. Бабка ни в какую не стала прописывать Людку на свою приватизированную жилплощадь. Теща по телефону костерила зятя за пьянку, за отсутствие денег, а главное – за то, что никак не может он прописать её дочь, закрепить за ней жилплощадь. Людка к матери чуть ли не каждый день бегала. Получала, видимо, от нее наставления и указания. Потом забрала тряпки и телевизор и подала на развод.

Вновь стал Славик холостяк, но с клеймом в паспорте и алиментами. И с окончательно испорченным мнением относительно женщин.

А женщины были. И молодые дурочки, какие сами-то не знали, что их тянет под мужиков, и зрелые, с точным прицелом на видного парня, и просто случайные, часто, под пьянку. И все они были для Славика одинаковые. Но, как говорил Славик, цитируя классика, ничто человеческое не было ему чуждо, и женщины в его жизни появлялись, нарушая его одиночество.

В одиночестве, под легким подпитием, Славик любил смотреть по телеящику программы о природе, об НЛО, о мироздании, о судьбе планеты в будущем. Что только не угрожает этому, не так уж большому шарику! Глобальное потепление и наводнения, гигантские вулканы и пыль, закроющая солнце, и ледниковый период, гигантские метеориты, пока еще проносящиеся мимо... Славик был фаталист, верил – чему быть, того не миновать. Но иногда мысли сгущались как тучи, и одно спасение было от них – выпить стакан-другой водки. Иногда выкладывал эти мысли Славик или зашедшему к нему пенсионеру Николаю, любителю поддержать компанию, либо дружкам-доминошникам, стол которых был во дворе напротив его окна.

Не были они ему дружками. Просто играли на интерес, а проигравшие бежали в гастроном за бутылками. Славик в домино не играл. Считал пустой тратой времени это дело.

Никогда не предполагал Славик, что когда-нибудь женщиной его будет медсестра. Обычный контингент его – работницы прилавка и скучающие дамы из Дома отдыха, приезжающие отдохнуть и подлечиться к морю. К первым ходил в гости, вторых приглашал к себе, заранее извиняясь за беспорядок в комнатах «по случаю ремонта». Места

знакомств, соответственно, были рынок, магазины и Дом отдыха с регулярными танцами. С Леной получилось по-другому.

А получилось все из-за того, что здорово поддатый Славик вышел из своей квартиры и подошел к этому самому доминошному столу не вовремя. Кроме мирных завсегдатаев, вроде могучего дяди Жени, подручного сталевара на пенсии, сидели за столом два дружка – хилый задиристый Сявка и здоровый, тупой Бык. Сявка изображал из себя блатного, а Бык имел недолгую отсидку за драку.

Славик, поглядев на игру минут пять, изрек:

– Гляньте-ка, козлы в козла режутся!

– За козлов ответишь! – ощерился Сявка, со стуком ставя кость на стол.

– Тебя это не касается, Сявка. Ты не козел – козлик, – Славик дурашливо захохотал.

Сявка, бросив кости на стол, вскочил на ноги, стал перед Славиком, которому доставал до подбородка макушкой.

– Оборзел, дядя! По рогам захотелось? – Сявка кривился, брызжа слюной, лез на Славика.

– А ты попробуй, козлик! – Славик не замечал, что за его спиной поднялся Бык.

Размахнувшись, Сявка ударил Славика в скулу, на что тот отмахнулся, и не кулаком – пятерней – толкнул Сявку в лицо, и тот повалился на землю.

Славик самодовольно оглянулся, и в этот момент получил удар кулаком в висок. Славик присел, обхватив голову двумя руками.

Матерясь, Сявка, проворно вскочивший после падения, ударил Славика ногой, обутой в остроносый туфель, под ребра, в печень. Охнув, Славик свалился на бок и получил еще удар в ребра.

Бык стоял, тупо глядя на Сявку.

– Прекрати, пацан! – дядя Женя, авторитет которого во дворе был непререкаем, оттащил Сявку. Скорая помощь отвезла Славику в травматологию.

А отделали его «дружки» крепко! Два сломанных ребра и подбитая печень, сотрясение мозга и гематомы, закрывшие оба глаза.

Как следует дежурную медсестру он разглядел на третьи сутки, сначала от второй дежурной по голосу отличал. Голос в человеке, в женщине тем более, много значит. Если мягкий, спокойный, грудного тембра, то и вся женщина соответствует ему. У одной из медсестер был такой именно, у другой – скрипучий.

На третий день дежурила как раз та, с приятным голосом. «Больной, как вы себя чувствуете? Сейчас мы температурку измерим. Да вы молодец, глазки уже раскрываете!..»

И глаза у нее карие, добрые. Глаза – зеркало души. Ясные у нее глаза.

Ее сменяла женщина постарше. Она так же умело поворачивала Славика, безболезненно ставила уколы, но ее светло-серые узкие глаза смотрели холодно, мимо пациента, а скрипучий голос просто выводил Славика из себя.

Медленно срастались сломанные ребра, не спеша восстанавливалась побитая печень, а Славику казалось, что только за сутки дежурства Лены – так звали медсестру – он и выздоравливает.

Славик выписывался в день дежурства Лены и несмело попросил номер ее домашнего телефона. Он не особенно надеялся на положительный ответ, но Лена написала на листке номер и, передавая, с серьезным видом сказала:

– Будете сообщать, больной, о ходе выздоровления, – и только после этого рассмеялась.

Бумажку эту Славик потерял, и после больницы все пошло по-старому. Пьянка сменялась работой, танцами «Кому за тридцать», походами по девицам и вдовушкам, но Лена вспоминалась часто и в самый неподходящий момент, и тогда Славик уходил из гостеприимного дома, когда его уже оставляли на ночевку, или провожал до двери засидевшуюся у него подружку.

Он поехал в больницу искать Лену. Для храбрости и свободы общения выпил, но это его и подвело – с ним даже и разговаривать не стали. И он недели две приходил в норму. Пошел, надев галстук под пиджак, как на прием к Президенту. Лены на работе не было – была в отпуске по болезни сына. И он долго уговаривал девчонок в регистратуре, пока они дали домашний номер телефона Лены. Помогли в этом деле две плитки шоколада.

Позвонил не сразу, дня через три после посещения больницы. Ответил Славику звонкий мальчишеский голос: «Мама на работе. Что передать?» От неожиданности Славик не сообразил, что ответить, и прямо-таки промычал: «Ничего».

На встречу с Леной Славик пошел в больницу, все-таки выпив полстакана водки, не представляя себе разговор с женщиной без легкого кайфа. И хотя вызвать Лену в приемное отделение ему удалось, разговора не получилось. Лена улыбалась, шутила, но попросила придти в следующий раз, созвонившись заранее и, самое главное, трезвым. «Договорились, Станислав?» – и так улыбнулась, что не мог он нагрубить, как обычно делал, когда получал отказ от женщины. По дороге домой в голове вертелась фраза, какую не сказал: «Подумаешь, красотка! Не таких видал... в соответствующей позе!»

Обида прошла, и Славик позвонил. Ответила Лена.

– Это я. Узнала? – Славик старался придать голосу независимость. Позвонил, мол, от нечего делать

– Узнала. Мне ведь не часто звонят... посторонние.

Слово резануло слух, и Славик хотел уже выдать что-нибудь с «подколом», но застопорился. Конечно, он и есть посторонний, какой еще?

– Ну, что ты, Леночка? Ты же мне как родная после больнички. Меня ты, можно сказать, выходила...

– Перехваливаешь ты меня, Станислав. Слово это у меня вырвалось нечаянно, извини...

Славик секунду-две тормозил, усиленно соображая, как напроситься на встречу.

– В общем, у меня время свободное, решил прогуляться. Составь компанию. Сходим куда-нибудь...

– Дел много дома, Станислав. С Денисом надо позаниматься... Мы ведь к школе готовимся! – Лена помолчала. – Можешь ко мне зайти. Чаем угощу. С пирожками свежими.

Сердце Славика подпрыгнуло. С чего бы? Ну, приглашает женщина... В первый раз, что ли!

– Зайду, конечно! Адрес пишу...

Прижав плечом трубку к уху, он записал в блокнотик адрес. Оказывается, Лена живет совсем рядом от его квартиры, всего в одном квартале, на одной с ним улице.

Славик отходит от телефона и идет, мурлыча бодрый марш прошлых времен. Он идет к женщине, какая его ждет!

Квартира Лены на третьем этаже пятиэтажки, известной Славику, – на первом этаже дома кафе. На звонок подходит мальчик.

– Кто там? – голос мальчика спокоен.

–Это Станислав... К твоей маме...

Славик видит Лену в первый раз без длиннополого больничного халата, по-домашнему.

– Проходи!

Она идет вперед, давая себя рассмотреть, – короткая кофточка, шорты. Ровные ноги с полными бедрами, тонкая талия. Девочка, да и только, а не мать пятилетнего сына. Сын на маму не похож. Круглолицый, с коротким толстоватым носом. Глаза серые, смешливые. Он напоминает Славику его самого на фотографии такого же возраста. Может, это его сын? По пьянке, при случайной встрече? Нет, конечно! Отец Дениса погиб на производстве два года тому назад. И не мог бы Славик забыть встречу с такой женщиной...

Славик снимает пиджак, моет руки в ванной и идет к столу на кухне, к обещанным пирожкам. Он представлен Денису – «Станислав Васильевич», – пожимает маленькую ладошку и вносит поправку: «Зови меня Славик, мне так нравится». И смеется вместе с Денисом.

Вот с Леной разговор не клеится. Славик в непривычном для себя состоянии полной трезвости. По дороге Славик заскочил в магазин, и в кармане его пиджака бутылка вина, завернутая в пакет. Красное «Каберне», наверняка кислятина, но ему посоветовала соседка. Вкус у этих женщин! Он приносит пакет и, развернув, ставит на стол.

– Зачем спиртное, Станислав?

– Лена! Это же вино! За встречу надо...

– Забери, пожалуйста! Не праздник же...

– Не заберу! – Славик упрямо сдвигает брови.

– Хорошо. Пусть останется у меня. До праздника, который может состояться... если мы этого захотим.

Лена улыбается. Она сидит напротив за столом напротив Славика и неожиданно легко и ловко гладит его ладошкой по щеке.

– На меня не сердись, так надо. Так лучше, Славик! Я тебя тоже буду звать Славик. Мы ведь встретимся еще? Или нет?

Такого Славик не ожидал. У него в мыслях крутится калейдоскоп встреч с десятком женщин прошлых лет. Он, как школьник, застигнутый врасплох за шалостью, беспомощно улыбается.

– Ты ешь пирожки, пока они свежие... – так, наверно, Лена говорит и с Денисом. Так, таким же тоном, она говорила, сидя рядом с его больничной койкой, давая горькие таблетки, ставя укол и приподнимая его поломанное тело.

Лена моложе его на десяток лет, но он чувствует ее власть над собой, власть женщины.

– Я, наверно, пойду...– говорит Славик, выходя из-за стола. – Занимайся с Денисом... Спасибо! Пирожки что надо...

Лена его не останавливает, дружески улыбается, провожая до двери.

В первый раз уходит Славик от женщины, какая пригласила его, вот так, провожаемый улыбкой. Почему не осмелился он сесть за столом рядом, обнять, поцеловать эту женщину, не прикоснулся ладонями ко всем ее выпуклостям и округлостям, бормоча

при этом всякие глупые нежные слова, вроде «киса моя», «девочка моя», и тому подобное, как делал с другими. Не осмелился почему?

Славик зашел в магазин и купил бутылку водки, и дома, поставив бутылку на стол, долго сидел, решая: пить или не пить? Что-то у него переменилось в простых и ясных отношениях с женщинами. Может быть, это любовь? Если любовь, значит прощай свобода? Свобода... Это сладкое слово – свобода! Где-то он слышал или читал эту фразу. Не-ет! Свобода дороже любой любви. И вообще, любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. А свобода, как и еда, тоже нужна всегда.

***

Лето прошло. Славик так и не позвонил Лене. То на шабашке, то в море на сетках, то опять в загуле пьяном. Вот только к бабам перестало тянуть, все вспоминается Лена.

Отчим после смерти Райки жил один, на него на рынке работала бабенка по имени Аза, она не жила в хате отчима, но вертела им, как хотела. Славик сдавал улов прямо ей, и она расплачивалась без обмана. Отчим здорово сдал, растолстел, брюхо свисало над низко спущенными штанами. Он еле влезал в свой резиновый комбинезон.

Вторые сутки гулял шторм. Восток гнал высокие валы, черные от поднятой со дна мути с белыми кипящими пеной гребнями. Вторые сутки Славик с отчимом пьют водку. Шторм может сорвать сети с якорей, а если они и останутся целы, то до конца шторма повисшая в ячеях рыба не только укачается, но и задохнется.

В голове Славика, замутненной двухсуточной пьянкой, возникает то образ Лены, то Дениска хитро улыбается. Ему хочется увидеть их, посидеть за чисто вымытом столиком в кухне, может даже попить чаю с пирожками... Надо пойти к ним, встретиться... Но пойти в гости с пустыми руками нельзя, а денег нет на подарки. Но можно привезти им свежей рыбы! Сельдь-черноспинка сейчас ходит. Может, целый косяк уже вломился в сетку... Через пару дней испортится рыба, потеряет товарный вид... Трясти сети надо только сегодня. Сейчас он соберется, сходит, проверит...

– Ты куда собираешься, дурила? Остынь! – отчим валяется на своей лежанке с опухшей мордой. – День-два ветер убьется, выйдем к сеткам. Не сегодня только. Прибавляет штормяга к вечеру...

Славик молчит, натягивая ватные штаны и сапоги на них. Свитер, ватник, ветровка. Поверх еще плащ...

– Петрович, шапку мою не видел где?

– Остынь, говорю!

– Сам найду... – Славик роется в куче одежды, наваленной в углу. – Петрович, за меня не переживай! Все будет путем. Кому сгореть, тот не утонет!

***

Кто-то отводил от Славика грозную руку судьбы уже несколько раз. Запомнилось ему, как во время страшной грозы в Мелекино на пляже только успел отойти от мужика, спрятавшегося от ливня под грибком, как разряд ударил прямо в грибок. Мужика наповал, а у Славика ослабли и выпали две металлические, анодированные под золото коронки, да как шальной был до вечера – и все. И еще было, когда стрела крана упала

и стропалю ногу покалечило, а он, Славик, только что стоял на том месте... И еще было так, по мелочи...

Старая однокамерная «резинка» выходила все сроки, днище ее было залатано, баллоны, покрытые старческой сеткой, сдувались. Купил ее Славик за полцены, и хозяин советовал промазать резину клеем, иначе надежность лодки будет близка к нулю. Славик все собирался купить новую, но цены взлетели выше его доходов.

Закинув в надутую лодку все нужное, поставив весла, он понес ее в море. Прямо у самого берега накат чуть не свалил его с ног, заплеснул бадейку воды, но Славик зашел уже глубже, где волны были спокойнее. Перевалившись животом в лодку и сразу намокнув, он взялся за весла, уходя от береговой волны.

Мутило его здорово, и голова соображала тяжело, но он упрямо выгребал против волны к нужному месту. Став на створы, начал бросать кошку, ловя сеть.

Кошка села на сеть со второго заброса, зацепив ее у верхнего подбора. На якорь становиться было бесполезно – «флажок» мог забрать в штиль или легкую волну, а не в шторм, усиливающийся к вечеру. Держась за подбор, Славик одной рукой с трудом выламывал сельдь. Пяток селедок уже вяло трепыхался в ногах Славика. «Еще пяток – и свалю», – чувствуя усталость, решал про себя Славик. Всю сеть он не переберет, сил не хватит.

Он наклонился к нижнему подбору, где блестела тускло еще рыбина, но «девятый вал», волна, какая иногда превышает остальные в полтора-два раза, выдернула из-под Славика лодку и сразу отбросила ее метра на три-четыре. Славик опустил сеть, и она сразу ушла под воду. Барахтаясь, он повернулся вслед за отплывающей, словно воздушный шарик, лодкой. До нее доплыть ему в его мокрых доспехах не удастся. Значит, берег.

Берег близок, и Славика даже несет к нему, к бетонной стенке мола. У мола глубина, на ноги не встанешь, два с половиной метра... Славик с трудом выпутывается из плаща, но фуфайка под ветровкой уже намокла, а ватные штаны в лодке, залитой до половины, давно намокли насквозь. Сапоги как гири. Набрав воздуха, Славик, нырнув, пытается снять сапог. Вынырнув, не вовремя хватанув воздуха, Славик чуть не захлебывается глотком соленой воды, отчаянно надрывно кашляет, теряя последние силы. Один сапог уже ушел на дно, снять другой сил нет. Славика уже тащило волной вдоль мола. Обрывая ногти, он пытается вцепиться в ноздреватый бетон. Пару раз его, барахтающегося у стенки, ударило головой о бетон, и наступил момент безразличия ко всему, желание, чтобы все это кончилось... Неважно, как.

С ним такое было уже, правда, давно, когда заплыл в почти такой же шторм далеко от берега. Так же был в подпитии, так же мутило, но было лето и теплая вода. И плавки – вся одежда. Море тогда было забито медузами. Они противно касались тела, и такое же безразличие охватило Славика. Тогда он лег на спину. Укачиваемый волнами, только отплевывался от брызг. Неподвижные ноги опускались вниз... Когда ощутил песок дна и встал. Было такое.

Лена, Дениска... Он же должен пойти в гости. Правда, рыбу уже не найдешь, как и лодку.

Рука зацепилась за стальной канат. Ржавый, заершеный, он свисал с мола, уходя в глубину. Перехватившись второй рукой, Славик повис на канате. Задубевшие в холодной воде ладони не чувствовали боли от впившихся в кожу торчащих обрывков стальных нитей.

Ногой без сапога Славик нашел трос, цепляясь, пополз и пополз вверх. Сколько времени он полз – вечность! Но вот край, ржавый штырь, к которому накрепко прикручен

трос. Все! Славик последними силами валится на край мола и замирает. Он готов пролежать так вторую вечность, но ветер, нисколько не ослабевший, выдувает остатки тепла, заработанного барахтаньем в воде, и он начинает замерзать...

Мокрый, с разодранными в кровь ладонями рук, в одном сапоге и рваном носке на другой ноге он шел по городу подобно сомнамбуле, не понимая, куда и зачем он идет. Он шел к дому Лены.

На третьем этаже перед дверью Славик упал, обессилев, и лежа стучал кулаком в дверь.

Он очнулся от ноющей боли во всем теле и саднящих рук. Забинтованные ладони белыми куклами лежали поверх пододеяльника, каким он был укрыт. Он был переодет в какую-то кофту, наверняка женскую.

Он лежал неподвижно, вслушиваясь в разговор в соседней комнате. Голос Лены, какой он узнал без ошибки, уговаривал: «Денис! Засыпай. Славик тоже спит...» – и голос Дениски: «Славик не уйдет?» – «Спи, Денис! Не уйдет дядя Славик...» В комнате, где лежал Славик, было темно. Легкая музыка доносилась, видимо, от соседей. Несмотря на боль и усталость тела, Славик ощутил радость покоя, какого он не имел многие годы своей жизни. Такой покой был в детстве, на Гавани, когда набегавшись до упада, со сбитыми в кровь пальцами ног, содранными коленями, Славик засыпал на лавке в бабкиной комнате.

Виталий ЛЕХЦИЕР

***

И.Т.

мясо твое по-провансальски я никогда не забуду,
как и юнгера бирюлевского, партизана овощебазы –
шмитта, влюбленного во врага, словно в Чашу Грааля,
цезарь с фирменным соусом, вино из Австралии,
странный редукционизм твой неожиданный
посреди лионского гедонизма, идентичностей галахических,
пражских, американских, испанских, южнофранцузских,
посреди песен Заратустры в горах Верхнего Энгандена,
многоязычия ошеломительного и путевых заметок,
никогда не соглашусь, даже при всех оговорках,
страх погрома, реальность, мы живем при погроме,
природа человеческая, Фрейд мой герой,
перспективизм ограничивается присутствием,
телесным событием, низовой солидарностью,
сознание в итоге ничего не значит;
самое время пешочком до Экс-ан-Прованса –
посмотреть как св. Марта подводит к Мадонне дракона на поводке –
камня, церквушки, берега невысокого
и упокоиться с миром

***

страшна зима, поскольку всё в снегу,
прогугли: снег, зима, страшна, союз *поскольку,*
как гули-гули или рики-тики,
спроси: а можешь?
да,
ага,
угу

Виталий Лехциер родился в 1970 году в Ташаузе (Туркмения). Окончил филологический факультет Самарского госуниверситета, доктор философских наук. Публиковался в журналах «Волга», «Воздух», «Цирк Олимп», «Дети Ра», «НЛО», «Золотой векъ», в антологиях «Нестоличная литература», «Девять измерений», «Поэтический путеводитель» и др. Автор поэтических сборников «Обратное плавание» (1995), «Книга просьб, жалоб и предложений» (2002), «Побочные действия» (2009), «Куда глаза глядят» (2013), «Фарфоровая свадьба в Праге» (2013), четырех философских монографий и более ста статей и эссе в различных периодических изданиях. Участник и лауреат ряда международных и российских литературных фестивалей. Соредактор электронного литературно-аналитического портала «Цирк Олимп+TV» и одноименной книжной поэтической серии.

ты можешь выжить или умереть,
как три твоих приятеля с филфака,
непрухой прах поправ, и растереть,
как плюнуть,
как ять и еть

как говорить и спать, и трепетать,
как спать, и врать как срать, и помириться,
и что-то бормотать, как ать-два левой,
как ать-два правой,
и на себя пенять

как долгий перерыв, как пить дать, встать,
расправив плечи, выдернув колечко,
сердечко тук..., проломано крылечко,
на -ить и -ать

***

Кругом одни козлы, мослы и куропатки,
бестактное письмо, так ты же и не знал,
два пишем – ноль в уме, садок и сыпь в остатке

в осадок выпадать – не верь тому, что видишь,
как быть или простыть, кислотные дожди,
так говорит братва на русском, не на идиш

ни мясо, ни плотва, ни девочка на шаре,
не смерть, не от любви, не девушка и смерть,
не надо ничего гуру или лошаре

луна или пилот, полтинник закатился,
невроз, рессентимент, сосудистый зигзаг,
так это полбеды, куда запропастился?

а вот теперь кругом, торчком и левой-правой,
мы поглядим потом, мы поглядим еще,
гордись, что все прошло, что было мыслью здравой

Папа

1.
Степные сурки предсказали весну
по плану, в последней декаде апреля,
не новость, не старость, – чума на кону

на кончиках пальцев – удары, та-та,
победа – не в жертве, а жизнь прожита,
разносит печенка черничную кровь,
одежду и воду к утру приготовь

отряд не заметит, но я не смогу,
и если случится, все будет иначе,
и яблочко-песенка с папиной дачи
зароется в землю, утонет в снегу

2.
Кому волейбол или граф Монте-Кристо,
безоблачность, облако в свитере зимнем,
кончается быстро, как завтрак туриста

последняя стадия, гол как соколик,
без колик, без пулек, как детство, как нолик,
как ролик, запущенный кем-то когда-то,
подавленность, правда, острастка, бравада,

типун на язык, слабину и на вялость,
на номер злосчастный в руках гардеробный,
нужны мне отчет о беседе подробный,
и всей перспективы насущная малость

3.
что значит прошедшая жизнь? эвфемизм
какой-нибудь, текст караоке,
контекст бытовой, вислоухий трюизм,
топтанье гостей на пороге

изнанка какая-то, мимо и сквозь,
невидимость и притязанье,
болтушка, считалочка, вместе и врозь,
паэлья, ушица, лазанья

подспудная легкость, подкожная соль,
корзинка, картинка, картонка,
считаться не пробуй, смеяться изволь,
порвется, где толсто и тонко,

прорвется, где пылко, где свет потушить
успеть бы, собраться и съехать
с квартиры, с катушек, и жить – не тужить,
кряхтеть, кочарыжить, и шпрехать

4.
... вам нужно бумажку такую-то взять
в своей поликлинике, кровушку сдать,
у моря погоды вам велено ждать...

...и свяжутся с вами, и вам объяснят
из Киева завтра, сидите на стреме,
на нервах, на кольях, в плену, в полудреме,
и все телефоны в ушах зазвенят

вам перезвонят, вам напишут, а вы
сидите и ждите и будьте готовы,
как будто есть выбор, но вы не мертвы,
вы слышали фразу: о чем вы, ну что вы

когда это кончится, будет темно
и будет светло, как в мистических фильмах,
дожить до рассвета, не глядя в окно...

5.
Живи, не волнуйся, кромсай – не кромсай
печенку, всего не охватишь,
и крики «пасуй» или возглас «банзай» –
при данном раскладе слова лишь

Живи, не волнуйся, подкрутка в пинг-понг,
подрезка, глушёвка, ракетка,
грушёвка краснеет, чернеет сапог,
пустеет за грядкой беседка

По шахматам блиц затевает турнир
какой-нибудь важный гроссмейстер,
и чешский в поклаже лежит сувенир
тому и другому семейству

Железка дорожная, пыль железяк,
железки, железки, железки
заходятся в раже, наперекосяк,
равнины, холмы, перелески

В Израиле лето, а здесь снегопад,
жена, сослуживцы и дети,
Хабаровск, Самара, потом Ашхабад,
Ташауз в счастливом билете

Хрущевка, Смышляевка, чертов порог,
наследственный создан добротно,

живи, не волнуйся, все сроки не в срок,
смешно, странновато, щекотно

Живи, не тревожься, внучок забежит
на вечер сыграть траляляку ,
придирчивый скальпель тебя ублажит
и галстук запомнит стилягу

Когда вырастает какая-то брань
подспудно, паскудно, протяжно,
живи, не волнуйся, в промозглую рань
въезжая легко и вальяжно

6.
Не принимай решенье, не решай,
глаза упали, выпали из чашки,
все как-то вдруг, без лажи, без поблажки

На волжском льду сидит рыбак, удит,
отец, два сына расчехляют лыжи,
жизнь перешла границу, как бандит,

как трансгрессивный опиумный крот,
который роет яму под тобою –
да, так сказал, так произнес мой рот

Я говорю, а ты уже лежишь,
привязанный к холодным аппаратам,
вдыхаешь силу, мелкую, как атом

Ты все решил, и это как пример
и правило на личные глаголы,
на автомате – твой секундомер

Жизнь порождает всем известный шок
и шов, и швы, которым рубцеваться,
когда других сажает на горшок,

давай сражаться

***

разрази меня гримаса
медицинская, тик-так,
меньше жира, больше мяса,
мельче мудрости, простак

громче дуй в свою волынку,
тише жми на тормоза,
кукиш-мякиш, польку-глинку
под сурдинку, за глаза

толстым выпуклым романом
до краев и через край,
перламутром, перельманом
прямиком в кромешный рай

ритор выудит добычу,
кто на улицах кричит?
«патер-ностер» закавычу,
буги-вуги в аппетит

мистикой а-ля кузанец,
пластикой а-ля марсо
фанфарон, плебей, засранец,
изобретший колесо

ты сейчас почистишь зубы,
вправишь кости, вырвешь глаз,
вскинешь бороду: грозу бы
без ужимок, без прекрас

Александр АВЕРБУХ

***

эта тишина вокруг
пустые слова
которые не вяжутся никак
закупоренные изнутри не подступиться
ты попробуй пройди
по кладбищенской дороге
сверкающей желтизной зубов
эта речь утопит тебя
в непроходимой грязи
ты только заговори
о чем ты с ними заговоришь
когда ни слова
а только окаменевший рот пустит нитку слюны
литое сердце поговори о нем
как раз плюнуть

***

кто и зачем?
я никого не жду.
ходит вокруг, укутавшись в черные шали,
мерит шагами комнату,
я притворясь лежу.
ну и что? лишь бы мне не мешали.

в кои-то веки пораньше ложишься спать,
тяжесть пустой головы изливаешь в холодные одеяла,
пытаешься мысленно наверстать
то, что мелькнуло,
нечаянно просияло.

каждый день как ненужный слой, забытая чешуя
сам себя позабыть не умея,
захлопнет двери, за которыми прошумят
и отворит,
пред коими онемеют.

Александр Авербух родился в 1985 году в Украине. С 2001 года живет в Израиле. Публиковался в журналах «Двоеточие», «Воздух», «Октябрь», «TextOnly». Книга стихов «Встречный свет» (2009). В 2006 году вошёл в шорт-лист премии «Дебют». В 2009 году вошел в шорт-лист премии «ЛитературРентген» и в лонг-лист «Русской премии».

***

дорогие друзья
садитесь:
вихорь давно утих
чужая нежность опочившая во плоти
не говорит, как говорила тому лет пять
(вряд ли заговорит опять)

можно точнее сказать
это так монолог к образам
вещая блажь после н-ного кофе
в мутную желтизну окунаешь глаза
и глядишь на себя проходящего мимо
в профиль
умоляя
господи не спеши
запинаться на этой вселенской каше
не дотянуть
согрешить

устоявшейся полноты
не нашей
гордый колет смычок
качается и нейдет бычок
самаркандский виляет сморчок
ну и че?

говорит: расставляйте ладоши дети
когда с вами блядь о святом
господи
кто милее на этом свете
таня плачет
каштанка виляет хвостом

***

Эта комната, как мешок из дыр
И высо́ко горящей крышей.
Я прижмусь к земляной щеке борозды
И укроюсь воздухом
тем, что тише.

Говори что хочешь, объятия простирай.
Не услышу порыва немой беседы,
Будто нас разделила с тобой стена,
За которой вымерли соседи.

***

больше не говорю
не ловлю себя на мысли
что говорю
что это я говорю
никому не даю слова
которое скрючилось в не могу
по тропинке
и короба
окаменело вовне
о том чего было и не
колышется больше тоненький волосок
больше чем
тяжелый медный колокол
раскачивал немое сердце
но это все ничего
нет чьего

***

нет проснись о садах
о душе сонных ваз
в руце божьих затей
мутный яблочный сказ
там красивый янтарь
на гирляндах рябых
в этот мерзлый январь
весь в святых запятых
окуни меня здесь
чтоб дышать и робеть
где хрустальный зевес
мой грудной воробей

Антон ПАЙКЕС

КАНСЕР

Повесть

От составителя:

Феномен романа «Луга, залитые надеждой» пока ещё никем не рассматривался подробно. Причин тому можно найти великое множество: тут и крайняя степень метафоричности произведения, и отсутствие точных сведений о контексте, без которых невозможен всесторонний анализ, и практически полное отсутствие упоминаний о самом авторе в уцелевших источниках. С большим сожалением мы вынуждены констатировать, что первая половина XXI века слабо освещена в научных работах. Несмотря на тотальную информатизацию, практически не сохранилось документов, способных пролить свет на многие события или хотя бы ответить на вопрос: имели ли они место или же являются плодом авторского воображения.

Однако роман этот по-своему стал знаковым явлением. Сегодня уже невозможно поверить в то, что произведение написано до 2050 года. Всё в книге носит отпечаток предчувствия этого во всех смыслах переломного момента в истории человечества. Самые смелые критики выдвигали теорию, что «Луга, залитые надеждой» стали своего рода топливом, которое дало силу известным событиям, однако тут согласиться никак нельзя. Даже аналогии прослеживаются только тогда, когда мы внимательно прочитываем страницу за страницей, что уж говорить о других, ещё менее заметных сходствах авторского вымысла с реальностью. В данном случае можно говорить скорее о свойственном всем писателям даре предвидения великих потрясений.

Уникальность произведения мы видим в том, что оно пользуется устойчивым спросом на рынке, хотя и удивительно малым. Нам раз в три-четыре года приходится довыпускать четыре тысячи

Антон Пайкес о себе: «Я родился в самом начале 1989 года в Москве, где проживаю по сей день. Я рано начал увлекаться сочинением историй. Иногда в прозе, иногда в стихах. В шесть лет впервые публиковался в неком сборнике детских стихотворений о Пушкине. Это было в меру ужасное стихотворение с отвратительными рифмами «темы-поэмы» и «грустные-русские» (симптоматично, кстати). Поэзия – не моё, чтение с интонацией рифмованных строчек всегда нагоняло на меня тоску, поэтому с возрастом я стал набрасывать эскизы песен, аккомпанируя себе на акустической гитаре. Некоторое время выступал с ними в московских рок-клубах. Писать песни оказалось куда приятнее, чем пытаться творить высокую поэзию. В любом случае, в определённый момент мне удалось как-то обуздать непокорный слог, и я начал собирать воедино все образы, которые крутились у меня в голове многие годы. Так начали рождаться повести. Все прозаические вещи, включая рассказы, коими полнится шкаф, и большие повести, опубликованные или только ждущие публикации, неизменно связаны. Сквозные образы, общая глобальная история, на фоне которой происходят основные события, назойливые второстепенные персонажи, переходящие из одного произведения в другое, всё это мне очень нравится. Первая повесть была издана в журнале Homo Legens. Она называлась «В тумане», была номинирована на Премию Белкина, но, естественно, победить ей не удалось. В этой небольшой вещи впервые появляется описание той механики, которая лежит в основе немного отличного от реальности мира. Всё, что я пишу, базируется на ней. По поводу жанра. Я пишу нечто, похожее на мистику. Не вампирами или проклятиями, конечно, но постоянным отсутствием причинно-следственных связей, туманными кадрами, невозможностью чётко определить момент, когда объективное перестаёт быть таковым. Тут нет авторского веского слова, только личный и пристрастный взгляд героя, которому иногда видятся миражи».

экземпляров (из которых три четверти издаются в архаичном бумажном виде эксклюзивно для сети магазинов «Бумажная книга»), чего вполне хватает для поддержания читательского интереса. Однако эксперимент по выпуску книги «Луга, залитые надеждой» большим тиражом провалился. Интерес упал, и многие книги остались невостребованными.

Данное издание включает в себя ряд важных документов, которым ещё предстоит пролить свет на личность автора, его внутренний мир, события, приведшие к появлению во всех смыслах странной книги, в которой, как в болоте, застревают многие современные читатели. Неспешный ритм повествования, отсутствие каких-либо заметных событий, перегруженность текста метафорами и просто довольно банальными описаниями делают произведение сложным для восприятия. В нём постоянно ощущается стремление заполнить собой всё пространство, погрузить читателя в анабиоз, обрушить на него совершенно новый мир, лишённый привычных ориентиров. Мы снабдили прозаические отрывки, вставленные в дневник и сильно отличающиеся от вышедшего из печати варианта, комментариями и цитатами из критических статей, чтобы вы смогли понять, какие странности отмечали в книге современники.

Записи, представленные в книге, были обнаружены в квартире писателя после того, как в 2051 году он скоропостижно скончался. Надо признаться, что в этих дневниках не хватает многих страниц, которые были уничтожены создателем, утрачены при весьма странных обстоятельствах или испорчены в процессе транспортировки. Кто-то говорит, что всё это было подстроено, однако нам кажется, что в авторский мир просто вторглись объективные обстоятельства, к появлению которых он был не готов.

В записях отсутствует какая бы то ни было последовательность, поэтому нами было принято решение расположить их в наиболее логичном порядке. Совершенно точно можно сказать, что зарисовка «Пустой аквариум» – это первая запись в дневнике. Маленький кусочек текста без названия, публикуемый нами в самом конце, был добавлен автором в последний момент на заднюю обложку одной из тетрадей. В дневниках имеются и наблюдения, и интервью, и даже прозаические отрывки, больше похожие на новые произведения, нежели на дневниковые записи.

Не до конца ясна ситуация и с фигурирующими в записях людьми. Так, о Кансер, «мёртвой девочке», как называет её сам автор, у нас нет никаких сведений. После событий 2050 года были утрачены все данные медицинских учреждений и жилищных контор, так что приходится либо верить автору на слово, либо не верить ему вовсе. Установить, существовала ли девушка на самом деле или же она является альтер эго писателя, не представляется возможным. Упоминаемая им в самом конце открытка также пропала (или не существовала). Другая знакомая автора – Карина М. – наоборот, хорошо известна немногочисленным исследователям литературы XXI века. Будучи женщиной, известной в культурной среде, она имела возможность общаться практически со всеми литераторами своего времени. Последние свои интервью она давала несколько лет назад; отрывки из них, говорящие об авторе «Лугов, залитых надеждой», мы также приводим в этом сборнике. В воспоминаниях автора содержится ряд достаточно нелицеприятных для Карины М. фрагментов, однако они необходимы для того, чтобы хоть как-то понять ту атмосферу, в которой писался самый загадочный роман своего времени. Мы вынуждены извиниться за это перед её наследниками, надеемся, они будут благоразумными. Всё-таки эти слова были написаны, когда Карине М. было всего 25 лет.

Перед тем, как передать слово литератору, нам хотелось бы сказать ещё кое-что. Мы надеемся на то, что вы не воспримете на веру всё здесь изложенное. Процесс написания столь большого и столь сложного романа, скорее всего, сильно подкосил психическое здоровье автора. Хотя он довольно последовательно описывает происходившие с ним события, мы вынуждены признать, что он испытывал некоторые трудности в адекватной оценке реальности, что особенно отчётливо заметно в записях, в которых фигурируют элементы мистики. Скорее всего, именно этим объясняется тот факт, что после первого и единственного прижизненного издания «Лугов» писатель больше не возвращался к творчеству.

Москва, 2013 г.

Пустой аквариум

Серое первое сентября. Окаянные дремотные окраины этого старого города, застывшие, спальные. В такой день не хочется выходить из дома, хочется зарыться в одеяло, забыть отвечать на звонки, проспать завтрак и обед, хочется уткнуться в намокшую подушку и с трудом дышать сквозь неё, как через марлевую повязку. Хочется, наконец, кофе с молоком и корицей, в котором будет лёгкий экзотический привкус шоколада. Поволока осеннего воздуха маленькими иголочками колет кожу. Кажется, кончилось что-то важное, без чего вся дальнейшая жизнь будет неполноценной. В этот день умирает лето. В общем-то, обычное дело, не достойное даже упоминания, но это своего рода барьер. Взять его для меня, как для породистой лошади, дело принципа.

Этот день, первое сентября 2013 года, навсегда отпечатается на подкорке моего мозга. День-когда-всё-пошло-наперекосяк. Выкинуть его из памяти – значит навсегда оторвать от себя здоровенный кусок, а мяса у меня и так немного. К сожалению, те вещи, которые мы сильнее всего жаждем забыть, сопровождают нас до самой смерти, периодически ехидно напоминая о себе.

Утром что-то заставило меня встать, застелить кровать, быстро вымыть голову и надеть новый чёрный свитер, купленный на распродаже в недорогом сетевом магазине. Ощущая кожей ледяные капли, проклиная всё на свете и эту неожиданную осень, шёл как всегда без зонта и думал о том, как хорошо, наверное, иметь столько денег, чтобы ежегодно улетать в экзотические страны, чтобы не тонуть в зябкой луже тоски, а наслаждаться сладким дайкири на средиземноморском побережье. В сумке постепенно промокали несколько исписанных мелким почерком тетрадок с бездарными рассказами. Ну и пусть. Всё равно их ждёт мусорное ведро.

Потом был час дороги. Целый час, потраченный на лицезрение заспанных лиц, лишённых какого-либо выражения. Лучшее, что есть в нашей жизни, – тепло, солнечный свет, бездумное веселье, всё это осталось во вчера. Сегодня уже другое время года. Лица у моих попутчиков осунулись, горожане выбиты из колеи, раздавлены катком сентября и нескоро оклемаются. А мне интересно смотреть на то, как они пытаются справиться с нахлынувшей на них пустотой. Я вдруг с огромным удивлением понимаю, что до шести лет вообще не замечал смены времён года. Просто не было точки отсчёта. Когда заканчивается одно время года и начинается другое? Только лишь когда отрывается потрёпанный лист календаря? Это было бы слишком просто даже для этого совсем несложного мира.

В одиннадцать часов и три минуты поезд остановился на конечной. Дальше начинался другой мир, который суждено видеть не всем, место, где ночуют электрички и где никогда не побывает простой смертный вроде меня.

С одной окраины на другую – странное путешествие в никуда. Выйдя на улицу, я понял, что в общем-то ничего и не изменилось. Такие же дома, пустынные улочки, моросящий дождь и рябые лужи на неровном асфальте. Всё так, как и должно быть. Но откуда же это ощущение тревоги? Что-то занудно ныло в груди, металось, поднимало дыбом волосы и сползало по спине капелькой пота. Что-то холодное уткнулось в лопатку и ворошило воспоминания. Что-то несуществующее смотрело на меня из подворотен, не показываясь. Осень – страшный прокажённый, требующий от проходящих милостыню на перекрёстке. До поры до времени его лицо спрятано под капюшоном.

Наверное, поэтому осенью я так не люблю выходить на улицу. Нет, у меня нет и никогда не было агорафобии, я не испытываю страха перед людьми, просто на улице мне тоскливо. Вокруг все слишком уж чужие, а я не могу делить время с персонажами, выдуманными не мной. Мне бы закрыться в своей комнатке, сесть за компьютер и пытаться превратить слова, что вертятся на языке, в идеальный текст. К сожалению, а может, и к счастью, идеальный текст просто не

существует. В погоне за ним я потратил уйму времени, но результат не оправдал ожиданий. Поэтому иногда приходится выбираться во внешний мир и наблюдать, гулять, ездить по каким-то неважным делам, которыми полна жизнь никому не известного писателя. Дела бывают самыми разными, но они одинаково скучны и бесполезны.

Чаще всего меня зовут куда-нибудь мои названные друзья – такие же бумагомаратели, как я. У кого-то из них высокое самомнение, кто-то пишет просто потому, что не может не писать, но их объединяет одно – они опубликовали пару произведений и возомнили себя писателями. Кто-то грезит гонорарами и премиями, кто-то избегает любых разговоров о литературе, но в конечном счёте все мы одной крови.

Эту поездку я предпринял благодаря нескольким моим шапочным знакомым. Существует такая квартира, говорили они, которую тебе обязательно надо посетить, если ты хочешь писать по-настоящему. Иначе будешь как собака, которая ни разу в жизни не пыталась укусить себя за хвост. Такое животное – нечто сверхъестественное. Что это за место, они не уточнили, но это было и не нужно. Мне всё равно куда ехать, я опять в кризисе, и мне вообще ничего не хочется. Если им так надо меня куда-то затащить, что ж, пожалуйста. Я-то прекрасно знал, что если бы посещение этой квартиры могло помочь, они давно получили бы несколько премий и жили бы припеваючи в компании с десятком фантастов и авторов современных детективов.

Ни на что не надеясь и ни к чему не стремясь, я в самый первый день осени добрался на метро до противоположного конца столицы. Эти районы я знал наизусть, хотя никогда здесь не был. Они просто одинаковые, и тот, в котором я живу, отличается от других лишь этим незначительным фактом. Ничего оригинального. Правда, оригинальность вообще не свойственна человеку, она пугает его и отталкивает.

Пунктом назначения оказался высокий, достаточно новый, но уже побитый осадками многоэтажный дом. Мне не сообщили, в какую квартиру надо позвонить, но домофон всё равно не работал. Лифт тоже был на последнем издыхании – поднимая меня на двенадцатый этаж, он иногда протяжно ревел, как выкинутое на берег морское чудовище. Где-то над моей головой огромный механизм с трудом ворочал шестернями. На лестничной клетке было темно, но вдали, как надежда, горел свет в коридоре. Я прошёл, спотыкаясь, ближе к этому мерцающему проводнику, и вдруг передо мной выросла женщина, не умеющая улыбаться. Я сразу понял это, хватило лишь одного беглого взгляда. Даже морщин возле рта у неё не было, хотя возраст её явно требовал их наличия. Видимо, эмоции она выказывала как-то иначе, но только не мимикой.

– Добрый день, – сказала она и выжидательно посмотрела на меня. Я представился.

– Ах, вот и вы. Мы вас заждались. Проходите, пожалуйста, только снимите обувь. Тапок, к сожалению, уже не осталось, извините.

– Ничего, – ответил я, – я и дома хожу в носках.

Это, конечно, была чистой воды ложь. Наскоро развязав шнурки, я скинул обувь и проследовал за хозяйкой квартиры в гостиную. То, что предстало моим глазам, описать просто невозможно. А значит, надо постараться. У меня уже давно появилась привычка в любой ситуации пытаться всё описать куском прозаического текста без начала и конца. Так проще думается. Итак, комнату размером метров пятьдесят наполовину занимал огромный аквариум. Настолько же огромный, насколько и пустой. Кроме прозрачной воды, в его чреве не было ничего. Я, кажется, дольше, чем позволяли правила приличия, смотрел на него, раскрыв рот, и собравшиеся, а их было немало, перестали беседовать. Кто-то помахал мне рукой, видимо, один из тех моих знакомых, что пригласили меня сюда. В общем и целом это была просто квартира, только очень большая и странно обставленная. Вся разношёрстная компания восседала за прямоугольным столом, я наблюдал некоторое движение. Так бывает в любом обществе, где малознакомые люди разбиваются на небольшие компании, объединённые чаще всего по признаку – кто с кем сидит. Я приметил один свободный стул и присел на краешек, не совсем уверенный в том, стоит ли оставаться. Мне было совершенно непонятно, зачем я здесь и почему должен сидеть за чужим столом.

А потом я почувствовал на себе её взгляд. Словно что-то чужеродное вторглось в мою осень, разметав во все стороны аккуратно сложенные в кучки осколки сочных летних крон. Возникло странное ощущение, что на меня смотрит старый дом с выбитыми окнами, приготовленный под снос, но ещё живущий за счёт витающих в нём человеческих душ. Многоголосье их жалостливых стонов ворвалось в моё сознание, я хотел схватиться за голову и кричать, кричать, кричать, пока не лишусь голоса, но было слишком поздно: её взгляд завладел мною, и я окаменел. Я чувствовал, как острые лезвия слегка надавливают на виски, и под их напором лопается моя несчастная тонкая кожа. Помню только отчаяние. Пока она ковырялась в моих мозгах, забитое в самый угол черепной коробки сознание отчаянно плакало и звало на помощь, напуганное, как маленький ребёнок, оставшийся дома один. Никто не пришёл на зов.

Что самое страшное на свете, спросит меня когда-нибудь человек в чёрном с дурацкой чёрной бабочкой на шее, и я скажу – её глаза. Безжизненные, чёрные и глубокие, как ночной колодец, в котором отражается Большая Медведица. Окаймлённые кровью, как дыра в груди, через которую вырывается на волю ещё тёплая жизнь.

Заторможенная, она медленно провела рукой по кромке бокала, но выражение её лица не изменилось ни на йоту. Даже не могу сказать, лицо ли это было – так человек выглядит, когда смотрится в зеркало в сумраке. Слабый свет стирает глаза, и на их месте зияют два сквозных отверстия. Бойся ночных зеркал, если ты умеешь бояться. Бойся и всегда обходи их стороной. Чьё-то страшное отражение залетело в эту комнату и смотрело на меня, снимая с моего несчастного тела слой за слоем в желании добраться до самой сути.

Да, мне хотелось кричать. Вместо этого я поднял вилку и попытался взять кусочек нарезки, но от страха никак не мог в него попасть. Девушка осталась безучастной к этой напасти. Я заметил в бреду, что её глаза немного разной формы, в этом не было уродства, просто лишний штрих к картине художника-шизофреника. Пугающие разные глаза с чёрно-красными потёками. Короткие вороные волосы, сложившиеся в неправильное каре. Тонкое тельце, запечатанное в чёрную кофточку с широким воротом.

– Ешьте, – вдруг произнесла она бесцветным голосом под стать глазам. – Это вкусно.

Край её губ чуть дрогнул, что должно было выражать добродушную улыбку, но выразить не смогло. Я сглотнул дурную слюну и едва кивнул, но даже это незаметное действие чуть не убило меня. Под её пытливым взглядом я медленно взял кусочек нарезки и переложил к себе на тарелку. Рука не слушалась. Не хотела поднимать кусочек и всё-таки сунуть его в рот.

– Чем вы занимаетесь? – спросила она, растягивая слова, словно пробуя на вкус каждый звук и находя его ещё недоваренным.

– Я писатель, – ответил я. И осёкся, так как вокруг собрались такие же бездарные и несмышлёные писаки, самостоятельно водрузившие на себя столь высокое звание. Я почти наяву видел, как они, пользуясь тем, что я попал в её сети и не могу повернуть голову, ухмыляются и подмигивают друг другу.

– Что вы пишете?

– Не знаю. До сих пор хочу написать роман. Самый главный в жизни.

– У вас уже есть идеи?

– Нет, увы. Четыре года коту под хвост.

Она вдруг отвернулась и посмотрела, как в далёком окне едва выглянувшее солнце снова заходит за тучи. С меня словно спали оковы, а с шеи сорвали аркан.

Бежать отсюда. Бежать к чёртовой матери к своему компьютеру, кофе с корицей, не видеть, не видеть больше этих глаз! Ещё один её взгляд, и у меня остановится сердце. Но я остался.

Даже не знаю, почему я не сорвался с места и не выбежал через раскрытую дверь. Наверное, не хватило силы воли. Но на минуту мне показалось, что она как-то может мне помочь, что её бесцветные глаза мне нужны больше, чем весь окружающий мир. И словно прочитав мои мысли, она неожиданно развернулась ко мне и спросила, пронзая меня насквозь:

– Хотите посмотреть, как я танцую?

Я нервно кивнул, ещё не представляя, что танец – совсем неподходящее слово для того, что я увижу и что навсегда изменит мою никчёмную жизнь.

Роман

Не знаю, как в вашем, а в моём поколении встречаются очень странные люди. Книжные дети – помните такое определение? В любом классе, в любой группе имеется такой загадочный молодой человек, который ни с кем не общается, практически не подаёт голоса, а когда сталкивается с кем-нибудь в коридоре, смотрит на него огромными непонимающими глазами. Он вроде здесь, но его сознание далеко. Иногда он даже не слышит, когда к нему обращаются по имени. Так вот, к таким людям отношусь и я. С детства, листая толстые тома, я мечтал не о том, чтобы занять место любимого героя, спасать прекрасных дам, скакать на лошадях или рассекать небосвод на фантастическом воздушном шаре. Я мечтал собирать слова в строки, а строки – в тома. Длинными и заковыристыми предложениями я описывал всё, что видел вокруг. Получались тонны скучной и никому не нужной макулатуры, но никто бы не смог меня остановить. И таких детей, как я, было много. Наверное, если бы мы смогли объединиться, клуб книжных червей захватил бы мир, вот только наша нелюдимость и отчуждённость не давали составить такой кружок. Вместо этого мы всё больше отдалялись ото всех, в том числе и друг от друга.

Многие годы потребовались мне для того, чтобы понять и принять сам факт существования подобных людей. Так сказать, выделить нас в отдельный подвид. Нет, это вовсе не те романтики-одиночки, которыми восторгались классики, не деклассированные элементы со свойственной им самоубийственной спесью и гордыней, пополам с маниакальной склонностью к самопожертвованию. Это я и такие, как я. Маленькие, незаметные люди, со своими мечтами, планами, не интересными никому, кроме них самих. Мы запирались в своих комнатах и писали, рисовали, перебирали податливые клавиши фортепьяно, чтобы однажды выйти из заточения и узнать, что мир не ждал результатов наших трудов, а спокойно шёл себе вперёд, забыв о нашем существовании. Более того, не умея общаться с реальными людьми (homo sapiens, если вы забыли), мы не могли вернуться в него, потому что упустили какой-то важный момент, некий отличительный знак, по которому общество, как стая, определяет своих и чужих.

Лет в двадцать я начал сочинять роман. Это так называлось, хотя на самом деле я просто записывал всё, что приходило мне в голову, изящно трактуя получившуюся белиберду в духе высоких идеалов и своевременных открытий. Мне хотелось написать что-то, что навсегда приковало бы к нам внимание. Можете смеяться, но цель действительно была благородной – я хотел говорить за всех тех, кто творит за закрытой дверью, у кого нет времени самостоятельно защищать свою честь и достоинство перед лицом убивающей любые порывы скуки. Ницше был прав. Я закрываю глаза и вижу, как её чёрные легионы вырывают из божественных рук знамёна, ломают древки и бросают к ногам, марают полотнища своими грязными башмаками и уходят смеясь. Роман должен был стать манифестом художников, которым есть что сказать во всеуслышание! Танцующим на крышах есть что показать на площадях. Но слова ложились на лист как-то неровно, ни одной мысли, которую я хотел бы вложить в головы читателей, я не смог сформулировать. Получалась глупость, недостойная прочтения, которая моментально летела в мусорное ведро. Так я стал тем, кем являюсь сейчас.

Давайте познакомимся. Меня зовут... Впрочем, не важно. Моё имя не скажет вам ровным счётом ничего, если только вы не заведующий какой-нибудь мелкой библиотекой в отдалённом от цивилизации населённом пункте. Этим беднягам всегда приходится читать всякую белиберду, потому что хорошие дорогие тома туда попросту не поступают.

Я считаю себя писателем. Это, конечно, слишком самонадеянно для того, кто сумел издать одну книжку рассказов в мягком переплёте и одну повесть в скучном толстом журнале. Это издание давно стало прибежищем маргиналов, бегущих от всего мира, и, скорее всего, читали мою бедную повесть два-три десятка человек, и то постоянно косясь на куда более интересные книжки в ярких привлекательных обложках. Я думал, что моё время просто ещё не пришло, но на самом деле его вообще не существует. Времени нет, а люди есть. Мы есть, понимаете?

Когда в двадцать я понял, что моё дело – литература, я снял себе маленькую комнатку на окраине, купил достаточно мощный компьютер и заперся на несколько месяцев, не желая никого видеть. Я набивал много тысяч знаков в сутки, надеясь, что хотя бы часть из них оправдает все затраты. Но нет, этого не происходило. Роман не рождался. Не было сюжета, не было стыкующих элементов, только разрозненные наброски каких-то сцен и диалогов непонятно кого непонятно с кем. Что было делать? Надо подучиться, решил я и занялся мелкими рассказами. Взял несколько старых набросков, достаточно небрежно их переработал, получившуюся мешанину, сдобренную порцией цитат и эпиграфов, собрал в единый томик и отнёс издателям. Несколько месяцев не было вестей. Есть что-то надо было, а потому я занялся всякими мелкими и не слишком сложными делами, чтобы только хватало на еду и минимальные удобства. Просить деньги у родителей было уже стыдно. Потом издали сборник. Каково же было моё разочарование, когда я не смог найти его ни в одном книжном магазине! Книжка распространялась только по каталогам и продавалась в нескольких магазинах страны с каких-то запылённых задних полок. Не знаю, сколько чудаков её приобрело, но уж точно не больше, чем у меня знакомых. Проще было раздать распечатку людям, которые хоть что-то поняли бы. Гонорара хватило на джинсы и пару маек.

По городу я передвигался на своих двоих – денег на машину, конечно же, не было. Ничего, в метро нет пробок. Каждое утро я надевал кеды, старые джинсы и курточку и отправлялся на прогулку. Знали бы вы, сколько раз я перечитывал всякие советы для начинающих писателей. Многие приписывались великим, другие были созданы умелыми копирайтерами, у которых были чувство юмора и находчивость, однако отсутствовала одна важная деталь – желание создать нечто, чем можно было бы гордиться. Советы ничего не стоили. Гуляйте в парке, дышите свежим воздухом, наблюдайте за природой. Нет, я не в санатории, дорогие мои, я пытаюсь вместить в себя целый мир, но, кажется, моего объёма чуть-чуть недостаёт. Как я мог говорить практически за целое поколение, если даже два слова, помещённые в одну строку, сразу начинали у меня спорить друг с другом за право первенства? Как только они успокаивались, я добавлял в предложение ещё одно слово, и вся конструкция разваливалась.

Пять долгих лет я воевал с собой и со своим непослушным пером. Скопище мелких рассказов затмевало главное, за их оравой не было видно единственной идеи, которую я хотел донести до читателей. В очередной раз выходя из дома, чтобы встретиться с ещё одним заказчиком ещё одного слогана или текста для маленькой брошюрки, я проклинал потерянное время, которое никак не вернуть. Между тем я старел, старел быстро, в двадцать пять лет я имел характер пожилого неудачника, ничем не примечательное тело, не знающее, что такое спорт, кучу вредных привычек и небольшой вагон всяческих фобий и страхов.

Но что такое все прочие страхи, когда на тебя и только на тебя смотрит чужеродное естество? Её танец не похож ни на что. Она сбрасывает одежду, и я вижу тело, на котором нет свободного от шрамов и синяков места. Тоненькие руки и ноги с набухшими венами медленно поднимают свою хозяйку и перебрасывают через край аквариума с толстенными стенками. Она неуклюже падает, поднимая фонтан брызг, но поверхность быстро разглаживается. Несколько секунд девочка барахтается в воде, а потом опускается на дно и, не добравшись до него совсем чуть-чуть, зависает. Ещё секунду она медлит, а потом поворачивается ко мне, резко, как выпущенная из ствола пуля, которая моментально достигает сердца. И сердце сжимается. Меня охватывает паника, только самый краешек сознания, ещё способный логически мыслить, вдруг начинает кричать, как разбуженная сигнализация, о том, что я уже не вырвусь, я прикован. Я в западне, её взгляд может есть

людей, и я не замечаю, надкушенный, что все собравшиеся за столом вдруг выходят, нервно крутя в руках сигареты или мобильные телефоны.

Сказка о мёртвой девочке *(запись в дневнике, сентябрь 2013 года)*

Итак, в одном очень далеком царстве жила-была девочка, у которой вместо легких была совсем не сказочная кровавая каша. По правде говоря, девочка уже пару лет была мертва, но упорно продолжала вставать по утрам, есть специальную диетическую пищу, что-то читать и смотреть. Ее тело было многократно резано и шито, а врачи так и не смогли ответить на два простых вопроса: что с ней и как это она до сих пор умудряется дышать. Когда доктора поняли, что проблема нетипична настолько, что они вообще ничего не понимают, девочку отправили в научный институт, где в нее понапихали трубок, пытаясь сделать так, чтобы организм работал набекрень. Но она всем назло продолжала жить. Вставала рано, захлебываясь кашлем, и чаще всего день ее начинался в ванной, где ее рвало двадцать минут без остановки. Любые нагрузки вызывали именно такую реакцию. Ее исхудавшее тельце не могло выдержать даже спуска по лестнице, поэтому она постоянно сидела в четырех стенах. После того как от нее уходили гости, она вставала у окна и смотрела, как они медленно скрываются из виду, растворяясь в дымке между домами.

У мертвой девочки нещадно кровило все, что могло кровить. Все, что не могло, кровило реже. Она никогда не пользовалась косметикой, потому что запекшаяся кровь уже нарисовала ей резкие египетские стрелки в уголках глаз и сделала ее ресницы толстыми и длинными, как в рекламе. Ее растрескавшиеся губы приобрели необычную бледность, словно она неделю ела белый шоколад и ни разу не умылась. А еще ни одна царапина на ее теле не заживала. Девочка часто лишалась сознания, так что царапин, ушибов и прочих травм хватало. Разбитая бровь не зарастала несколько месяцев, а только слегка покрывалась коркой, которую девочка периодически сдирала. Слабость не давала девочке шанса хоть раз выпрямиться во весь рост. Она чаще всего ходила немного горбясь, найдя такое положение тела, в котором ей было настолько комфортно, насколько вообще позволяло ее состояние. Распрямлялась она только в воде, и в этот момент из пугающей девочки вылезало наружу чудовище, наделенное немыслимой силой и какой-то потусторонней фатальной красотой.

У человека, который так долго находится на тонкой грани между существованием и несуществованием, появляются уникальные привычки. Девочка говорит медленно, так как слышать собственный голос ей очень непривычно. Другие этого не замечают, но когда на губах постоянно оседает вкус твоей собственной крови, научишься прислушиваться к любому звуку, хрусту суставов или хрипу в груди. Более того, слышать свой голос – значит получить еще одно подтверждение того, что ты все еще жив. А девочка в этом уже давно сомневается.

В ее квартиру постоянно приходят чужие люди. Поглазеть на диковинку собираются писатели, поэты, художники, потерявшие или никогда не имевшие вдохновения. Они наивно надеются на то, что ее мертвые глаза разбудят в них нечто, но посещение этой грустной обители даёт им только возможность проверить, насколько они трусливы. Обычно сдаются все. Приходят снова, смотрят в пол, стараются не встречаться с девочкой взглядом, ведут себя шумно, веселятся напоказ и исподтишка поглядывают, как ее глаза препарируют очередного бедолагу. Когда она показывает несчастному свой коронный танец в воде, все, уже прошедшие это испытание, стремятся под любым предлогом выйти из комнаты. В этот момент курят даже те, кто никогда не курил. Воспоминания о танце-парении нельзя удалить. Это остается в тебе навсегда. Ты просыпаешься ночью от того, что ее глаза все еще буравят тебя, и не можешь уснуть, понимая свою беспомощность перед ними.

Откуда взялись эти замысловатые плавные движения, которые она сама называет танцем? Его история покрыта тайной, однако мать девочки рассказывает о детских увлечениях дочери:

когда еще не было этой страшной мешанины в ее груди, а глаза не кровоточили, девочка влюбилась в танцы. Она старательно разучивала движения, копировала манеру знаменитых танцовщиц, собирала видеозаписи и постоянно просматривала их в надежде найти секрет идеального танца. Но была одна особенность, которая помешала ей стать профессионалом. Чтобы танцевать, она должна была на кого-то смотреть. Ее взгляд тогда не имел такой силы, как сейчас, люди недоумевали, почему малышка так долго смотрит им в глаза. А она уже тогда пыталась ПОНЯТЬ людей, читала их, незаметно переворачивая страницы. С тех пор прошло много лет, но в водном танце, единственном танце, который она может себе позволить, все так же много глубокого чтения и в разы больше ужаса. Сегодня зрители почти физически чувствуют, как сверхострый скальпель снимает с них кожу слой за слоем. Потеки крови только усиливают эффект.

Больше всего, конечно, досталось матери. Она не может уйти, а потому смотрит каждое выступление своей монструозной дочери. Всё больше и больше погружаясь в этот мрак и ужас, она навсегда лишилась сна и того, что у людей принято называть эмоциями. От матери осталась только бледная тень, и, как я ни старался, мне так и не удалось понять, хочет ли она чего-то, стремится ли к чему-то или просто существует, обслуживая и всячески ухаживая за своим обречённым ребёнком.

Увидев её танец впервые, я вышел на улицу и купил свою первую пачку сигарет.

Два дня рождения *(октябрь, 2013)*

Одна моя подруга празднует два дня рождения. Я как-то дал ей списать домашнее задание по литературе, и она назначила меня своим другом в брюках. Это вовсе не boyfriend, это именно друг, которого используют либо как жилетку, либо как автомат по подъёму настроения. Она была и остаётся восхитительным экземпляром человека, которому всегда нужен некто, кто будет постоянно поощрять его страстное желание быть не таким, как все. Свою исключительность восточная красавица Карина подчёркивала всеми доступными способами. Писала стихи на грани фола, целенаправленно посвящала меня в те вещи, в которые обычно не посвящают молодых людей, до двух часов ночи рассуждала о том, чего не знала и не понимала. Я же знал о ней всё, вплоть до того, когда у неё начинаются месячные.

Нельзя сказать, что она ничего не давала мне взамен. Как любая женщина, она понимала, что такого незаменимого слушателя надо иногда одаривать некими подачками. Она ненароком брала меня за руку или приглашала на танец на вечеринке, чтобы дать возможность приблизиться к ней, вдохнуть запах волос и провести рукой по ложбинке между ключицами. После танца она обычно уходила в бар за коктейлем, неожиданно возвращалась с каким-нибудь молодым человеком и просила идти домой, если мне хочется. Я покорно заворачивался в шарф и ехал к себе, сдаваться родителям, которые уже битых два часа названивали мне на выключенный мобильник.

В целом наши отношения были вполне органичными. Я мог рассказывать ей обо всём, так как знал, что она меня не слушает. Это очень полезно: когда говоришь, начинаешь лучше соображать.

Когда у неё ещё не было такого полезного друга, она пыталась справляться с проблемами сама. В результате однажды, искренне поверив в собственную непохожесть, она залезла в ванную и решила вскрыть себе вены. Аккуратно, чтобы остался красивый шрам. Дверь она, естественно, не закрывала, так как вполне осознанно желала, чтобы её спасли. Что ж, всё закончилось хорошо, прямо по её плану. Мир понял, насколько он был несправедлив к этому ангельскому созданию, а Карина получила отличную возможность разыгрывать козырную карту своей исключительности. Эта игра ей никогда не надоедала.

Многие мои записи того времени были связаны с ней и её рассказами. До сих пор не могу сказать точно, купился ли я на её удочку или мне просто хотелось когда-нибудь утешить её всем нам известным способом, однако в моих дневниках часто встречались рассказы об особенных лю-

дях, которых не понимает мир. Мир тогда казался противником, с которым надо сражаться. Уже много позже меня осенило: да ему просто наплевать! Мы тужимся, пытаясь крикнуть ему в лицо очередную банальность, а он нас вообще не замечает. Разве вы заметите, если одна клетка вашего тела начнёт бунтовать? Да их в заусенце, который вы отрываете, нервничая, сотни тысяч. Вот когда бунтуют многие миллионы клеток, это уже существенно, а до того – случайный чих, не больше.

По четвергам я обычно хожу в одно небольшое заведеньице в Медведково. Однажды я привёл сюда Карину, но ей поход не понравился совершенно. Здесь слишком мало жизни, констатировала она. Что ж, и то правда. Не могу даже сказать, что мне нравится местная кухня. Просто атмосфера кафе располагает к одинокому времяпрепровождению, а моя подруга не могла этого понять. Не поняла и сейчас, хотя прошло уже очень много лет. Маленькие столики кафе не рассчитаны на нескольких человек, и хотя страдающие от отсутствия свободной жилплощади парочки здесь завсегдатаи, они с трудом ютятся за ними, постоянно рискуя смахнуть что-нибудь в порыве страсти. Неподалёку удачно расположился самый крупный кинотеатр района, так что заведение не бедствует. Подают пиццу, разные псевдоитальянские макароны, вкусный кофе с двумя порциями сливок и совсем неплохие эклеры. Самой удивительной деталью интерьера является большая рыба с длинным вздёрнутым носом, которая висит прямо над входом. То, что больше в кафе нет ни одного украшения, лишь подчёркивает её уникальность. И одиночество.

Мне порой кажется, что так же я подвесил над дверью свою душу, запершись в квартире и перестав хоть иногда выходить в свет. Роман требовал полной самоотдачи, но до недавнего времени я не написал ничего стоящего. Жертвы оказались неоправданными. Однако именно в этом безликом кафе с рыбой во главе я впервые почувствовал, что неудачи с книгой происходят лишь потому, что я пытался смотреть на проблему не под тем углом. Оценивая свой труд прямо в процессе написания, я автоматически включал внутреннего цензора, который сразу же рвал всё в клочья.

– Добрый вечер, – приветливо улыбается мне официантка. Судя по надписи на бейдже, её зовут Яна. На вид лет двадцать, милая девочка в белом фартуке. Небольшого роста, тоненькая. – Вы готовы сделать заказ?

– Конечно. Ничего, если я посижу у вас подольше? Надо кое-что написать.

Она молча и приветливо кивает.

– Для долгого сидения у нас есть отличный коктейль. Трансатлант. Названьице, конечно, то ещё, но вещь отличная. Сама пробовала. Very long drink, я бы сказала.

– Звучит заманчиво, – мне понравилось, как она произнесла эту фразу. – Несите. И принесите, пожалуйста, «Цезарь».

Официантка удаляется, а я ещё некоторое время смотрю ей вслед, думая о том, как же эти девочки умеют красиво передвигаться по залу. Они словно чувствуют себя блюдом дня.

Я открыл блокнот и записал: блюдо дня. На этом всё закончилось, продолжить не было совершенно никакой возможности. Но начало, что ни говори, было положено. Когда Яна вернулась, неся в руке огромный стакан, я как раз докуривал вторую сигарету и смотрел, как осенний ветер за окном срывает с людей шапки. Забавное зрелище, когда ты внутри.

– Я вас предупреждала. Very long drink.

– Ну что ж, значит, я просижу у вас долго.

– Конечно, а как иначе? Куда вам торопиться? – Она улыбается и поправляет короткие непослушные волосы. Я задумался. Отчасти над её словами, отчасти совсем над другими вопросами. Яна меняет пепельницу и снова удаляется. Куда мне торопиться? О, если бы она знала, как мне хочется закончить то, что я ещё и не начал. Как хочется избавиться от этой ноши раз и навсегда. Я отхлебнул коктейля, он был на удивление крепким, что с таким-то объёмом навело меня на мысли о том, чтобы как следует напиться.

Потом мой мобильный издал противный писк, и я поднял трубку.

– Что делаешь? – совершенно бесцветно задал мне вопрос голос мёртвой девочки.

– Хм, – ответил я. – Пялюсь на задницу официантки в кафе, если честно.

– И, естественно, ничего не пишешь, – моментально отреагировала моя далёкая собеседница. Не совсем понятно было, вопрос ли это или же утверждение. Я поделился с нею фразой, которая была выведена в моём блокнотике. Она некоторое время молчала.

– Фиговое начало, – наконец отозвалась она, и я почти воочию увидел, как она сидит на одиноком стуле посреди комнаты и протяжно смотрит в окно, прижимая к уху телефонную трубку. Её убийственные глаза не находят собеседника, и это меня немного успокаивает. Я в безопасности. Хотя бы здесь и хотя бы сейчас я защищён от неё. – Но и так сойдёт. Блюдо дня. Что это?

– Не знаю. Может, рыба? Сегодня рыбный день.

– Рыбный? Странно. У меня каша. Хотя у меня всегда каша.

Она помолчала, и я впервые подумал, что ей, должно быть, ужасно скучно сидеть там одной. Блевать по утрам, умываться, встречать гостей и копаться в их мозгах. Наверное, нейрохирурги здорово устают на работе. Интересно, как они от неё отдыхают?

– Эй, ты о чём это там задумался? – поинтересовалась моя собеседница. – Опять на задницу пялишься? Оторвись хоть на пять минут.

– Нет, я думал о том, как тебе, наверное, скучно.

– Спасибо за заботу. Да, весёлым этот дом не назовёшь. Кстати, если главное блюдо заведения – рыба, научись понимать рыб. Так сказать, проследи весь их путь от икры до твоей тарелки.

– Зачем? – удивился я, но ответили мне только короткие гудки. Я выключил телефон и озадаченно посмотрел на чучело огромной носатой рыбины над входом. Ты поняла что-нибудь, поинтересовался я у рыбы. Да, ответила она. Твой «Цезарь» уже готов.

Глупая рыба, решил я и зачеркнул фразу в блокноте. Я снова был на старте, и снова человек, который должен стрелять из пистолета, куда-то запропастился. В мозгах начался сумбур. О чём я думал с самого начала? О Карине. О романе. О времени. Я попытался поймать убегающую ниточку мысли.

Интервью *(запись в дневнике, сентябрь 2013 года)*

Она только что из ванной. Выглядит уверенно, утреннее недомогание удалось преодолеть. На всякий случай я надел ей повязку на глаза, потому что иначе интервью может и не состояться. Глаза сегодня кровят очень сильно, сказывается плохой сон, так что зрелище это не для слабонервных. С холодными рефлексами патологоанатома фиксирую дрожь у себя в ногах.

– Привет. Начнём? Как мне тебя называть?

– Привет. Называй меня Кансер, если тебе не сложно. Мы же беседуем под запись.

– Почему именно так?

– Мне нравится слово.

– Хорошо, Кансер. Как ты спала сегодня?

– Очень плохо. Мне снились сны, и как только один из них заканчивался, я просыпалась. Раз за разом.

– Что тебе снилось, Кансер, расскажи?

– Мне снился маленький домик у реки. В таких обычно держат лодки и всякие приспособления для их починки. Домик пах старостью, но казался вполне крепеньким. Вокруг были травы, огромный утренний луг. Я шла по нему босиком. Ноги намокли. Потом я услышала реку, она текла неторопливо в направлении нашего мира.

– Нашего?

– Ну да. Нормального живого мира. В общем, я подошла к самому берегу и увидела мостик, на котором сидел горбун. Он смотрел в своё отражение и водил по поверхности ивовой веточкой. Это был тот самый горбун.

– Тот самый?

– Да. Не знаешь? Наверное, тебе ещё рано знать такие вещи. Не расстраивайся. В общем, это один очень важный горбун. Для всех нас.

– Он сказал тебе что-нибудь?

– Секунду, попробую вспомнить. Да.... Сначала он молчал. Я это точно помню, потому что мне стало казаться, что он меня вообще не заметил. Вот умора, а? Но потом он пробормотал, что у каждого есть свой горб.

– Как это?

– Боюсь, я не смогу тебе объяснить. Правда, мне очень жаль, но это не в моих силах. Чтобы это понять, тебе нужно дописать роман.

– Жаль.

– Мне тоже. Я сама понимаю это чисто интуитивно, а вот слов подобрать не могу. Я же не писатель (кажется, она пытается улыбнуться). Горбун помолчал ещё, и только когда я развернулась, чтобы уйти, он вдруг крикнул мне в спину, что мы ещё встретимся когда-нибудь.

– Скажи, а он, случаем, не смерть?

– Ну что ты, глупенький, какая же он смерть? Он просто сидит на берегу и смотрит в воду.

– Но зачем?!

– Говорю же, ты не поймёшь. Вот в твоей жизни постоянно всё меняется, верно?

– Реже, чем хотелось бы.

– В любом случае. В его жизни не меняется ничего. Река течёт, травы что-то тихо шепчут, поскрипывает старый домик. Это всё. Там больше ничего нет.

– Но это же ужасно!

– Вовсе нет. Кто-то же должен там быть. Это, как бы так лучше сказать, его пост. Бросать пост нельзя. Понял?

– Нет.

– Ещё поймёшь. Просто продолжай делать то, что должен, и со временем всё тебе станет понятно. В мире ещё так много дивных и удивительных мест, которые нам не обойти вовек. Многие закрыты для всех, кроме избранных, есть и такие, которые закрыты вовсе. Но бесчисленное множество интересных вещей прячется совсем рядом. Научись их видеть, и твой роман пойдёт как по маслу (тут она закашлялась, и пришлось прерваться).

– Расскажи о своём танце.

– Это, знаешь ли, совсем непросто. Лучше показать.

– Не стоит! Я уже видел.

– Ну да. Там, во сне, я танцевала на лугу, и взмокшие от росы травы щекотали мне ноги. Жаль, что я не могу повторить этого в жизни.

– Кансер! Не надо!

– Извини. В общем, танец – это то, чем я живу. Я начинаю двигаться, смотря на человека, вслушиваясь в ритм его пульса. Мне всегда казалось, что это и есть единственный верный ритм для каждого из вас. Я определяю его и использую в танце. Это несложно.

– Неужели в этом весь секрет?

– Конечно, нет, дурачок, просто это то, что я могу объяснить словами. Хочешь, я попробую немного перефразировать, хотя, вообще-то, играть словами – твоя работа. Но ты ленишься. Сначала я человека проверяю. Как тебя. Просто смотрю в него. Чаще всего передо мной сидят скучные посредственности. Они не выдерживают даже знакомства, они настолько пугаются ключа, вставленного в замок, что сразу открывают дверь нараспашку. Я захожу и убеждаюсь, что ничего ценного там нет.

– А со мной как было?

– Ты только не обижайся, но поначалу так же. Я смотрела и пыталась понять, как к тебе подступиться. Это как колоть орехи – они все разной формы, нужно время, чтобы правильно расколоть скорлупу, не повредив внутренности. И тогда я просто постучала в дверь, а ты открыл. Потом

ты, конечно, пытался выставить меня, но я уже была внутри, а выгнать вошедшего гостя невозможно. Внутри у тебя обстановочка так себе, куча хлама, полезного минимум. Но, уже танцуя, я поняла, что осталось нечто такое, что я не смогла найти и понять. Вот бы посмотреть ещё раз.

– Ну уж нет! Мне и одного раза хватило!

– Жаль. В любом случае, ты не совсем такой, как остальные. Есть нечто, что тебя выделяет, но что это, я не могу сказать. Может, это что-то неважное, пустой закрытый сейф, но любая преграда на моём пути – уже нечто из ряда вон. Тем более, остальные убегают, отворачиваются, а ты здесь, расспрашиваешь меня обо всём. Это необычно.

– Однако ты в повязке.

– Вряд ли есть люди, способные пережить вскрытие и не испугаться. Вопрос лишь в том, сможешь ли ты заинтересоваться пугающим тебя или просто сбежишь, бросив попытки прыгнуть выше головы. Ты не сбежал.

– Хорошо. Так что ты увидела во мне?

– Ты очень одинокий человек. Но это временно. Ты поставил перед собой цель, сложную, но осуществимую. Когда ты напишешь роман, ты выберешься из своей конуры в новую жизнь. У тебя будут друзья, вино, женщины, работа, отдых от работы. У тебя будет всё. Вот только другого романа ты уже не напишешь. И даже нормального рассказа.

– Почему?

– Потому что ты однозадачен. Достигнув цели, ты уже не сможешь выдумать новую, столь же значительную, а размениваться на мелочи ты не способен. А теперь, зная это, ответь и ты мне на один вопрос. Стоит ли стремиться как можно быстрее закончить работу, зная о том, что будет потом?

– Вообще это я беру у тебя интервью. Но ладно, я отвечу. Да, я думаю, стоит. Если всё так, как ты говоришь, меня ждёт счастливая жизнь, наступлению которой мешает лишь этот треклятый роман.

– Дело в том, что сколь бы хорошим он ни был, ты не сможешь вместить в него весь мир. Скорее всего, это будет лишь описание твоего собственного уголка пространства, очень точное, но всё равно ограниченное. Твой мирок не столь велик.

– Ничего, я постараюсь.

– Постарайся. Ты действительно интересный человек. Но, как и многие другие, хочешь быстро достичь цели, достижение которой сделает тебя скучным и стандартным.

– Может быть.

– Точно тебе говорю. Запиши вот ещё что. Люди слишком сильно цепляются за жизнь. Когда перестаёшь панически бояться смерти, перед тобой открываются совершенно новые возможности, о которых ты раньше и не догадывался. Тебе остаётся только протянуть руку и сорвать с дерева плоды. Не хватает работоспособности? Перестань трястись за свою жизнь, и усердия будет не занимать. Маловато таланта? Страх смерти скрывает от тебя правду – каждый способен творить великие вещи. Часто единственное, что стоит между демиургом и его мечтой, – лишь простая человеческая боязнь.

– Вот у тебя нет этого страха. Скажи, что ты творишь?

– О, я занимаюсь самым интересным видом искусства в мире. Я творю тебя.

– Но тебе-то какая с этого выгода?

– Давай будем называть вещи своими именами. Как ты думаешь, почему я постоянно кого-то жду, устраиваю эти дурацкие представления, приглашаю твоих, по правде говоря, бездарных дружков?

– Не знаю. Может, потому что иначе просто не можешь?

– Интересный вариант. И, конечно, неправильный. На самом деле я ищу кого-то, кто сможет ответить на самые простые, но самые важные вопросы. О них задумывался каждый, но страх смерти – вот ваш заклятый враг. Он не даёт вам спокойно спать. Есть ещё алчность,

похоть, зависть, лень, но именно страх смерти делает из людей рабов. Всё остальное – лишь следствие. У меня нет ничего из этого списка, даже завидовать я не хочу. У меня осталось мало времени, зато есть некое подобие дара. Оно помогает другим, по крайней мере, я на это надеюсь. Я ищу того, кто сможет заглянуть за горизонт, увидеть все эти земляничные поляны, туманные миры, кто сможет при жизни услышать скрип шестерёнок и вернуться в мир, держа его в памяти. Я там была, но я не могу поделиться этим с другими, потому что просто не имею права. Я не боюсь смерти, а значит, должна молчать. Рано или поздно кончается всё, и мой конец, увы, ближе, чем у большинства из вас.

– Зачем я здесь?

– Ты сам пришёл.

– Не притворяйся, ты поняла, о чём я.

– Может, я надеюсь именно на тебя? Как я уже говорила, я не разгадала тебя до конца. Мне это нравится. Меня это заводит, если хочешь. Я почти испытываю возбуждение от того, что есть небольшой сектор в твоём сознании, мне неподвластный. Может, там просто рухлядь, может, вообще пусто, сейф без ценного, просто огромная полая железяка, но меня подкупает сложнейший замок на ней. Так что не подводи меня. Покажи этому миру, на что ты действительно способен.

Четырнадцатый день осени *(черновик, часть рукописи романа –* ***прим. составителя***)

Город погиб на четырнадцатый день осени. В трактире в тот день главным блюдом была рыба, которой жители уже давно пресытились. Так обычно и бывает в небольших городах, расположенных на берегу могучих древних рек. Но вся рыба уплыла из таверны вместе с посетителями, когда в город ворвались тысячи тонн воды, прорвавшей дамбу далеко на севере и теперь буйствовавшей в долине. В этом прорыве было что-то самоубийственное. Так должен ощущать себя солдат из авангарда, который первым ложится на выставленные вперёд копья, принимая в сочную мякоть тела как можно больше отточенных стальных жал. Следом за ним в строй врывается конница, топчет передовой отряд противника до тех пор, пока издалека поле брани не начинает заливать смертоносным дождём кровожадная артиллерия. Потом обычно наступает тишина, призванная очистить мир от дыма и умолкающих человеческих криков.

Когда вода схлынула, на крышах покорёженных домов остались водоросли и тина. Тела горожан унёс поток, и ни один звук не говорил о том, что здесь когда-то было многолюдно и шумно. Река снова вернулась в своё русло, довольная захваченной добычей – то там, то здесь можно было увидеть балки и обломки крыш, вырванные с корнем молодые деревца и молчаливые трупики удивлённых лесных зверей, захваченных где-то по дороге. В подвалах горестно хлюпала вода, как раненные пехотинцы, ставшие бесполезным мясом.

Город моментально лишился дыхания, опустел, но процесс его уничтожения только начался. Следом за передовым отрядом в бой вступил медлительный и необратимый отряд разложения. За два года обломки поросли травой. Они стали похожи на гнилые пеньки, которыми как-то неожиданно заменяются некогда белые зубы старика. Дома и магазины всё больше погружались в почву, на перекрытиях выросли цветы, а потом творения человеческих рук стали напоминать курганы. Буйно расцвела жизнь в самом чистом её проявлении. Зазеленели луга, заболотились пляжи, насколько хватает взгляда, простёрлись сочные заросли, которые уравняли все противоречия, заполнили все овраги, превратив поле битвы в милую солнечную долину.

Прошло неимоверно много времени, прежде чем что-то, не созданное природой, вновь рискнуло вторгнуться в эти чуждые владения. Через сотни лет на берегу реки вырос небольшой рыбацкий домик и чуть поодаль – мостик с одним врытым в ил столбиком. Проникновение искусственного было столь мало, что на фоне величественной красоты долины его след был едва различимым. Маленький дом. Ни грамма камня, только дерево. Внутри – новенькие инструмен-

ты. Главное блюдо. Центр композиции. Одинокая верфь в лучах заката, солнечный луг и выглядывающие из его чрева старые, пожранные мхом балки.

Спокойствие и отрешённость наполнили долину до краёв, и только редкие дожди подчёркивали закрытость этого места, так как были единственными путешественниками, по ошибке забравшимися так далеко в царство дикой природы. С годами их количество неуклонно возрастало: дожди словно пытались компенсировать отсутствие каких-либо изменений, но оказались не в силах изменить хоть что-то. Луг застыл. Под дождём, на века, и только деревянный сторож – дом – с годами старел вместе с его молчаливым владельцем.

От составителя:

В изданном варианте романа эта глава всё-таки была названа автором «Блюдо дня». Описанию рыбы, которую подавали в таверне, он уделил гораздо больше внимания. Однако, судя по всему, такое дополнение было произведено в ходе доработки уже готового произведения. На момент создания этой записи писатель ещё считал данную версию окончательной.

Умение существовать *(дата написания неизвестна)*

Мой блокнот с недописанным отрывком смотрел на меня укоряюще, словно я только что украл медную монету из шляпы слепого ребёнка-скрипача, просящего мелочь на еду. Травмированная совесть буквально плакала навзрыд, понимая, что если я немедленно, вот прямо сейчас не возьму ручку, я подведу её, себя и Вселенную. Но сделать этого я, конечно, не мог. На кухне сидела и что-то щебетала Карина, единственная моя подруга и просто красавица, каких в мире единицы. Конечно, мне и в голову не могло прийти слушать всё, что она говорит, но я старательно делал вид, силой заставляя себя не смотреть на блокнот.

Карина приехала, как всегда, без звонка и без гостинцев, которые можно было бы торжественно умять с чаем. Единственным подарком, привезённым ею, был запах дорогих духов, которые она, конечно, не покупала. Следя за её мимикой, я вдруг с каким-то озлоблением понял, что меня не существует. Её слова не доходят до моего сознания, а если бы и доходили, я бы побежал в ванную и попробовал утопиться, подавляя инстинкт самосохранения. Томные глаза Карины вдруг показались мне такими далёкими, какими кажутся огни быстро приближающегося поезда перебегающему полотно пешеходу. Эти что-то показывающие руки вызывали единственную ассоциацию с тенями на стене, живущими в параллельном мире моей небольшой квартиры.

Когда я принёс ей чашку чая, она словно невзначай, а может, и правда случайно, коснулась моей руки, но я совершенно ничего не почувствовал. Тот я, который жил в плотском мире, грыз крекеры, онанировал в туалете за закрытой дверью, вспоминая её прикосновения, кажется, умер во мне навсегда. Чудовищная скука забралась мне в голову и навела там свои порядки. Поэтому я молчал и кивал собеседнице, но без особого энтузиазма. Мне просто было всё равно. Меня ждал блокнот. Он звал меня своим бумажным голосом. Рука, лишённая писчих принадлежностей, готова была выводить слова в воздухе. А ещё она немного подрагивала, словно от перенапряжения. Я сосредоточился на этой дрожи, пытаясь приказать своей конечности перестать. Куда там, какой-то дурной толчок крови в венах вызывал волну, сотрясающую сначала плечо, потом кисть, а затем и пальцы. Какие у меня длинные и совсем не изящные пальцы! Разве могут такие быть у писателя? Разве не должен он всем своим видом напоминать древнего поэта, почти бесплотного, почти не контактирующего с физическим миром?

– Слушай, – голос Карины вдруг изменился, и это вырвало меня из задумчивого созерцания своей руки. – Как ты живёшь?

– Да как-то так, – не понимая вопроса, я не мог предоставить адекватный ответ.

– Я вот о чём. Мы с тобой удивительно разные, я даже примерно не могу представить, что же творится в твоей голове.

– Так, наверное, заведено у людей. Мы все друг другу чужие в той или иной мере.

– Вовсе нет. Люди вообще не слишком различаются. Но мне иногда очень хочется уметь залезать тебе в голову, когда ты слишком уходишь в себя.

По моей спине вдруг прошмыгнула холодная капля. Карина, конечно, не знает, но я-то хорошо представляю себе это ощущение. Что-то залезает в тебя сквозь глаза и начинает копаться в черепе, постоянно раздражая нервные окончания, словно у тебя чешется внутренняя поверхность глазного яблока. Ты беззащитен, ты не способен справиться с этим свербящим ощущением, ты раскрыт, как книга, с которой только что сорвали суперобложку и загнули каждую страницу по отдельности. Карина даже не догадывается, как же это страшно.

– Что ты хочешь узнать? У меня нет от тебя секретов.

– Такое не расскажешь. Мне интересно понять, о чём ты думаешь и как ты это делаешь.

Я промычал что-то нечленораздельное и отхлебнул остывшего чая. Карина повела плечами, словно ей было холодно, и притронулась губами к чашке, совсем чуть-чуть, чтобы как-то обозначить своё присутствие.

– Смотри, – сказала она, – я вот не могу быть одна. Вообще. Мне очень страшно одной. Возникает такое ощущение, словно я исчезаю куда-то и не за что зацепиться. Я уверена, что сейчас прекращу существовать, пропаду, сгину. Мне всегда нужны люди, которые могут подтвердить, что я есть. С тобой мне хорошо. Я тебя привлекаю и знаю это. Пусть даже только плотски, но это отличное подтверждение того, что я существую. Сейчас же ты словно не здесь. И меня снова куда-то уносит. Чёрт бы тебя побрал! Я приезжаю к тебе только тогда, когда совсем истончаюсь! Только когда я почти перестаю верить в себя! А ты... ты...

Карина вдруг задохнулась. Громко втянув воздух, она опустила голову и заплакала. По её телу пробежала дрожь. Роковая девушка, умевшая сводить с ума всех мужчин на расстоянии километра, собирать вокруг себя толпу придворных, постоянно меняющая фаворитов из числа самых приближённых, плакала у меня на кухне. Это было настолько неожиданно, что я смутился. В попытке как-то исправить положение, не допустить нарушения логики бытия, я подсел к ней и немного неуклюже обнял за плечи. Она прильнула ко мне всем телом и застыла в этой неудобной позе. Её щёки были мокрыми, но вместо жалости это почему-то вызвало во мне возбуждение. Она всё-таки была очень красива, даже в тот момент, когда вся тушь размазалась и лицо казалось немного опухшим. Особенно в тот момент.

– У тебя никогда не было ощущения, что тебя не существует? – спросила она тоненьким голоском, ей совершенно несвойственным.

– Не знаю. Наверное, нет, – соврал я.

– Это всё твой роман. Необходимость его написать постоянно доказывает тебе, что ты есть. Жаль. Как же жаль, что я не могу влезть тебе в голову. Может, я смогла бы научиться у тебя этому?

Я не стал отвечать. Даже если бы Карина туда влезла, она бы нашла кучу всякого ненужного барахла и маленький запертый сейф. Кажется, я знаю, что в нём. Конечно, знаю, ведь я туда это и положил!

– Скажи мне, что ты всё ещё хочешь меня, – попросила она тихо, словно впервые в жизни стыдясь своих слов.

– Ну конечно, – улыбнулся я.

Искушение

Карина знала много способов доставить мужчине удовольствие. Это я знал, и в этом я был уверен. Но сейчас её просто метало от восторга к слезам и обратно, и секс с ней был похож на аме-

риканские горки. Наслаждение и истерика переплелись в ней настолько странно и неразрывно, словно это было в порядке вещей. Как бы это объяснить.... Я никогда не был особым умельцем по части секса, а в данный момент, боюсь, я вообще не играл никакой роли. Карине хватало осознания того, что я её хочу, а то, на что я способен, её мало волновало. Увы, мне была отведена роль некоего устройства, название которого вы все и так знаете.

Поймите меня правильно, я вообще считаю, что секс – это некая квинтэссенция эгоизма, и ничего страшного в этом нет. Но всё же именно сейчас я понял, что мне практически не важно, кто эта девушка. Её тело было интересно моему телу, и всё. Я-то тут вообще причём? На месте Карины могла быть любая другая с таким же телом, и я отозвался бы точно так же. На мгновение мне даже стало жаль времени, потраченного на этот хаос, на заворачивание простыней переплетающимися ногами, на капли пота на лбу. Зачем всё это? Мне нужна ручка, бумага, мне надо писать роман. Конечно, я бы соврал, если бы сказал, что мне было неприятно. Но радости от осуществления действительно очень давней мечты я не ощущал. Это случилось именно тогда, когда мечта перестала быть таковой. Разочарование заползло под исподнее. Какая отличная фраза! Вот бы её записать. Увы, в тот момент это было невозможно, и я кончил, не в силах больше перебарывать свой собственный организм и подкрадывающееся к горлу отвращение.

Я хотел её пятнадцатилетнюю, когда мне было столько же. Хотел её двадцатилетнюю, загорающую на шезлонге в парке. Хотел её, весёлую и немного пьяную, в день её двадцатидвухлетия. Но в двадцать пять эта молодая женщина была лишь орудием оргазма, и никакого восторга я не испытывал. А может, сейчас, по прошествии некоторого времени, мне так кажется. Может, это просто роман творит со мной чёрт знает что.

В любом случае, после того как я кончил в свою лучшую подругу, не слишком, кстати, заботясь о контрацепции, началась совершенно новая жизнь, так как события стали развиваться совершенно неожиданным образом. Пока Карина мылась в ванной, мурлыкая себе под нос какую-то песенку, у меня вдруг зазвонил телефон. Мне очень не хотелось брать трубку, моё тело всё-таки сильно устало. Но я догадывался, кто это был.

– Ничего не говори. Просто слушай, – голос Кансер был как никогда серьёзен. Он жил отдельной жизнью, и мне даже почудилось, что у её голоса есть своя личность, слабо соответствующая его владелице. – Я, кажется, втравила тебя в серьёзную передрягу. Слишком долго рассказывать. Ты перешёл черту дозволенного. Пока лишь чуть-чуть её переступил, немного потоптался на пороге, но если продолжишь писать роман, тебе придётся всё глубже заходить в запретную зону. А те, кто живет по ту сторону, не любят незваных гостей.

Я попытался что-то пробормотать, но она не дала мне сказать и слова. На этот раз она была очень настойчива.

– Не перебивай. Сейчас вокруг тебя начнут происходить вещи, которые могут тебе не понравиться или встревожить тебя. Они ведь уже происходят, правда?

Я кивнул, хотя знал, что Кансер этого не видит.

– Я хочу, чтобы ты понял. Всё неспроста. У тебя есть выбор: ты можешь отступиться, принять новые обстоятельства и спокойно жить дальше, а можешь пойти на таран. Но тогда безопасность тебе гарантировать не сможет никто.

– А ты что думаешь? – всё-таки перебил я её.

– Я уже и так чересчур вмешалась в ход событий. Думай сам и сам неси ответственность за своё решение. Пока.

В трубке раздались немелодичные гудки. Я посидел с трубкой в руках некоторое время, лелея призрачную надежду, что Кансер пошутила. Но это, конечно, было не так. Мёртвые люди вообще очень редко шутят.

Карина вышла из ванной нескоро, она провела там минут сорок. Прошла, укутанная в мой халат, закрыв интимные подробности своего тела, хотя я совсем недавно видел их все.

– Слушай, – она прислонилась ко мне, – а давай жить вместе? Я понимаю, характер у меня не

сахар, но я умею готовить, я на самом деле неплохой собеседник. А главное, я дико боюсь одиночества. Считай, ты приобретёшь личного раба, с которым можно будет делать всё, что угодно. Хочешь, заставь готовить мидии, хочешь, трахай. А?

Я молчал и смотрел в стену. По моему телу медленно, как улитка, полз неприятный озноб. Началось! Да, началось. Выбор передо мной, и что бы я ни выбрал, я заранее проиграл. Я или теряю вновь обретённую подругу, ma belle amie, или теряю себя. Куда ни плюнь, попадёшь сам в себя. Потом не отмоешься.

Прошло очень много времени, или мне так только показалось, пока я решился ответить. Карина всё это время ждала, не напоминая о себе. Из неё, конечно, получилась бы неплохая рабыня.

– Я не готов к этому.

– Я знаю. Ты никогда не будешь готов. Ты – одиночка, твой роман тебе и женщина, и развлечение, и воздух. Но вот вопрос: стоит ли оно того? Ведь это ты его раб. Может ли он быть важнее меня? Я в твоей жизни уже десять лет. Было много плохого, я часто использовала тебя, но ведь и хорошее тоже было.

– Дело не в этом, – я лихорадочно соображал, что можно сказать. – Я просто обречён его дописать. Иначе никак.

На меня обрушилась тишина. Кажется, Карина металась между злостью и жалостью и никак не могла решить, что же ей выбрать. Наконец она вздохнула, прогоняя все свои дурные мысли разом.

– Послушай. Я дам тебе время подумать. Может, ты сможешь закончить работу за это время. Может, решишь всё поменять. В любом случае, я подожду. Потому что ты – лучшее на свете успокоительное.

Она встала, скинула халат на пол и покрутилась передо мной.

– Тебе нравится? – спросила она.

– Конечно, – я почти не врал. Её тело поражало белизной и естественностью, свойственными лишь людям с такой гремучей смесью кровей, какая текла в венах моей подруги. Генный арсенал не одного народа поработал над этой внешностью, и кто я такой, чтобы оспаривать эту природную красоту?

Прим. составителя:

Воспоминания Карины М. об авторе романа «Луга, залитые надеждой» мы можем найти в нескольких интервью, данных ею в начале 50-х годов. Безусловно, необходимо делать скидку на то, что со времён описываемых автором событий прошло достаточно много времени, что-то могло забыться, что-то было переосмыслено. Нельзя игнорировать и то, что Карина в определённый момент стала настоящей музой для многих творческих деятелей первой половины столетия, своего рода новой Лилей Брик. Сексуальная свобода, незакомплексованность и мощный творческий подъём, свойственные всем периодам человеческой истории накануне великих потрясений, сформировали многих деятелей культуры, и эта женщина была знакома практически со всеми видными представителями творческих профессий. Она принимала участие в защите нескольких известных писателей и музыкантов в период реакции, открывала подпольные салоны, помогала протаскивать в печать наполовину запрещённые тексты, пользуясь своим влиянием на работников государственных служб.

«Недавно скончался автор романа “Луга, залитые надеждой”. Насколько нам известно, вы были с ним знакомы. Не могли бы вы рассказать о том, каким он был человеком?

О, он был удивительной личностью. Конечно, странной. Конечно, избалованной вниманием окружающих. Его прозаический талант отмечали ещё учителя в школе, лучшие сочинения всегда были у него. К сожалению, в жизни он был совсем не таким смелым и понимающим, как на бумаге.

По правде говоря, он был когда-то моим лучшим другом, но этот роман... Понимаете, он разрушил ему жизнь. После того как роман был закончен и издан, он заперся в своей маленькой квартирке и почти десять лет никуда не выходил. Тогда я и перестала с ним общаться. Были попытки как-то наладить с ним отношения, но он не решился. Мне очень жаль, что так получилось. Если честно, я любила его».

(ж-л «Надежда», №3, 2052 г.)

«Последний раз я видела его в 45-м. Тогда на какой-то богемной вечеринке собрались видные деятели культуры. Она была приурочена, кажется, к чьему-то дню рождения, может, даже министра культуры. Не помню, кто тогда был. В одном из гостей я с удивлением узнала его, ну, автора "Лугов, залитых надеждой". Я была на него страшно зла, но, подумав, поняла, что злость уже стала лишней. Он очень постарел и осунулся, хотя выглядел бодрым. Я слышала, что он на тот момент был главой какой-то строительной фирмы. Я ещё удивилась, как же так, писатель превратился в торгаша. Вы помните, какие это были времена? Тогда творческий человек вызывал уважение, а бизнесмены – презрение. Не то что сейчас. В общем, я не говорила с ним. В конце концов, сложно говорить с человеком, который помнит тебя двадцатипятилетней и голой. В 45-м я уже выглядела, мягко скажем, не так свежо и привлекательно. Не хотелось портить человеку воспоминания».

(лит. ж-л «XXI век», №1, 2052 г.)

«Знаете, он ведь был первым писателем, с которым я спала. Простите за откровенность, может, это не слишком важно, но именно он заставил меня влезть в этот творческий мир. Я всё пыталась понять, почему он выбрал литературу, а не меня. И знаете, теперь я кое-что понимаю. Но тогда не могла простить ему такого предательства. Ну не дура ли? Вот уже сорок лет прошло, а я всё думаю, что было бы, если бы он плюнул на свой роман и мы с ним зажили вместе. Немного жаль, что этого не случилось. Но знаете, вот что мне хочется вам рассказать. Пусть это будет опубликовано. "Луга, залитые надеждой" – лучший роман, который мог быть написан в первой половине XXI века. Просто потому, что в нём есть всё. Каждый раз, перечитывая эту книгу, я нахожу в ней новые подтверждения того, что вся наша история была где-то заранее написана, а автору удалось взломать коды и получить доступ к этой информации. Временный, конечно, но всё, что он успел оттуда стянуть, он стянул. Да и 50-й год там имеется. Читайте внимательней. В общем, он был молодцом. Правда, с сексуальной точки зрения большой неумеха. Вот однажды я познакомилась с одним поэтом на приёме у Бориса В., так тот...»

(лит. ж-л «Прозрение», №1, 2053 г.)

На следующий день

Карина уехала ровно в шесть утра. Словно по звонку собрала все свои вещи и набила ими до отказа дамскую сумочку. Я не вдавался в подробности. Аккуратно выпила чашку кофе, стараясь не оставлять на ней следов от губной помады. Пока я не приму решение, она не хочет оставлять в моём доме никаких следов. Я должен решить. Должен дать ей ответ.

На сколько хватит её терпения?

Я старался об этом не думать.

Естественно, мы ничего друг другу не обещали. Я совершенно не против того, чтобы она встречалась с кем-то. Она, кажется, вовсе не хочет ограничивать мою свободу. Моя свобода её попросту не интересует, и вчера, во время нашего не самого удачного секса, я это осознал с болезненной ясностью.

Я включил компьютер. Под некогда белой, а теперь скорее серой в разводах металлической кожей электрического зверя громко и надрывно задышали его лёгкие, забилось многогигагерцо-

вое сердце, наполнились живительным током капилляры. Пока грузилась операционная система, я, в свою очередь, погрузился в воспоминания. Что же я хотел написать тогда, давно, когда мой череп ещё не был вскрыт острыми лезвиями взгляда Кансер? Я хотел говорить от чьего-то лица. Хотел разъяснять. Наверное, хотел карать. Но сейчас, после того как ушла моя лучшая подруга, я вдруг понял, что я один. Я не могу говорить за других, потому что я и за себя-то не готов сказать всего просто потому, что не могу объять это огромное и непонятное. Надо выбросить дурацкую идею из головы. И писать что-то совершенно иное. Придумать новую общность, в которой сотни и тысячи моих отражений собираются воедино, превращаются в новый вид животных, совершенно не похожих на всех остальных. Таких же двуногих, но совершенно чуждых всему, что их окружает. Изъятых из контекста. Если я смогу представить такое огромное стадо, я смогу писать для него, и пусть каждый ищет себя в его поголовье.

Где-то в глубине моего черепа стоит большой и тяжёлый сейф. А может, небольшой. Возможно даже, что очень маленький и уродливый. Он закрыт на ключ, запечатан какой-то магической комбинацией букв и цифр, накрыт старым детским ватником, в который меня когда-то давно одевали, чтобы я не замёрз на улице зимой. Открыть сейф не дано никому. Потому что внутри живёт нечто такое, что спокойно сожрёт незадачливого бедолагу, поддавшегося своему дурацкому любопытству.

И всё-таки надо постараться аккуратно сунуть в сейф руку, вытащить первый попавшийся предмет и найти ему подобающее место. Что я вытащу первым? Наверное, маленькую фигурку балерины. Не ищите в этом логики, просто доверьтесь мне, и я проведу вас безопасными тропами по совершенно чуждому миру. Наш путь начнётся на крыше. На самой высокой крыше города, на которой под неслышную никому музыку кружится в танце девушка в пачке. Танцующие на крыше – чем не название для новой главы моего романа?

*(Дальнейшее написано другой ручкой – **прим. составителя**)*

Теперь в квартире не стало света. И как назло, стемнело. Сижу пишу практически наугад, так как строчек не видно. Вышел на лестницу – всё горит, всё светло и мило, как на Новый год. И только в моей квартире полумрак. Получается, Кансер была права. Такого просто не бывает, чтобы свет отключался в одной-единственной квартире. Но в последнее время слишком часто происходит именно то, чего не бывает.

На меня снова навалилась скука, а это – первый признак разочарования. Я написал несколько страниц, повествование сбивчивое, в прозу бестактно вторгаются какие-то совершенно лишние мысли. После того как закончилось электричество, разглядывал фотографии в мобильном. Фотографий набралось на десять минут.

И вот, когда скука уже почти поглотила меня, у меня зазвонил домашний телефон. Не поверите, но я впервые обрадовался звонку. Он показался мне чем-то спасительным. К сожалению, я ошибся.

– Здравствуйте, – вежливо и грустно поздоровался со мной звонивший.

– Добрый вечер, – отозвался я с некоторой осторожностью. Голос этого человека был мне незнаком. Более того, он показался мне очень неприятным, блеющим. Так, наверное, должен разговаривать мифический сатир, одарённый природой козлиными ногами, бородкой и страстью к прекрасным вечным девственницам. Подозреваю, что именно эта жертва блуда человекоподобных богов Олимпа с четвероногими стала прародителем хитрого и изворотливого Мефистофеля. По крайней мере, мне он представляется именно таким.

– К сожалению, в силу некоторых обстоятельств не имею возможности представиться. Прошу простить меня за это. Не сочтите за неуважение. Мне велено передать вам одну, возможно, весьма неприятную просьбу.

– Я вас слушаю.

– Просьба эта, собственно говоря, проста. Однако по причинам анонимности – как моей, так и просителей – она, возможно, покажется вам несколько странной. Возможно также употребить тут и слово «вероломство», кажется, оно наиболее полно описывает характер переданной мне просьбы, которую я, в свою очередь, вынужден по цепочке передать вам. Более того, удовлетворить её довольно сложно. Мои просители, конечно, прекрасно понимают это, а потому, если потребуется, готовы предоставить вам некоторые средства в качестве моральной компенсации.

– Да говорите же! – не выдержал я. В принципе, мог бы и проявить терпение.

– Хорошо, хорошо. Просьба, как я уже говорил, проста. Пожалуйста, не пишите роман.

Я громко сглотнул, воинственно дёрнув кадыком.

– Прежде чем вы что-то ответите, а я уверен, что первой вашей реакцией будет закономерная обида и сплошной негатив, позвольте мне кое-что объяснить. В вашем произведении содержатся или будут содержаться некоторые сведения, обнародование которых приведёт к неприятным последствиям для моих нанимателей. Они считают, что это достаточно веская причина для того, чтобы столь вероломно вторгаться в вашу личную жизнь. Более того, это настолько важно, что оправдывает мой звонок вам и разговор с вами по выключенному, в общем-то, телефону.

Тут меня запоздало осенило. У меня радиотелефон, который без электричества работать не может.

– Какого чёрта? – почти крикнул я. А что я, в общем-то, мог ещё спросить?

– Грубите. Прекрасно вас понимаю и, если это важно, вовсе на вас не обижаюсь. В сложившихся обстоятельствах это, пожалуй, единственная адекватная реакция, – сказав это, мой собеседник надолго замолчал. Я тоже ничего не мог произнести. – Вы знаете, – наконец продолжил он, – мне ужасно надоело выполнять подобного рода поручения. Неприятные просьбы, грубость в ответ. Думаете, это может нравиться? Мои собеседники постоянно упрекают меня в чём-то, хотя я всего лишь посредник. Более того, заложник обстоятельств. Честное слово, вы, например, мне глубоко симпатичны. Надеюсь, вы мне верите. Ваше упорство и талант, пусть и не до конца отшлифованный, представляются мне чем-то огромным. Будет очень обидно, если вы переведёте их лишь на один не слишком удачный роман. Попробуйте написать что-нибудь другое. Конечно, в руках нашей общей знакомой вы засияли, но это лишь ваши собственные силы, и ничего кроме. Дописав роман, вы выжмете сами себя до капли. Вы знаете это?

– Знаю.

– И всё равно пишете? Потрясающе! Вот это выдержка! И всё же, подумайте над моей просьбой как следует.

– Вы можете ответить мне на один вопрос?

– К сожалению, у меня осталось мало времени. Однако я постараюсь рассказать вам как можно больше за оставшиеся несколько минут. Не тратьте время на сам вопрос, я прекрасно знаю, что вы хотите узнать. – Он затараторил. – Ваш роман очень несвоевременен. Поймут его немногие, есть подозрение, что вы и сами не до конца осознаёте, что пишете. Всё-таки Кансер привнесла в него много личного. Самое неприятное заключается в том, что и мы не можем предсказать, что произойдёт в результате его публикации. Вы пока не отдаёте себе отчёта в том, на что способна подобная книга. Если хотите, спросите об этом у Кансер. Думаю, ваши доверительные отношения заставят её сказать вам правду. К сожалению, это всё, что я могу рассказать, да и время неумолимо заканчивается. Подумайте хорошенько. До свидания.

Щёлк.

Щёлк.

Прим. составителя:

Данный разговор, записанный автором, мы просто обязаны были включить в наше издание, так как он представляет большой интерес. Из ряда автобиографических работ начала XXI века следу-

ет, что подобного рода беседы с анонимным собеседником, отличительной чертой которого был «козлиный» голос, имели место у людей самых разных профессий, разного возраста и проч.

Так, известный философ и публицист Борис В. тоже упоминает о своём разговоре с козлоголосым. Собеседник говорил столь же уважительно и многословно, и по манере разговора можно с большой долей уверенности констатировать, что это одно и то же лицо. Не до конца ясна связь между всеми звонками, однако, говоря о своей жизни, интересующие нас личности обязательно акцентировали внимание на этих разговорах, считая их, видимо, весьма важными.

К автобиографии Бориса В. «Жизнь на грани помешательства» (изд. «Завет», 2052 г.), в которую входят также несколько критических статей, мы ещё вернёмся, так как в ней есть и упоминания о романе «Луга, залитые надеждой».

В одной кровати

Она заявилась ко мне почти в полночь. Приехала на такси, невесть откуда взяв на него деньги. Увидев её на пороге, я решил, что она сделала своей матери огромный подарок: та сможет хоть немного отдохнуть. Меня же ожидала целая вечность мучительного ледяного ужаса. Нахождение мёртвой девочки в моём доме вызвало у меня приступ паники, но я собрался с силами и пригласил её на кухню.

Кансер медленно проплыла по коридору, казалось, что она вообще не шагает по полу. Тапки она брать не стала, так что перемещалась совершенно беззвучно. Как маленькое привидение. Как английское привидение, знающее себе цену, аристократичное, с подведёнными кровью глазами и подрагивающими веками. В каком-то смысле она была очень красива. Последние усилия жизни в борьбе с мешаниной в её груди всё ещё одаривали владелицу едва заметным румянцем, похожим на смущение.

В ночном городе догорали огни и люди. А в моей квартире только что дали свет: она словно отсоединилась от городской неоновой темноты, как отстыковался однажды «Союз» от «Аполлона», чтобы в очередной раз символизировать попытку подружить две державы с диаметрально противоположными взглядами на жизнь. Тот момент, когда в розетках снова завёлся ток, показался мне излишне знаменательным. В конце концов, я ничего не сделал для того, чтобы всё наладилось. Но появление Кансер расставило всё по местам. Мне даже почудилось, что это нелепое стечение обстоятельств пасует перед девушкой в чёрном. Так же мягко и беззвучно в дом входит судьба.

Из колонок по квартире разливалась мягкая музыка Alphaville. Кансер пила чай молча, периодически обдувая его поверхность, чтобы хоть как-то остудить. Манера пить чай у неё сильно отличалась от того, как это делала Карина, недавно сидевшая на этом же стуле. Кансер каждый раз притрагивалась к чашке как к чему-то, что может ей навредить. Всё вокруг для неё означало боль, поэтому её движения были плавными и осторожными, как у кошки, оказавшейся посреди мокрой асфальтовой дороги. За всё время Кансер не произнесла ни слова, только всё отчётливей проступала на её лице нечеловеческая усталость. В конце концов она сгорбилась так, что практически уткнулась носом в чашку. Ни слова. Мне показалось, что она даже не дышит. Дышал голос в колонках, и ей, кажется, хватало этого, чтобы не отключиться.

Я долго смотрел на неё, и мне чудилось, что я в музее и рассматриваю чучело. Оно создаёт иллюзию жизни, но на месте глаз уже много лет блестят перламутровые пуговицы, а внутри – наполнитель, а вовсе не внутренние органы, которые должны там находиться. В общем, через несколько минут мне это надоело, и я уставился в окно. Дождь, хлеставший целый день непослушную землю, прекратился. Фонарь за окном почему-то не горел, при желании можно было различить на небе россыпь октябрьских звёзд. Все, кто хоть иногда поднимает голову к небу, знают, что в октябре оно уже совсем другое, светила больше, отчётливей и холоднее.

Холод. Он сейчас пронизывал Кансер насквозь. Она даже немного дрожала. Почему на моей кухне на женщин так часто нападает эта странная дрожь? В каком-то ином мире моя квартира, наверное, является пыточной камерой, в ней постоянно кто-то плачет и проклинает судьбу. Даже когда тут у меня дома никого нет.

Но Кансер, конечно, не плакала. У меня даже нет уверенности в том, что она умела это делать. Она просто сидела с потерянным видом и периодически дула на чай, но не выронила ни слезинки из своих поведённых кровью глаз. Впрочем, с чего бы ей плакать? Почему я решил, что она должна это делать?

– Скажи мне, тебе страшно? – спросила она в тот момент, когда молчать больше было просто нельзя.

– Да не сказал бы, – с готовностью отозвался я и бодро втянул разом несколько глотков остывшего чая. – Вроде пока ничего не случилось.

– Не ври мне. Случилось. И ещё случится. К этому нельзя подготовиться, это приходит неожиданно и ломает тебе хребет. Уж можешь мне поверить. Ты уверен, что выдержишь?

– Посмотрим, – я вдруг физически ощутил время. Оно тикало у меня в висках.

– Что ты обо всём этом думаешь?

– Похоже на бред. Начинают сбываться старые мечты, от которых я только недавно избавился. Мне звонят на выключенный телефон сатиры. Вырубается свет в отдельно взятой квартире. И всё для того, чтобы никому не известный автор не написал свой первый и, видимо, единственный роман, который наверняка никогда не издадут.

– Издадут, – отозвалась Кансер. – Но дело не в том. Я просто пытаюсь понять, справишься ли ты.

– Ты говоришь, как любовница, честное слово.

– Любовница? – она изогнула бровь, и я вдруг осознал, что смотрю ей в глаза. Первым желанием было отвернуться, но она опередила меня, снова уставившись в чашку.

– Ну да. А ты представь. Любовники встретились поздно вечером. Она спрашивает у него, справится ли он с какими-то навалившимися обстоятельствами. Скажем, он влез в долги. Осталось только сказать какую-нибудь банальность вроде «я в тебя верю».

Кансер посмотрела в стену.

– Что ж, может быть. Я понятия не имею, как ведут себя любовники. Опыта маловато.

– Извини.

– Вот только не надо извиняться. Я сказала это без тени сожаления.

– Тебе это не интересно?

– У меня нет времени на ерунду. Всё это подходит для вас, нормальных. А у меня от мысли о том, что я бездарно теряю время, начинается озноб. Да и кто захочет быть любовником трупа?

– Ну уж. Стоит последить за собой, и никаким трупом ты казаться не будешь.

Она странно посмотрела на меня и снова отвернулась. Воцарилась тишина, воздух вдруг сгустился, пахнуло книжной пылью, которую я обычно не замечаю. Возникло ощущение, что я упустил что-то очень важное.

– Я перед выходом полчаса провела у зеркала, – проговорила Кансер, буравя взглядом висящие на стене ножи. – Никогда так не делала, а тут зачем-то даже ногти накрасила. Мать на меня так странно смотрела.

Мне стало ужасно стыдно. Во-первых, потому что не заметил, а во-вторых, потому что сморозил такую глупость этому странному хрупкому созданию, у которого даже нет имени.

– Прости.

– Не надо. Я действительно труп. Мёртвого бессмысленно украшать.

– Да прекрати ты! – я впервые повысил голос. – Слушай, я не заметил всего этого, лишь потому, что я панически боюсь смотреть тебе в глаза. И ты знаешь почему. Прости, но твой взгляд

сильно меня потрепал в прошлый раз. Отсюда и моя невнимательность. Никакой ты не труп. Ты живая тёплая девочка в самом прекрасном возрасте.

Кансер удивлённо подняла одну бровь.

– Девочка? Так меня ещё никто не называл. Спасибо, – последнее слово она произнесла неуверенно, словно спрашивая меня, насколько я серьёзен. Я посмотрел на неё. Пересилил себя и взглянул ей в глаза. Она почему-то смутилась. Мне показалось, что даже немного покраснела. Мы едва встретились взглядом.

– Ладно, утро вечера мудренее. Пойдём спать. У меня, правда, только одна кровать, но я клятвенно обещаю тебя не лапать, – я улыбнулся настолько беззаботно, насколько смог.

Она не ответила. Я достал для Кансер свою старую футболку, с которой она отправилась в ванную, и расстелил кровать. Моей знакомой не было довольно долго. Она вышла из ванной утомлённой и слабой, но даже в таком состоянии двигалась совершенно бесшумно. Я, конечно, догадывался, что ей не очень хорошо, но говорить об этом постеснялся. По её виду всё и так было понятно. А ещё у неё оказались красивые длинные ноги, если бы не огромное количество синяков и кровоподтёков, их можно было бы показывать публике как пример идеальных женских ног.

Кансер бесшумно юркнула под одеяло и сразу отвернулась к стене. Я улёгся рядом, на самом краю кровати, чтобы не стеснять мою ночную гостью. Мне почему-то было ужасно грустно, но я никак не мог понять почему. Просто что-то подтачивало меня, вгрызалось в сердце, а я не мог достать это что-то из себя и отбросить подальше.

– Скажи, – нарушила она молчание, – а как это, быть любовниками?

– Что тебя интересует? – решил уточнить я.

– Ну, явно, не как делаются дети. Уж это-то я знаю и без твоих объяснений.

– Да, прости...

– Прекрати извиняться.

– Хорошо. Не буду, – я задумался. Вопрос, конечно, что ни говори, сложный. – Мне кажется, что любовник – просто попытка понять себя через другого человека. Своего рода живое зеркало.

– И это всё? – разочарованно и совершенно по-детски проныла Кансер.

– Конечно, нет. Есть ещё всякие штуки, связанные с сексом. Но это тебе не надо рассказывать, ты и сама всё это знаешь.

Кансер замолчала. Её явно не удовлетворил мой пространный и убийственно короткий ответ. Тем более что я врал. Мы всегда испытываем к человеку, с которым спим, какие-то чувства, кроме желания увидеть в нём себя. Просто эти чувства весьма сложно проанализировать и уж тем более как-то объяснить другому. Они могут быть кратковременными или долгосрочными, могут неожиданно превратиться в ненависть или наоборот возвыситься до чего-то такого, что толкает тебя в ЗАГС, но всё это уже совсем другая история. Я стараюсь избегать сильных чувств и бесед про них, так как если жизнь – театр, то любовь – это балет в Большом. Красиво, элитарно, недоступно для понимания.

Кансер немного полежала, а потом быстро придвинулась ко мне и положила мне голову на плечо.

– Слушай, я никому не рассказывала, тебе расскажу. Может, это поможет тебе хоть немножко меня понять. Не знаю почему, но именно твоего понимания мне не хватает. Когда мне было лет двенадцать, я познакомилась с мальчиком. Он был очень милый, весёлый, он мне однозначно нравился. Если у нас бывали карманные деньги, мы вместе бежали за мороженым и очень много разговаривали. Это было очень приятно – просто разговаривать с ним. Я тогда ещё не осознавала, кто я. Не знала, на что способна. И однажды я влезла ему в голову. Просто так, мне хотелось знать, что у него там. Как он относится ко мне. Конечно, нельзя было этого делать. Ему ведь было всего двенадцать, а такое не всякий взрослый вынесет. В общем, он не выдержал.

Против ожиданий, её голос не дрогнул. Она не переживала из-за этого. Может, уже пережила, может, просто не придавала значения. Я же, не отрываясь, смотрел в потолок, а точнее, в идею

потолка, потому что в отсутствие света он казался только потенциальной возможностью и не более того.

– Я до сих пор думаю, что было бы, не случись этого, – Кансер придвинулась ещё ближе, и я почувствовал холод её тела, которое никак не могло согреться. Мне показалось, что она с интересом фиксирует собственные чувства вместо того, чтобы поддаваться им. – Может, мы стали бы парой. У нас был бы общий дом, общая кровать, собака, а ещё лучше две собаки, может, ребёнок, милый малыш, не знающий, что такое страх. Рядом со мной страшно всем, и я это прекрасно понимаю. Но мне не совестно. У меня слишком мало времени, чтобы деликатничать.

Она подумала немного, стоит ли продолжать.

– Но всё же, иногда такие мысли ко мне приходят. Мы занимались бы с ним всеми этими сексуальными штуками, о которых только что говорили. – Кансер совершенно неожиданно приблизилась ещё, теперь её тело практически слиплось с моим. Она запустила руку мне в трусы и обхватила мой член. Неумело водя по нему, она продолжала описывать свою жизнь, которой не случилось. А я смотрел и смотрел в потолок, чувствуя себя инопланетянином, который прибыл из далёких миров навстречу радиосигналу. Источник этого послания давно умер – пока оно летело сквозь бесконечную мглу космоса, прошли тысячи лет, и отправителя давно нет в живых. Нет и всей его расы. От некогда прекрасной зелёной планеты остался пустой астероид, и в эту пустоту мне суждено было высадиться, но следы прошлого, эти страшные немые тени обступают со всех сторон. Есть среди них и тот, кто во все стороны распылил заразу радиоволн, прорезавших время и пространство. Но уже безвозвратно немой и зыбкий.

Когда Кансер замолчала, я попытался протянуть к ней руку, ощупать её тело, прекратить игру в одни ворота, но она мягко вернула мою руку на место.

– Не надо. Я же не твоя любовница. Или тебе неприятно?

– Приятно.

– Я уж чувствую. Тогда лежи и просто иногда кивай. Можешь меня не слушать.

– Я тебя слушаю.

– Хорошо. Потому что мне кажется, что это единственный раз, когда я так разоткровенничалась. Завтра я снова стану трупом. Уж прости меня за это, тебе опять придётся меня бояться. Но сейчас мне этого совсем не хочется. Мне нравится, что ты возбуждён. Вот бы когда-нибудь попробовать запихнуть в себя эту штуку. Не совсем представляю, как это может доставлять удовольствие, но раз все считают, что это приятно, наверное, и мне бы понравилось. Как думаешь?

– Наверное.

– Эй! Даже не думай об этом. И не дёргай, пожалуйста, рукой. Лучше слушай. Месячные у меня начались поздно. Я-то, конечно, об этом не думала, но теперь мне это кажется странным. После того как всё-таки начались, уже никогда не кончались. У меня просто отовсюду идёт кровь, тут сложно понять, где месячные, а где нет. Ощущений никаких, кроме боли, которая и так всегда со мной.

Я кивнул.

– Когда меня выворачивает наизнанку, каждое чёртово утро, я почему-то вспоминаю о том дне, когда умерла моя собака. Да, у меня в детстве был очень милый маленький пёс. Он умер примерно так же, как теперь умираю я. Ну-ну, не нервничай. И постарайся сделать так, чтобы у меня в руке находился твёрдый предмет. Хорошо? Это мне нравится. Так вот. Смерть собаки. Это случилось через пару лет после той истории с мальчиком. У пса был рак желудка, умирал он долго. Странно, но я не испытывала к нему сочувствия. То есть, да, я прекрасно понимала, что он страдает, делала всё, что могла, чтобы облегчить эту боль, даже запихивала в него какие-то человеческие таблетки. Насильно. Измучилась страшно. Но почему-то не жалела. Это была очень странная форма апатии. И кстати, теперь уже можно сказать это со спокойной совестью, это было очень скучно. Каждое утро одно и то же. Каждое утро, как и сейчас, ничего нового. Себя я тоже

не жалею. Чертовски скучно, вот и всё. И быстрее бы это всё закончилось. Да только на кого ж я тебя оставлю, с твоим романом?

– С нашим романом.

– Нет, с твоим.

Мне вдруг что-то капнуло на плечо, я инстинктивно дёрнулся.

– Ничего-ничего, это у меня кровь из носа пошла, – она просто шмыгнула носом, и капать перестало. – Вот. Это две самые яркие истории из моей жизни. Всё остальное какое-то тусклое. Собственно, жизнь после смерти собаки быстро закончилась, потом очень медленно, неотступно стала надвигаться совсем другая штука. Как же часто я использую это слово, а? У нас удивительный язык: твой член и мою смерть можно назвать одним словом «штука».

Я снова кивнул. Мне вдруг стало очень хорошо от того, что её рука такая неумелая, в этом было что-то совершенно детское, что никак не вязалось с рассказываемыми ею вещами. И с ситуацией вообще. И с ней самой, девочкой, побывавшей где-то, где не бывал никто из нас, видевшей то, что не видят зрячие живые обитатели планеты Земля.

От составителя:

Фраза «зрячие живые обитатели Земли» встречается в романе «Луга, залитые надеждой» дважды. Первый раз автор употребляет её для описания опустевшего луга, скрытого от глаз. Второй раз она появляется в главе «Воробьиный лес». Глава эта представляет особый интерес, так как совершенно не стыкуется с остальными частями книги. Более того, она написана несколько иным, более народным языком, отсылающим нас к мастерам аутентичной прозы XX-го, а то и XIX века. Интересно и то, что трактовки этой безо всяких сомнений странной главы разнятся сильнее всего.

Так, Борис В. в работе «Заливные луга: есть ли надежда?» пытается выявить основные мотивы главы, признавая, что она состоит из многих слоёв. Приведём его слова в нашем издании:

«Глава "Воробьиный лес" остаётся, на мой взгляд, самой загадочной. В ней чувствуется какая-то фатальная недосказанность, чрезмерное усложнение, похожее либо на гениальность, либо на помешательство. Как совершенно верно замечает автор, воробьи – городские птицы, попытка жить в лесу противна их природе, а потому подобный лес представить себе крайне сложно. И всё же, выживание любого живого существа в несвойственной ему среде есть не только подвиг, но и почти биологическая потребность. Разве не находим мы для себя совершенно ненужные испытания? И разве не становимся мы духовно богаче от того, что преодолеваем их, несмотря на все тяготы? В этом смысле полумифический воробьиный лес представляется огромным скитом, в котором послушники нового учения прячутся от внешнего мира, лишая себя множества удовольствий и удобств. И всё же, если мы сойдёмся на этой гипотезе, то потеряем из виду главное. Воробьиный лес – это ещё и гибельная мрачная чаща, в которую посторонним вход заказан. Дуализм ситуации в том, что и желающих не находится – противоестественность творящихся там вещей вызывает в людях отторжение. В попытке уничтожить непонятное люди пытаются выкорчевать лес, но быстрее лес выкорчует людей. При желании в этом можно усмотреть некую форму снобизма, изрядно мистифицированную, как и всё в книге. Вы не трогаете меня, а я в ответ не трогаю вас. Лес легко воспринимать как единый организм, обладающей собственной волей».

Крик во тьме ч. 1 *(декабрь, 2013)*

Она позвонила мне вчера в одиннадцать вечера. Я как раз заканчивал седьмую главу, которая получилась ещё более непонятной, чем все предыдущие. В голове кружились какие-то неясные

образы, я вылавливал их по одному и кроил полотно своей книги. Не думая ни о чём и ни о ком. Я уже давно не вспоминал о Карине. Да и о Кансер я почти не думал, хотя иногда сознание само возвращалось к ней, особенно к её страшным глазам. Но вместе с тем она стала устойчиво ассоциироваться и с мягкими прикосновениями, с холодной кожей, с поразительно правильными ногами.

Почти два месяца я не сталкивался ни с чем странным. Казалось бы, неудачи закончились. Словно пальцы Кансер что-то сделали со мной, как-то меня замаскировали, и я оказался спрятан от всех невзгод, которые должны были меня поджидать на этом тернистом пути. Я говорю штампами. Но извиняться не буду.

Я вообще перестал поддерживать связь с миром. И только её звонок словно вывел меня из анабиоза.

– Кансер не у вас? – спросила мама мёртвой девочки безо всяких приветствий.

– Нет.

– Если она с вами свяжется... – пробормотала она.

– Стойте. Что стряслось?

– Она пропала. Вчера взяла такси и куда-то уехала. Я думала, к вам.

– Она ко мне не приезжала.

– Странно. Ей больше некуда ехать. Ладно, до свидания.

Я сел на край кровати. Трубка какое-то время гудела, потом замолчала, и в комнату ворвалась тишина. Лютая, как снег за окном, холодная, злая. Но потом загудело уже у меня в голове. Дрожащими пальцами я достал сигарету и прикурил. Это была моя пятая пачка сигарет. Предыдущие четыре я умудрялся растягивать на неделю. Один раз выкурил подряд три сигареты, а потом блевал всем, что съел за день. Процесс не занял много времени. Но на этот раз никак не получалось накуриться. Первая сигарета превратилась в бумажную пружину в пепельнице, за ней – вторая, потом – третья. В мозгах нарастал шум, похожий на усиливающийся штормовой ветер. А вслед за ним туземцы заиграли в барабанные перепонки, или это сердце так громко и агрессивно сокращалось, что я почувствовал себя эпицентром извержения вулкана.

– Твою мать! – кажется, я крикнул только эти два слова. А потом телефон полетел в стену и разбился.

В этот момент словно обесточилась какая-то система в моём мозгу. Я ещё несколько часов пытался что-то из себя выдавить, но та лёгкость, с которой я работал, пропала. Я писал предложение, перечитывал его и сразу стирал. Где-то в городе, а может, и вне его, сейчас чем-то занята Кансер. Как всегда, загадочная и непредсказуемая. Куда ты поехала, мёртвая девочка? Куда ты вообще могла отправиться, ты же еле ходишь? Мне хотелось, чтобы сейчас вдруг раздался её голос, чтобы он успокоил меня, придал мне сил, помог вытащить из воздуха очередные два-три слова, с которых начнётся новая глава. Но в комнате было тихо. Мой внутренний голос неожиданно громко звучал в пространстве четырёх стен с уродливыми обоями.

Несколько месяцев назад, когда я ещё и не помышлял о том, чтобы писать ТАКОЙ роман, я закупил продуктов и несколько банок пива. Сейчас я с удивлением отметил, что меня к нему буквально-таки тянет. Достав одну банку с холодной полки, я улёгся на диван и уставился в потолок. Во мне что-то надломилось. Началась зима, роман написан где-то наполовину, Кансер пропала, а вместе с ней и уверенность в том, что я занят чем-то важным. Пиво приятно просачивалось через воспалённую гортань прямо в желудок.

Надо бросить всё. Какой же глупостью я тут занимаюсь. Вокруг живёт огромная Москва, творятся великие и малые дела, где-то открывают кафе, рожают детей, покупают новую машину, мои одноклассники спят с девчонками или уже воспитывают второго ребёнка. После этой мысли должна была последовать какая-то другая, начинающаяся с «но», увы, ход мыслей оборвался. Просто все мы разные, остудил меня мой рассудок, кто-то живёт так, а ты иначе.

А потом я услышал шлепок. Такой звук бывает, если шлёпнуть девчонку по заднице. Шлёп. Вот ещё один, где-то совсем рядом, за стеной. Я повернул голову и замер: за той стеной была моя

кухня. В МОЕЙ КВАРТИРЕ КТО-ТО БЫЛ. Кроме меня! И он не вошёл через дверь, потому что та закрыта на два замка, один из которых загоняет стальные стержни в стену на расстояние почти в двадцать сантиметров. Взлом я бы точно услышал. Но страшно не это, страшно то, что я живу на шестом этаже.

Чувство самосохранения включилось сиреной, в голове крутилась одна-единственная мысль: бежать, бежать, куда глаза глядят, на край света, быстро, как только можешь! Но куда сбежишь в десять вечера из собственной квартиры? Пытаясь унять дрожь, я подошёл к кухонной двери. Сквозь стекло было видно, как за ней клубится что-то страшное, ворочается, не находя себе места, кромешная темнота, какой не может быть даже в самую беззвёздную ночь где-нибудь в бушующей степи. Не стало окна, света фонарей, бликов металлических полочек, по ту сторону двери воцарилась немыслимая и невозможная глубина. Я словно заглядывал в омут, осознавая всю его животную мощь и полное отсутствие в нём разума. Взялся за ручку. Помедлил, практически прощаясь с жизнью, и лишь когда все ритуалы по поднятию боевого духа были соблюдены, вошёл, а точнее – погрузился в вязкую субстанцию, вытеснившую застоявшийся кухонный воздух.

Было тихо. Напрасно я пытался нащупать выключатель и напрасно мучил усталые глаза – здесь не было электричества и не было ни капли света. Только концентрат ночи, ещё не разбавленный ни одним случайно залетевшим в дом лучом.

– Кто здесь? – спросил я у темноты. Она молчала в ответ, желая проверить меня на прочность. Я ощутил, как что-то движется там, где должен был стоять стол, но сам не сдвинулся с места. Меня словно охватил паралич. Было страшно шевелиться.

– Можно я закурю? – раздался из темноты женский голос.

– Кто вы, чёрт возьми? – крикнул я.

– Не кричите, пожалуйста. Так можно?

– Курите.

Раздался скрежет зажигалки, но светлее не стало. Маленький язычок пламени лишь на секунду осветил женский силуэт и сразу погас, не дав мне рассмотреть ничего другого. Она сидела за столом, там же, где сидела до этого Карина, а чуть позже – Кансер. Мне даже на секунду показалось, что это мёртвая девочка как-то попала ко мне, но Кансер, конечно, не способна была устроить столь эффектного появления. Милая, живая, несмотря ни на что, она бы не приручила тьму, чтобы та охраняла её от посторонних глаз.

– Простите, что напугала вас, – сказала моя ночная гостья, – сама не знаю, как так получилось.

– Кто вы такая?

– О, я не знаю. Не могу знать. Меня вообще не должно тут быть, так же, как и где-либо ещё. Но всё же я сижу перед вами. Парадокс.

– Ничего не понимаю. Как мне надоели все эти загадки.

– Понимаю. Мне тоже, но я, к сожалению, понимаю ещё меньше. Почему я тут? Загадка. Может, вы знаете, как я тут оказалась?

– Ну, это уже за гранью...

– Ага, не знаете. Я так и думала.

Девушка помолчала, с наслаждением затягиваясь моими сигаретами. Я понял это по запаху.

– Простите, – я собрал волю в кулак, а сознание сконцентрировал на разрешении непростой ситуации. – Вы сидите на моей кухне. Наверное, в этом есть смысл.

– Может быть, – она отвечала медленно, как подобает настоящей леди. – Вы ведь пишете роман, я права?

– Откуда вы знаете?

– Прислушалась к этому дому. Ничего сложного.

– Ну да, ничего.

– Вы этого не можете? Не можете по тому, что видите вокруг, понять, что творится на самом деле?

– Да нет же! Я обычный человек.

– Странно. А я могу. Слушайте, как же вас угораздило заняться таким романом, если вы ничего не видите и не понимаете?

– Послушайте, можно я включу свет? Не могу разговаривать с темнотой.

– Не стоит. Да вы и не сможете. И всё же, не пытайтесь сделать это. На меня не надо смотреть. Это неприятно.

– Почему?

– Да хватит вам! Перед вами всё-таки девушка, ведите себя подобающим образом.

Я притих. Она не повышала голос, но я почувствовал, что какие-то действительно властные ноты проскочили в её сдержанной речи. И спорить с ней, как с темнотой вокруг, мне расхотелось.

– Итак. Я, живая, здесь, в квартире обычного писателя, пока неизвестного, но собирающегося опубликовать роман такой силы. Удивительно.

– Да что в нём, собственно, такого?

– Вы не понимаете ещё, что это. А может, и не поймёте. Я вам помогу немного. Время у меня, наверное, есть.

– Поможете?

– Ну, у вас же сегодня опустились руки. Кстати, совершенно зря. Так близко к развязке, а вы сдаётесь. Не по-мужски. Ну-ну, не заводитесь, я шучу. Как раз вполне присущая мужчинам черта – бояться того, что уже почти реализовано. Я возьму ещё одну? Так вот. Пока у нас есть время, я бы хотела вам подсказать тему для новой главы. Прошу вас, обязательно её напишите. В каком-то смысле это будет паролем к пониманию книги. Ну и, если угодно, мне будет приятно таким образом передать привет одному человеку. Согласны?

Что я мог ответить? Кивнул, и только.

– Так вот, слушайте. Вам пора отстраниться от всяческих историй. Настало время поговорить о механике. Что вы о ней знаете?

– Да, признаться, почти ничего. Школьный курс.

– Тоже неплохо. Но я говорю о несколько иной механике. Сложно сформулировать, особенно мне, у меня даже не мозг, а половинка мозга. И всё же. По большей части люди – совершенно хаотичные создания. Они мечутся туда-сюда, как-то живут, как-то выживают. Но есть такие... Давайте назовём их персонажами, потому что как минимум один из них совсем не человек. Так вот, они не совсем обычные. Нет, это не супергерои и не колдуны, точно не вампиры и так далее. Ничего подобного. Они, скорее, шестерёнки. Шестерёнки необходимы любому аппарату, чтобы функционировать. Я знаю как минимум двоих таких персонажей. И одного из них вы слышали.

– Козлоголосый! – догадался я.

– Он самый. На самом деле я понятия не имею, что он такое, но не человек – это очевидно. Хотя мне ли об этом говорить?

– Вы – второй такой человек?

– Я? – она залилась смехом. – Вы мне льстите. Ах, как жаль, что вы не понимаете. Насколько проще всё было бы, если бы вы были одним из них. Наверное, в том, что это не так, тоже есть какой-то смысл. Или мир сошёл с ума. Нет. Я вообще не знаю, как вам описать себя. Я могу лишь сказать, как я появилась.

– Как? – по моей коже словно пробежала ледяная арктическая волна.

– Просто когда-то давно одному мальчику было очень одиноко.

Я вдруг по голосу понял, что она улыбнулась.

– А теперь меня нет. И хорошо бы, чтобы и не было, а то вот так неожиданно оказываешься посреди чужой кухни, куришь хозяйские сигареты и пытаешься как-то заглушить боль в груди. Вы знаете, как болит сердце, когда не бьётся? Вроде биться нечему, а что-то там ноет, протяжно и дико. Хочется взять и разорвать себе грудь. Но это невозможно. Тогда пытаешься научиться забывать, и тоже не выходит, забывать умеете только вы, люди, а я не могу.

– Чего уж проще.

– Вам легко судить. А я вот не могу. Я сделала больно одному очень хорошему человеку. Не нарочно. Он снова остался один, и это будет настоящим испытанием. Наверное, поэтому я и пытаюсь передать ему привет через вашу книгу. Сделаете одолжение?

– Хорошо. Я вас понял. Что я должен сделать?

– Мне кажется, настало время ввести в повествование нового героя. Пусть его зовут Пересмешник. Когда-нибудь вы узнаете, почему именно так. Это тоже шестерёнка, но, в отличие от всех прочих, Пересмешник – деталь несменяемая. Боюсь, если её не станет, рассыплется на части весь механизм.

– Пересмешник... Это, кажется, такая птица?

– Птица, да. Пусть будет птица. Кто угодно.

Я схватился за стул и сел. Но чуть не промахнулся. Силы как-то совершенно неожиданно меня покинули.

– Бедный, бедный мальчик, – сказала моя невидимая собеседница. – Вы так устали.

– Есть немного.

– Силы вам всё же не занимать. Как же так получилось, что вы в это влезли? Хотя нет, не рассказывайте. Тут явно замешана женщина, – в её голосе послышались игривые нотки.

– Кансер.

– Кансер? Какое странное имя. Вы всё больше меня удивляете. В любом случае, милый, послушайте и запомните. Вас никто не может заставить что-то делать. И даже не делать заставить никто не может. Человек рождается свободным и таким же умирает, а уж как он ведёт себя между этими двумя моментами – его личное дело. Дойдя до края и почувствовав, что гибель близко, просто отложите всё. Окажется, я вам обещаю, обязательно окажется, что всё немного проще, чем вы думали.

– Спасибо.

– Не за что. Я прошу вас написать одну главу. Но не считайте, что я вас принуждаю. Если решите всё бросить, бросайте. Я не обижусь. И никто не обидится.

Она неожиданно умолкла. Мне почудилось некоторое напряжение.

– Неужели только ради этих слов я оказалась тут? Забавно. И как глупо. Кажется, вот мне и пора уходить.

– Почему?

– Время истекло. Слышите, как тикают часы? Как остервенело и яростно они отматывают по несколько секунд за одно мгновение? Время состоит из резины. Выйдите, пожалуйста, я не хочу, чтобы вы были здесь в этот момент.

И я вышел. Потом я пил пиво, застыв в тёмной комнате, потому что за стеной женский голос срывался на крик. Она кричала так громко, что у меня даже появились опасения, что кто-то из соседей вызовет полицию. Кажется, девушке было очень больно. Но я был спокоен. Происходит, видимо, то, что должно происходить. Когда всё затихло, я прошёл на кухню и убедился, что свет снова горит, а в моей квартире больше нет никого, кроме меня. И оставаться тут я не намеревался.

Крик во тьме ч. 2: не сжигай!

Я шёл сжигать роман.

Весело догорали фонари в лубянских переулках, на улицы улеглась особая предрассветная мгла, тяжёлая, как толстое ватное одеяло. Пугливые тени расступались, пропуская меня. Безликие, одинакового роста, они не были людьми, просто не могли оказаться ими. Эти наброски, как неудавшийся вариант шедевра, навсегда остались впечатанными в холст, погребёнными под слоем грунта и новой картины, но всё ещё живыми, видимыми только в самое тёмное время суток.

Спали квартиры и подъезды, спали воры и убийцы, спала полиция в своих отделениях, спали хулиганы в обезьянниках, спал кофе в аппарате и деньги в кассе, а они бодрствовали, не боясь встретить кого-то не того. Длинная серая процессия медленно шла вдоль стен, изредка останавливаясь или сбиваясь с ритма.

Я искал пустое место, но никак не мог его найти. Всюду ощущалось чьё-то присутствие, отовсюду в меня всматривались мёртвые и нелюбопытные глаза моих нечаянных спутников. Для того, что я хотел сделать, не подходили обычные лубянские закоулки, я панически жаждал остаться со стопкой листов наедине. Она уже изрядно намокла, но всё равно должна была хорошо гореть. Потому что рукописям суждено предаваться огню. Я практически спал наяву, видел сны о том, как горит и превращается в тончайшую чёрную плёнку труд последних нескольких месяцев, и вдруг с удивлением понял, что мне его не жаль.

Режь меня. Бей меня. Ешь меня. Пей меня.

Из каждого закутка на меня пялились во все глаза тени, больные пироманией. Они не просто хотели гибели романа, им нужен был огонь для каких-то собственных ритуалов. Пусть забирают! Не жалко ничего, лишь бы не говорить чужим языком. Лишь бы написать свой роман, с тем же названием, но совершенно иным содержанием. Пусть будет глупым, пусть станет оплёванным, пусть всегда лежит в столе, но пусть только будет моим! Пусть его герой, маленький мальчик, попадёт туда, где ничего и никого нет, где пустота будет ещё более назойливой, чем на необитаемом острове Робинзона, и вдруг поймёт то, чего не понимает его создатель. И необязательно описывать, что же он понял. Совсем не важно, где происходят события. Бесполезно знать, что будет с мальчиком потом. Главное, что иногда момент важнее вечности. Сиюминутное искупает или, может быть, даже делает осмысленной целую человеческую жизнь. Такой момент может превратить книжного червя в бесстрашного искателя приключений. И его жизнь пойдёт по совсем иному пути, который он сам себе когда-нибудь выберет. Уже за пределами книги, вне поля видимости.

Вы не знаете, какими будут последствия издания книги? Радуйтесь, её не издадут. Смейтесь, сатиры и черти, своим захлёбывающимся смехом! Может, я ничего не понял, но я остался собой. Я, как герой сказки, сцепился с колдуньей и теперь выйду из боя с ней победителем. Лишившись чего-то, но всё-таки живым и несломленным. Или это и есть поражение? Или это и есть пустота?

Один шаг, и рой белых мушек вокруг моей ноги. И вдруг – тишина. Я каким-то пятым чувством сквозь оглохшие уши воспринял близость реки, закованной в лёд, ощутил, как он трескается под вечным напором сил, из которых и состоит на самом деле весь мир. Здесь нет никого. Потому что мир не состоит из людей. Потому что песочница остаётся песочницей и в отсутствие играющих в ней детей. Потому что в мире ещё очень много загадочных мест и земляничных полян, не найденных ни одним стареющим рефлексирующим режиссёром. Здесь и будет костёр. Здесь и случится преступление. Детоубийство, это страшное деяние, отмеченное знаком романной пошлости. Мой единственный выход, единственное решение этой задачки, имеющей всего одну неизвестную и слишком много лишних условий, которые можно было бы изначально не закладывать.

Не сжигай!

Сквозь ветер и холод, сквозь мою болезненную глухоту отитного больного и нежелание что-либо слышать, кроме потрескивания горящей бумаги. Не сжигай – два слова, режущие как нож. Кансер стояла метрах в пяти от меня, сложив руки на груди, словно одной аккуратно поддерживала другую, и смотрела на меня большими умными глазами. Её плечи, покрытые каким-то лёгким платком, дрожали. Снова. Всё идёт по кругу, ничего не меняется и не изменится.

И всё же, не сжигай. Но зачем тебе этот ненужный роман? Зачем пытаться взорвать голодную до человеческого мяса бомбу?

Она стояла молча, и только губы её шевелились. Не сжигай. Не сжигай! НЕ СЖИГАЙ! Повторяла как заклинание, или оно звучало в моей голове? Не знаю. Режь меня, бей меня, ешь меня, пей меня, только не сжигай. Рука задрожала. Я никак не мог заставить её не дрожать, и от этого сделалось ещё хуже. Уверенности не стало. Достаточно чиркнуть зажигалкой, и листы займутся, и роман, мой единственный роман, который написала Кансер, будет уничтожен в мгновение ока. И всё это прекратится. Всё будет хорошо. И время, само время во всей своей жестокости и пустоте, возрадуется и подарит мне прозрачных алмазов из дальних пещер, которые уймут разочарование. Не о том ли говорил козлиный голос в трубке?

Этот роман некому читать. Я страдаю ни за что, пою чужую песню в пустоту небытия, куда ему суждено рухнуть с воздвигнутого Кансер пьедестала. Так-то, мёртвая девочка, он бесполезен, как и ты, как и я, писатель-неудачник, мечтавший сказать что-то от имени несуществующей прослойки. Кому интересны истории про богом забытые места, в которых НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ? Или про странных существ на стенах местных переулков? Разве кому-то важно, что помимо следствий существуют ещё и причины, и бесконечно тонкие ниточки связей между ними? Мы живём в мире следствий, а причины.... Да чёрт с ними, с причинами!

Рука налилась свинцом, отяжелела, непослушные пальцы истово вцепились в зажигалку. Щёлк. Короткий язычок пламени, как молодая нимфоманка, приготовился облизать намокшую бумагу и уже почти сделал это. Почти задымило. Кансер бросилась ко мне. Я думал, что она начнёт отбирать у меня роман, приготовился защищаться, но она не дотронулась до стопки, а рухнула на колени в кашицу снега и мелкого льда, вцепилась в мою ногу и прижалась к ней, как к последнему материальному объекту в этом мире теней.

Режь меня. Бей меня. Ешь меня. Пей меня. Детская считалочка-скороговорочка, бессмысленная и жуткая. Не сжигай, только не сжигай. Она мотала головой и всё крепче прижималась ко мне, так что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы удержаться на ногах. Кансер плакала. По её щекам катились слёзы, оставляя розоватые подтёки молодой крови. Я и не заметил, что зажигалка погасла от порыва ветра.

– Зачем он тебе? – закричал я, не боясь, что кто-то услышит.

– Не сжигай! Не сжигай! – как заклинание твердила Кансер.

– Кому он нужен? Я больше не могу, понимаешь? Не могу!

– Только не сжигай.

– Да зачем тебе он?

– Режь меня! Бей меня... – и так без конца.

Без конца, безо всякой надежды выйти за круг, комната без спасительной двери. И я подчинился. Словно прошло какое-то наваждение. Вдруг в ужасе осознав, что чуть не спалил дотла работу нескольких месяцев своей жизни, я вздрогнул. Этот маленький комочек плоти, Кансер, вот она, рядом. Она мне не привиделась, она действительно здесь. И я здесь. И наш роман у меня в руке, промокший, но переживший эту страшную ночь. Крик во тьме. Новая глава рождалась прямо сейчас, в моём больном сознании уже восставали из неслучившегося пепла арматурные конструкции её монолитного текста, лишённого монологов и практически не имеющего абзацев. Это невозможно будет читать, но кто-то будет с упорством ледокола рваться вперёд, пытаясь докопаться до самого главного, до того, что непонятно автору.

По земле повело позёмкой, и я зажмурился, потому что она постоянно норовила подняться выше и залепить мне глаза. В это мгновение я осознал, насколько устал. Сил хватило лишь на то, чтобы дойти под руку с Кансер до ближайшего круглосуточного кафе и плюхнуться на стул. Потом я отключился.

Где-то вдали солнце лениво потягивалось, игриво сбросив с себя тяжёлое одеяло снегородных туч. Небо просветлело, утреннее кафе начало наполняться менеджерами всех звеньев. Я поста-

рался взять себя в руки. Осмотрелся. Небольшой зал, бодрящий запах кофе в воздухе. Мы сидим в углу, укутанные в пледы, а перед нами разворачивается пейзаж скрытой от посторонних взглядов утренней жизни города. Лучше писать роман, подумал я вдруг, чем вот так работать, чтобы купить еды, а потом есть, чтобы были силы на работу. Уходить в темноте из дома и в темноте возвращаться домой. Все эти сотрудники офисов живут и даже не догадываются, что по ночам возле их домов гуляют тени их собственных отражений, уничтоженных когда-то одним неверным решением. Все эти неудавшиеся композиторы и балерины, художники с переломанными пальцами, не случившиеся учёные, не отцы и не матери нерождённых детей. Тени того, что могло бы быть, не сверни они однажды на сомнительную дорогу.

«Танцующие на крышах» – отличное название для главы, подумал я. Подняться над всей этой бездарной суетой, включиться в танец, рифмуя завывания ветра, и не останавливаться, пока силы не оставят твоё слабое тело. Это звучит недурно.

Передо мной – остывший кофе и небольшой сэндвич с ветчиной и сыром, приправленный салатом. Вкусное удовольствие за две сотни рублей. Из колонок льётся старый романс Вертинского, давно забытого большинством присутствующих здесь посетителей. Я подношу угощение ко рту и чувствую, насколько насыщенный у него вкус, какая сочная и свежая ветчина, какой влажный после мойки салат, приятный солёный сыр. В этом вкусе воплощается вся моя радость от того, что я и мой роман пережили эту ночь.

Кансер дремлет рядом. И никто из сотрудников не разбудил, хотя какой смысл им держать двух спящих усталых ночных путников, которые ничего не заказывают? Официанты проходят мимо и всем своим видом показывают, что они совсем не против нашего присутствия. И даже мёртвая девочка, которая так спокойно и умиротворённо дышит мне в шею, их не пугает. Она выглядит очень неплохо, только мешки под глазами выдают её усталость. В лице нет обычного напряжения. Рукой чувствую, как бьётся её сердце, с какими-то перерывами и всхлипами, но не так уж и громко.

Насколько редки у Кансер волосы! Они облепили её голову, как водоросли обхватывают днище деревянной лодочки на берегу туманной реки. Я касаюсь её лица, и она приоткрывает глаза. Под кожей начинают работать какие-то механизмы, и губы немного дёргаются, складываясь в милую улыбку.

Режь меня. Бей меня.

Разве я когда-то мог ударить эту девочку, кровоточащей раной зияющую на теле моей жизни? Закрываю глаза и представляю, как ещё мальчиком бреду по вечернему городу в одиночестве. Немного страшно, очень интересно. Воздух врывается в лёгкие, и он совсем другой, волнующий и выбивающий из тела сладкую дрожь предчувствий. Тогда у меня был вечер открытий, сегодня – ночь открытий. Всё как в первый раз.

Роман высох. Время собирать камни, пора заканчивать начатое. Я нахожу в телефоне номер и вызываю такси, запихивая последний кусочек сэндвича в рот. Кансер краем глаза глядит на меня, и, готов биться об заклад, ей нравится то, что она видит.

Луга, залитые надеждой *(примерно апрель, 2014)*

Мы бредём по бесконечному лугу, который вдоволь напитался талой водой и зазеленел, хотя до лета ещё очень долго. По крайней мере, по мнению моей миниатюрной спутницы. За те несколько месяцев, что мы не виделись, Кансер полностью облысела, и теперь на голове у неё красуется кургузый парик её матери. Её походка напоминает движения инопланетянина. Она делает шаг, осторожно, чтобы не поранить ноги, едва заметно покачивается от ставшей уже обыденно-

стью усталости, пытается дышать полной грудью, если в ней ещё осталось, чем дышать и куда вмещать эту громадину бесцветного газа. Маленькая, худенькая, кажется, что она пришла не из этого мира. Даже трава здесь сочная, сильная, а Кансер больше похожа на осеннюю веточку, которую можно сломать одним небольшим усилием. Я зажмуриваюсь навстречу весеннему солнцу и на мгновение сам начинаю верить, что рядом со мной совсем не человек, а залетевший из другого мира гость, который вот-вот отправится обратно, унося с собой частичку меня, памятные фотографии тех мест, где ему довелось побывать, подарки от новых друзей.

Вокруг резвится молодая природа. Тяжёлая зима ушла безвозвратно, и вакантное место досталось этой юной ветренице. Где-то в венах тоскливо ноет кровь. Иногда хочется порвать себе жилы, чтобы не ощущать этого надсадного весеннего зуда, он может свести с ума любого, кто на минуту остановит свой бесконечный бег. Мой бег ещё не остановлен: роман почти закончен, не хватает лишь какого-то эпилога, финальной точки, подводящей итог всему бессвязному диалогу с самим собой. Я хочу поговорить об этом с Кансер, но она занята. Она вслушивается в своё тело. Не хочется мешать ей. Наверное, всё вокруг сейчас кажется ей совершенно необычным.

Я останавливаюсь и закуриваю, следя за тем, чтобы моя спутница не дышала табачным дымом. За эту зиму я накрепко пристрастился к новому наркотику для мозга и теперь уже, скорее всего, не слезу с него никогда. Впрочем, это не слишком важно. В голове проясняется, и воображение начинает рисовать мне удивительные картины, которых нет. Вот он, эпилог, сам пришёл на ум, когда я его не звал. Босые ноги ступают по влажной холодной земле, и травы, извиваясь змеями, щекочут уже забывшую это сладкое ощущение кожу. Горит яркий фонарь солнца. Горит и будет гореть тогда, когда нас не станет. Так ли уж важно, когда умирать, если лампочки хватит ещё на тысячи тысяч лет? По сравнению с этим сроком даже самая долгая жизнь – лишь секундная вспышка, которую застывший в вечности наблюдатель, скорее всего, прозевал.

Кансер стоит с закрытыми глазами и дышит. Её спина практически выпрямилась, она почти нормальная, хотя это только видимость. Я обнимаю её за плечи и чувствую, как её тело покидает чудовищное напряжение, какого не бывает у обычного человека. Она не боится смерти, это я понял с самого начала. Она не боится того, что встретит её за гранью, потому что она там уже бывала. Но она боится этих объятий, потому что может оказаться, что ей ещё есть что терять. И тогда вся конструкция, построенная ею, рассыплется как банальный карточный домик. Её мир трещит по швам. Но она не пытается отстраниться, наверное, есть в нас что-то общее, что не даёт ей избавиться от меня, как от обязательной в любом деле погрешности. Я впервые почти физически ощущаю, что Кансер – вовсе не маленькая девочка, она почти моя ровесница, просто внешне совсем не похожа на моих одногодок. На два-три года младше, а какая между нами пропасть! Мне когда-то ещё предстоит, если предстоит вообще, познать всё то, что она поняла и приняла как единственно верную картину мира. То, что для меня пока теория, для неё – реальность.

В нас есть что-то общее. Мы оба стоим босиком на влажной земле, и её тонкие ноги слегка касаются моих. Она откидывает голову назад и закрывает глаза, примостив затылок мне на грудь. И улыбается. Она умеет улыбаться. У неё это получается даже красивее, чем танец, который хоть и пугает меня до безумия, но всё-таки чертовски хорош. В этой совершенно лёгкой улыбке мне чудятся ответы на все мои вопросы, ответы того, кто видел всё, кто знает всё, но НИКОГДА НЕ СКАЖЕТ, потому что ты должен до всего дойти сам. Но если она может так улыбаться, значит, ответы не такие уж и страшные, и от этого мне самому становится лучше.

Я оглядываюсь назад, вспоминаю всё, что произошло за последний год, пытаюсь как-то объять всё в едином порыве, но у меня не получается. Какая-то глупость, череда бессмысленных событий. Вот мой роман окончен. Кому он может помешать? Что такого он может сказать миру? Один за другим проходят перед глазами слайды: вот напротив меня стоит обнажённая Карина. Вот я глупо смотрю в телефонную трубку, которая против всех законов физики работает и транс-

лирует козлиный голос. А вот я разбиваю эту трубку, когда мне говорят, что Кансер пропала, а потом бреду по ночному городу, долго, несколько часов, и в ночной закусочной ем вкусный бутерброд с ветчиной и сыром. И зачем всё это? Просто для того, чтобы этот день никогда не настал, кажется мне. Просто что-то хотело, чтобы не было лугов, залитых надеждой.

– Не волнуйся, – сказала Кансер, вдруг открыв глаза, – всё позади. Теперь всё будет хорошо.

– Я не волнуюсь. Просто не могу понять, зачем всё это было нужно.

– Когда-нибудь поймёшь. И сожжёшь свои дневники и записи. Потому что все твои метания, все твои страдания прекратятся. Просто не волнуйся. Завтра ты вступишь в совершенно новую жизнь, в которой уже не будет места непонятному, загадочному, страшному.

– Ты знаешь, что мне тогда сказал этот, козлоголосый?

– Конечно, знаю. Я не использовала тебя и никогда бы не стала этого делать. Этот роман должен был быть написан. Не потому, что так хочу я, а потому, что так хотел ты сам. Как ты его назвал?

– Луга, залитые надеждой.

– Луга, залитые надеждой, – вдруг нараспев повторила Кансер. – Мне нравится. Отлично звучит. Это намного лучше, чем та дурацкая рыба, с которой всё началось, не находишь?

– Пожалуй.

– Скажи, тебе было очень трудно? – она понизила голос и произнесла это почти шёпотом.

– Да нет, не особо. Только один момент, когда ты пропала.... Я тогда совершенно не знал, что мне делать. Навалилось какое-то идиотское состояние апатии. Не мог думать вообще. В результате я написал «Одинокий крик в ночи». Ты не хочешь прочитать книгу?

– Я знаю её наизусть, – отозвалась Кансер и повернулась ко мне лицом. – Ты так и не понял? Я знала её с самого начала, каждую страницу, каждое слово. Знаю даже то, как она изменится после того, как ты закончишь вносить в неё правки. Я залезла в твой сейф. Когда ты спал рядом, я вскрыла замки, прислушавшись к твоему дыханию, почувствовав твоё сердцебиение. Так что твой роман я уже читала. Он прекрасен.

– Он страшен.

– В страшном тоже очень много прекрасного. Спасибо тебе за него.

Она положила мне руки на плечи и вдруг странно вгляделась в глаза. Я инстинктивно отшатнулся, ожидая, что сейчас опять почувствую холодную сталь у висков, но ничего не случилось. Её глаза были почти человеческими. Почти живыми. Её руки оказались неожиданно тёплыми. Она резко, не слишком умело приникла к моим губам, словно впечатывая себя в мою болезненную память, и в этот момент мне захотелось плакать. Я закрыл глаза и представил, как волны лижут поросшие осокой берега, как деревянная лодка рыбака неспешно и со скрипом ползёт по речной глади, как выпрыгивают из воды любопытные рыбы, которые не умеют жить в мире вне своей единственной и неповторимой реки. Где-то на горизонте вставала огромная монолитная стена тумана. В нём живёт тот, кого я обещал вставить в произведение тому призраку у себя на кухне.

Кажется, прошла не одна минута. У меня сбилось дыхание, я попытался отстраниться, но Кансер не позволила мне этого сделать. Её руки неожиданно сильно сжали мою шею, и мне пришлось вдыхать через нос. И только тогда я почувствовал во рту вкус её крови: словно лизнул металлическое ребро качелей в сильный мороз. И я заплакал.

Впервые за многие годы по моим щекам катились настоящие слёзы. Мне не было больно, обидно, страшно, я даже не мог понять, почему это происходит, но слёзы текли и текли, не жалея меня и Кансер. А она продолжала прижиматься ко мне, панически нашаривая языком у меня во рту мой язык. Её глаза были крепко-крепко зажмурены. Каждое её движение, её дрожь, её сбивчивое и очень тихое дыхание – всё это, кажется, я запомню на всю жизнь.

Завтра всё изменится. Возможно, я стану другим человеком. Но сегодня я такой. Пока ещё бремя романа до конца не исчезло, я провожаю его, как провожают на войну любимого брата, ребёнка, отца. Как бы странно и страшно ни прошёл этот год, он дал мне многое, наверное, сформировал меня заново. Пусть с опозданием, пусть таким необычным способом, это совсем неважно. А ещё он дал мне этот поцелуй, настолько долгий, что можно потерять сознание.

Надпись на обложке

Через несколько недель я получил по почте открытку. Она оказалась нещадно смятой, словно ею играли в сокс. На открытке было написано дрожащим почерком:

Ну вот всё и закончилось. Отдышись, отдохни, приди в себя – нового себя. И будь счастлив. Ты это заслужил.

До встречи!

Я очень долго всматривался в рисунок, и чем дольше я на него глядел, тем отчётливее проступала в нём знакомая до боли картина. Сарай на берегу реки, бесконечный луг, сумерки, и в нахлынувшем на мир тумане различимы две одинокие человеческие фигуры, в молчании сидящие на маленьком мостике.

Сергей ТРУНЕВ

***

странно бывает порой, когда
как бы внезапно, а, смотришь, нет
жизнь улыбнется, поймает ритм
легкой пушинкой фьють

и закружилась, пошла волчком
с первой затяжки мозги в желе
вроде бы юность вернулась, ах
старый дурак, уймись

птичьими трелями полон дом
медом сочится на кухне кран
даже стекло преломляет свет
только лишь попроси

в розовом сумраке тает звук
на подоконнике дремлет кот
раз-два-три, девочка, будь смелей
не пропусти медляк

04.05.14

***

куриный гриль четвертой (задней) части
передними руками разломить
впиваясь в мясо, брызжущее соком
лаваш ноздрястый притопить проворно
в убогой склянке, где чеснок и травы
любовно смешаны с клетчаткой помидоров
мерло и взрыв, а дальше будь что будет
ужели не пойдем мы, дорогая

Сергей Трунев родился в 1973 году в Саратове. Доктор философских наук, преподает в СГТУ. Литературный редактор альманаха «Дирижабль» (Н.Новгород). Книга стихотворений «Боковая линия» (2004). Статьи и стихи публиковались в журналах «Воздух», «Урал», «Дети Ра», альманахах «Сальто-мортале», «Мышь во фраке», «Василиск», в антологиях «Время Ч: Стихи о Чечне и не только», «Русские стихи 1950–2000 годов» и др. Постоянный автор журнала «Волга».

на прелести заката любоваться
бессовестно, как могут только люди
уже давно привыкшие к словам
изрядно позабывшие молчанье...

мне надоело корчиться под взглядом
буравчиков твоих фальшивых глаз
прозрачных, как березовая роща
в дни осени, когда шлафрок отброшен
но плед еще скрывает наготу
не нужно слов, уже молчи, плутовка
душистое мерло щекочет ноздри
и тело млеет как на вертеле
куриный гриль четвертой (задней) части
чья голова в диковинном раю
не ведает кривых людских тропинок
но сожалеет участи пернатых

29.01.14

***

неловко атавизму мезозоя
брести среди покрытосеменных
колеблющихся, зыбких, ненадежных
бескрайних трав, среди стрекоз и мошек
идущих в пищу крошечным зверькам
и не с кем перемолвиться рычаньем
лишь эхо в недрах каменных ущелий
еще хранит хрипенье торжества
над распростертым телом бронтозавра
и гаснет, гаснет в хрусте позвонков

апатию порой сменяет ужас
но ненадолго, ибо солнце мира
давно испепелило роговицы
а нервная система примитивна

***

кофейный кипяток
корицей оживи
заешь яйцо-пашот
лоснящимся крутоном

и в сад, резвей, дружок
там свищут соловьи
топырит артишок
и тужатся бутоны

я старый сибарит
заброшенный в приют
сиротских щей всосав
не чту начальство раком
душа моя творит
покуда в ней живут
и дикий брат исав
и кроткий брат иаков

все встало на места
заблудшего не жаль
медали и плевки
найдут иных героев
а я сорву с куста
горящую скрижаль
и не подам руки
и сердца не открою

04.10.13

***

не прилетают ангелы: что ж их не стало больше
перестреляли в сезон все утешенья наши
а голова горит, как в тридцать девятом польша
опытом, что никем, ни для кого не нажит

ибо те, кто имел его, уже давно позабыты
те, кому бы не прочь, дрочат, слюня порнуху
все, что имело место, сжато до мегабита
лишь иногда сквозное с днит около уха

не прилетят они на бересклет росистый
зря ты с утра встаешь, годы жалел бы хоть-то
или лелеешь блажь, будто опять родишься
в мира вникая гул незаживленной плотью

17.05.13

***

Наташе Труневой

а вы опять как сорные индейки
схватились чуть не насмерть средь двора
какие лепестки, какие перья
и камушек с волнительным отливом
как будто руны древних заключает
но лишь тогда, когда луна во тьме
ворует свой зеленоватый отсвет
у ветхих склепов старого аббатства

не надо,
не ходите,
ни к чему

их коготки, чарующие кошек
способны ваши души укротить
а пламени, колеблющему вечность
не вашей пестрой шкуркой обольщаться
вы девочки, но вы не королевы

а посему
пойдите
по домам

Ольга ДЕРНОВА

***

Явится Август, чуть полноватый в талии,
в сладких плодах, на солнечных костылях:
«Где твои незабвенные маргиналии?»
Где, говоришь? У Тацита на полях.

Кровь на чужбине падала на торфяники,
так на поля ложился и мой графит.
Вдруг подвернётся памятка о Германике:
всё позабылось намертво – кем убит?

Память моя, навязчивая и куцая,
в жёлтый закат впаяла его полки...
Лучше давай про Юния и Кремуция,
тоже довольно славные дураки.

***

Быть сахаром, пропитанным слезами,
глядеть на мир горячими глазами,
давать его примерный перевод.
Ни перед кем не падать на живот.

Плевать на то, что молодость уходит!
На то, что ноги судорогой сводит
и каждодневно ноет голова.
Растёкся липкий жар по нашим темам.
Пусть жаворонок будет нам тотемом
и хищница сова.

Так шебутно, так весело порой,
как будто дух, собою оглушённый,
стоит во мне, как куст разворошённый
в саду, ограбленном жарой.

Ольга Дернова родилась в 1979 году в Москве. Закончила Московский государственный педагогический университет. Работает в справочно-библиографическом отделе Исторической библиотеки. Публиковалась в журналах «Волга», «Воздух», «Российский Колокол». Финалист «Илья-премии» (2008). Автор книги стихов «Человец» (2013).

***

Следы пришельцев с бульвара –
родная галиматья:
два сапога пара,
два сапога дождя.
Пахнет свежим и мокрым,
набухают листы.
Проскрипело по окнам
ситечко темноты.
Полуночник-снусмумрик
выдумал невзначай:
охлаждает о сумрак
свой горячечный чай.
В рецепте – чистая тара,
вполнакала дуга.
Два сапога пара.
Заварки полсапога.

***

О миф о потопе, я знаю, зачем ты возник:
погонщиков или возниц полутёмный язык
дождей не вмещал; не вмещали их двери и окна.
А почва тем временем всё размывалась и мокла.

И призраки всех погребённых в былые века
в скупых отложениях глины и щедрых - песка
(одни - тяжелы и степенны, другие - проворны)
в людские жилища стремились, как тёплые волны.

Попарно они возникали в проёме дверей.
И звери-отцы опекали зверей-матерей.
Тепло сберегая, никто из бегущих не вымок,
лишь редкие брызги с ушей и хвостов нелюдимок.

Возница, погонщик, хозяева спали среди
ветвистых рогов, у невидимой тёплой груди:
приблудные души впритык прилегли на полу для
обмена теплом, как мираж золотого полудня.

Когда же полопались путы и ливень ослаб,
волшебный зверинец развеялся в воздухе пегом.
Но комната долго баюкала ржанье и храп.
И пахла ковчегом.

***

В окне – не лес, не север, но такая
всепоглощающая синева,
как будто мир вот-вот сорвётся с края
(но в пасти рва полуседая
догрезит голова).

В окне – такие голубые бельма,
как будто мир действительно ослеп
и за далёким эхом колыбельной
пускается вослед.

И оттого, что все вокруг незрячи,
что всё плывёт и раздаётся вширь,
так безнадёжно на соседней даче
скулит собака-поводырь.

Руслан КОМАДЕЙ

***

рыбы в потёмках ветрены но скуласты
заморозь года сходится на потом
отроки виснут десницами и от лязга
в лужах накапливается потолок

корни отцов лоснящихся по округе
горе по локоть – заговор напрямик
скрипом измазанные как руки
и самодельны колики горемык

падалью свёртываются через тени
вдоволью не зажиточные кроты
щель проворачивается но пустеет
рыба ребёнка ловит из темноты.

***

перелом посевного ума
пеленою мешает шаги
в кружевах проливных – это мать
помоги наяву угодить

перепахан костёр из руки
очумелое облако спит
угловатая осень вредит
и узлами взаимно рябит

а напрасны – лица полынья
одинокой длины голоса
где не видно дымов где меня
можно спрятать в глаза за глаза.

Руслан Комадей родился в 1990 году на Камчатке, вырос в Челябинске и Нижнем Тагиле. Воспитанник литературной студии «Миръ» (руководитель Евгений Туренко). Учится в Уральском государственном университете на филологическом факультете. Публиковался в журналах «Воздух», «Гвидеон», «Вещь», «Урал», «Транзит-Урал», альманахе «Предчувствие света» (Нижний Тагил, 2007), альманахе «Голос» (Нижний Тагил, 2009). Автор книг стихов «Письма к Марине» (2007) и «Стекло» (2012). Лауреат I регионального фестиваля литературных объединений «Глубина». Живет в Екатеринбурге.

***

Спи безмятежно и оптом
то есть не слышно ни снега
что ты моргаешь по окнам
и подражаешь предметам

влажным а то не наружным
заполночь вне оборота
голос примерно разрушен
и без заботы суббота

вянет в отверстии снега
что за слепая отмычка
не замыкайся как небо
это плохая привычка.

Следы цвета

*
удержи увядание
за ветвь света
скошенную
как ни туда
трава перелётна
и зрение безответно.

*
у нас навсегда
заживают дети
кубики окон
машинальный снег
не хочу повториться
а ты уже нет.

*
горе займёт
пыль минут
ни места
центральный взгляд
опять передвинут
вовнутрь.

*
дитя половины дня
невидно
а там где даль
пятна
и клювы цифр
похожих на клювы.

Ален БЕШИЧ

Из книги «ГОЛОЕ СЕРДЦЕ»

Перевод с сербского Мирьяны Петрович и Андрея Сен-Сенькова при участии Анны Ростокиной

1.
полдень

Следишь за тем, кому о себе расскажешь и кто будет свидетельствовать
о тебе. Ибо, с каждым словом, которое перетекает в другого, тебя
становится все меньше. Предчувствуешь, как во тьме холодных
комнат расслаиваются слова забытой летописи. Прячешь образы,
как семена экзотических растений, терпеливо ожидая, когда они
превратятся в гербарий. Призрачный и одинокий,
выпиваешь запотевший бокал рислинга и думаешь, что настоящая
поэзия вероятнее всего пребывает в простоте вещей, которая тебе
неподвластна: в насущном куске хлеба на столе,
в завораживающей банальности тарелки с маслинами, в тепле
каменной скамейки, на которую опускаешь ладонь. Внезапно –
полдень. И правда, как не завидовать глазам, с их прозрачной
благой вестью, с синевой, вырезающей контур колокольни,
где позже накопится тишина? Стая голубей, как
черное созвездие, дикой спиралью убегает от взгляда, сознания,
памяти. От страха выпущенный серебристый воздушный шарик
отправляется вниз по агонии отголосков.
Вздрагивает тихая тень солнечных часов.

2.
спуск

Вздрагивает безголосая тень солнечных часов. Тайком
покидаешь дом из-за чего-то более загадочного, чем
недостаток вдохновения. Может, это невыносимый
стыд, всегда разрывающий тебя на куски, когда
решаешь прокричать друзьям свои стихи через дорогу.
Или что-то земное, скажем, обычный голод. Как
насекомое своими усиками, осторожно ощупываешь мир
взглядом, слегка касаясь равнодушного

Ален Бешич родился в 1975 году в Боснии. Живет в г. Нови Сад (Сербия). Автор пяти книг поэзии и эссе. Переводчик с английского.

горизонта. На мгновение, закрыв за собой дверь, забываешь
исчерпанный образ, по которому продолжаешь скудно ткать:
прошедшее лето, спелый день, равновесие элементов, отсутствие моря,
чьи синие атомы, нанесенные ветерком через занавес времени,
растворяются в голове в ритме дыхания, оставляя за собой
треснувшую скорлупу желания, гальку нескольких пережитых
любовей, бескровную поэзию, жаждущую *солнца позднего,
драгоценного познания*. Спускаешься на пустую отмель и,
будто делая это впервые, переворачиваешь в ладони
ракушку, откусываешь инжир, снимаешь обувь.

3.
золотое сечение

Переворачиваешь в ладони ракушку, откусываешь инжир, снимаешь
обувь. Но серое, тоскливое море стирает твои следы на песке, смывает
надломленные окружности этих миллиметровых странствий от
комнаты до пляжа, от письма до тела, от себя до себя. От меня до тебя.
Кипарисы сгорают в канун ночи Ивана Купалы. Раздирающий ослиный рев
сотрясает мутные звезды, пока меркнет последний
пульс света. Плачешь на этом знакомом берегу, но не потому, что мир
выглядит мягче и ближе сквозь перепонки слез, а потому что одна
строчка, с которой кто-то обратился к тебе несколько столетий
назад, сегодня наконец-то нашла тебя: *давно я в тебе расположился и
долго мне в тебе лежать* – сквозь бархат мха сверкнула эпитафия на
сломанном надгробии, горит послание мертвых, шепот камня, голоса
без образов. Ты полностью обездвижен в эту слишком короткую ночь,
пока ищешь золотое сечение слов, которое не расцарапает
небо горящей стрелой, отменив логикой геометрию падения, а
всего лишь черепашьим шагом выйдет из забвения, из сна,
вынырнет из бескрайнего океана времени и
тихо свернется в клубок в чьем-то уставшем сердце.

4.
антимарина I

«Тихо свернется в клубок в чьем-то уставшем сердце»,
записываешь, медленно отодвигая лицо от кривого
зеркала. Рассеивается тайна узнавания и,
как прилив, вдоль позвоночника ползет пустота.
Где-то по ту сторону письма, там, где непроизносимое,
чувствуешь - опять даже не коснулся главного. У
открытого окна ласкаешь буссоль, пока из телевизора
доносится шум волн, крики чаек, суета
олуши. Неискусный в плавании, в движении судов, в вязании
морских узлов, ты - фальсификатор бессмысленных судовых
дневников. *Море вокруг нас, но комната внутри*, наподобие
тромба-убийцы, эта мысль блуждает по дельтам твоего кровообращения,

проклятый корабль-призрак, потерянный во фьордах под раскаленными
висками. Сошла с ума магнитная стрелка. В тумане
чувствуешь боком прикосновение айсберга. Да, внутри появляется
тонкая, как волосок, трещинка, через которую в тебя прорвется
соленая вода. Потрескивает паркет за твоей спиной, это
на цыпочках крадется ежедневное ничто.

5.
из тьмы детства

На цыпочках крадется ежедневное ничто.
Песочные часы на столе кажутся аритмичным сердцем, в узком
горлышке искривляется время. Ужасает идея о
двойнике, о зеркалах, помнящих отражения, о трате
слов. Мягким безумием, священной болезнью каких-то
хрупких фигур, утонувших в синих сумерках
в тяжелых осенних пальто, тебя не благословили; может иногда,
лишь смутным, нарождающимся гулом под кожей: медлительным
волнением гекзаметра (только в колыхании растаявшего серебра
Средиземноморья можно обрести смысл),
или полым эхом псалмов, этих бездн тщеславия и страха,
которые, подобно мертвым птицам, падают на землю. В саду, возле
мисочек с молоком, собираются запыхавшиеся ежи.
Из тьмы детства всплывают на поверхность опилки
от стиха: *...вне дороги, пути... день-деньской ходи-броди...* и сверлят
плоть с настойчивостью тупого гарпуна. Сон про дом, возвращение,
постель под пнем или на пне. При лунном свете
кроты выходят из холмиков, моргают звездными глазами.

6.
уклонение

Кроты выходят из холмиков, моргают звездными глазами.
Близорукий, вонзаешь ногти в землю, месишь тесто для хлебцев из
грязи: слова никогда так не податливы. И сколько угодно
три веки, вглядывайся, одуванчик так и останется
всего лишь одуванчиком, не больше и не меньше, не каким-то
малюсеньким солнцем, теплящимся в траве, и не желтой дымкой,
которая заученным алгоритмом памяти проявится
звездой Давида на рукаве худощавого мальчишки.
Огромную радость приносит эта обманчивая выдержанность
пейзажа, передышка вещей, с таким трудом приученных, из суматохи
выведенных к дословности. Срываешь целую горсть - хрустят
молодые, понятные стебли; подчиняясь прикосновению, закрываешь
глаза от восторга, но мир под пальцами начинает стремительно
уклоняться: больше не различаешь во тьме, чем запачканы
руки - молочаем или кровью. Падаешь сквозь микронные
пустоты между фактами, нехотя минуя кромку письма,

к которому упорно стремишься: меланхолией
раскаленные окаменелости действительности в самом начале распыления.

7.
в ауре лампы

Раскаленные окаменелости действительности в самом начале распыления,
все из мелких озарений, из свернувшейся вечности,
которая, случившись, обрушилась в мгновение ока. Эта мгновенная
податливость видения застилает нервы смиренностью; потоки фотонов
разбиваются вдребезги о сетчатку и с легкостью гаснут до того,
как ты успеваешь сжать их в имя, отпечатать в пыли глаголов и
существительных. Неиспользованный свет не исчезает, оседает
в каталоги теней в твоих капиллярах, которые перебираешь
во время поста, бессонницы, голода. *Может быть, это способ
запомнить красоту*, а может всего лишь инструкция как вырасти из лета,
разоблачить море, оставшись невосприимчивым к жалу надежды. Утихло
желание путешествовать, противны и чрезмерны сирены кораблей
в тумане, как тяжелый запах опавшей шелковицы душными вечерами июля.
У тебя на плечах демоны подобий сидят на корточках и переговариваются через
уши. Их голоса не соприкасаются, нежно скользят один вдоль другого,
искаженное уравнение связывает в свободные узлы картины,
запахи, звуки, а колебание продолжается. За столом,
в ауре лампы, распустился прекрасный, жестокий цветок: сомнение.

8.
точный угол

В ауре лампы распустился прекрасный, жестокий цветок:
сомнение. С узловатыми, подвижными жилками, что пробивают себе
путь сквозь ил подсознания, словно жирные личинки, замершие в зимней
спячке, пребывающие в покое культей прочитанного, искаженные
формы чужих бессонниц. Неуверенной рукой вдоль полей
строфы подвешиваешь незаметный отвес. Срезать бы под точным
углом плоскость серьёзности и кривую страсти, построив
рыхлую крепостную стену, на которой двусмысленность, вместо моря,
вырисовывает соленые зубцы. Согнувшись над рукописью, как над
шахматной доской, как же выбрать из необъятного числа вариантов
один головокружительный, всеобъемлющий, который даже
случайно предугадает всю бурную геометрию причины и
следствия до конечного результата? Когда в недоумении замрет рука,
которая придерживает оба запутанных конца, близкие и одновременно
недосягаемые, размораживающие ее слова: *не погружай стихи глубоко
в платаны, корми их землей и скалой, которые у тебя есть.* И откуда-то опять
ясный звук мандолины, под нёбом, в оболочке гласных крошится гравий,
сардины весело шипят на углях, пока их души распыляет розмарин.

9.
остров

Сардины весело шипят на углях, пока их души распыляет розмарин.
Сидишь на пороге, с угасшими чувствами, которые соль и солнце
разъели, словно ветхую рыбацкую сеть, улавливаешь наугад
отблески мира. Огромное пространство таится в симметрии существования,
в преданности кожи горячим камням, неслышной работе желез
в пустотах тела, обрамленного дверным косяком. Слушаешь вой
с окрестных холмов. Этот демонический лай бирюков, приводящий
деревенских собак в исступление, представляет собой хоровой плач над
потерянным родным краем, отпевание померкнувшего дня, исходящее из
бездны звериных легких. А ведь ещё вчера ты думал, что бирюк –
это какая-то птица, всего лишь звуковое пятно в словаре
островитян, чьи каденции убаюкивают тебя во время медленных полдней
в беседке из винограда. Вот уже целое лето понемногу, горстками,
скупаешь у прижимистых местных жителей кусочки складной картинки языка:
пегула[1], линцун[2], роё...[3] Между тем эти сочные слова разят из твоего горла
пустотой и гнилой рыбой, из-за которой не ссорятся даже
прожорливые чайки. Ты - узник острова, чужой. Запрокинув голову и
онемев, зеваешь при луне, не желая допрыгать до опушки леса.
Вместо теней олив и терновника, исчезаешь в тени присужденной тебе комнаты.

10.
читая ницше

Вместо олив и терновника, исчезаешь в тени присужденной
тебе комнаты. Лоснящийся свет керосиновой лампы стирает
грани предметов, размазывает материю, создавая необозримые
формы цвета сепии, цвета засохшей крови. Смотрю на тебя,
уставшего от этих тусклых призраков, как сквозь исцарапанный
негатив: листаешь потрепанную книгу и, кто знает, в какой раз
терпеливо исследуешь трясину трепещущей поверхности
текста; нигде надежной опоры, чтобы бросить якорь оцепеневшему эго.
Вдруг останавливаешься, улыбаешься, когда учитель, сравнивая
поэтов с твердыми ракушками, исполнен отвращения и дорисовывает
волнующий образ: *А вместо души я часто находил в них соленую слизь!*
Представляешь себе нежный росток безумия, который сверкал в пышных
клумбах его мозговых извилин, необходимое усилие для того, чтобы на
бумаге всегда вырисовывалась живая рана, теплая роза с кровавыми лепестками.
В вечной пляске созидания и исчезновения жизнь, может быть, всего лишь
невыносимый предрассудок, испорченная пластинка, крутящаяся впустую,
повторяющая одну и ту же трогательную фразу. Чувствуешь, что речь идет о нас,
о тебе, прозрачном следе слюны, лимфы и затхлого моря.

[1] Пегула - несчастье (полуостров Пелешац)
[2] Линцун - простыня (полуостров Пелешац)
[3] Роё - родня (полуостров Пелешац)

11.
о тебе

О тебе, прозрачном следе слюны, лимфы и затхлого моря;
о тебе, которого скорее нет, чем есть, да и когда ты есть, тебя словно нет;
о тебе, потерянном, искомом, предугаданном и упущенном;
о тебе, безымянном призраке, проживающем в эмульсии всех зеркал;
о тебе, которого призываю из пустоты в пустоту, из любви в любовь;
о тебе, тончайшей катаракте, покрывающей мир, реальность, жизнь;
о тебе, которого чувствую, как молниеносную боль в хиазме зрительного нерва;
о тебе, который своим отсутствием погружает меня в сомнение *а являемся ли мы сами фигурами, разделенными чьим-то взглядом?*
о тебе, которому ежедневно заново признаюсь, что не знаю,
личности ли мы вообще или же мы мертвые углы;
о тебе, который бесполезнее огрызка яблока, засохших водорослей и тех пластмассовых бутылок, что волны лениво катают на мели городского пляжа;
о тебе, к которому стремлюсь и который мне не приятен, когда, словно пинцетом, осторожно приподнимаю ломкие слои яви, чтобы наконец-то убрать оболочку двусмысленности с твоего чистого имени, а язык мой дрожит от какого-то врожденного страха; Я и *Ты* не сообщающиеся сосуды двух местоимений,
а змеиная кожа, которую, вырастая, стираем о скалы, чтобы ее унес мистраль.

12.
голод

А змеиная кожа, которую, вырастая, стираем о скалы, чтобы
ее унес мистраль, всего лишь оправдание, которое слабее
дыхания растений. И, видимо, ты никогда не поймешь, как из
мутной каши и грязных сплавов, которые с грохотом проносятся
в твоем теле, получить унцию прозрачной эмоции, выверенную
эссенцию, скажем, страха, любви или равнодушия, которую смог бы,
очищенную постоянством пламени лета, сохранить в пузырьке из
простого, остывшего языка и дарить, от нечего делать, вместо
оправдания. В конце концов, *и пепел ветра развеют, а развязки не будет*, как не будет больше лета. Лодки вытащены на
берег и движения твои сковывают тяжелые запахи, прорвавшиеся
в комнату из ближайшего зимовья: деготь, дым, опилки сосен. Ты и мир
вдали друг от друга, но продолжаете играть в посредничество. Всего лишь
отражения, ущербные отголоски и беспочвенные тени, наподобие
кучки обглоданных костей, оставляет он твоему неутолимому голоду.
А ты ему в ответ посылаешь открытки, давая ложную надежду.

Ярослав СОЛОНИН

Рассказы

Развалы. Схождения

На исходе сил, на закате лет, на один глаз ослеп, другой видит чуть получше, и всё туда же – на книжные ряды пришёл. Стоит, наклонившись над столом, книжки гладит, пытаясь что-то разглядеть.

– Матвеич, да куда ж тебе гранит грызть – вон и зубов для этого дела не осталось, – съязвил суховатый Митич.

– Так я хоть с мяконького боку отхвачу немного, – неспешно и с достоинством отвечает Матвей, жмуря на позднеосеннее солнышко выцветшие с синевой глаза.

В результате он приобретает «Божественную комедию», подмигнув мне:

– Сколько лет на свете живу, а так не прочёл... самое время теперь.

***

Самое время.

На книжные развалы приходят люди-осколки. Осколки прошлого и настоящего. Сектанты, таинственно переговаривающиеся с помощью только им понятных знаков, слов, имён: Кьеркегор, Богомолов, Дионисий Ареопагит, Игнатий де Лойола, Хайдеггер, Мережковский, «Роза мира», «Каменный пояс», Пруст, Прус, Фуко, Руссо, Жуков, Эвола, Юнгер, Кагарлицкий, Лосев, Клод Лефорт, Борхес, Дубровин, Добряков, Иван Воищев и Альберт Иванов, Кара-Мурза и много кто ещё.

Естественно, кому-то нужны и Донцова, Акунин, Воронин, Маринина. Есть и они.

***

К нашим рядам подходит молодой парень, одетый неброско, но со вкусом:

– У вас есть Чарльз Буковски?

– Нет, – отвечаю.

– А Генри Чинаски? – хитро прищуривается.

Подловить вздумал – как бы не так!

– Нет, он с бодуна мается, – парирую.

Заговорщически хохочем.

Ярослав Солонин родился в Воронеже в 1988 году. Закончил исторический факультет Воронежского государственного педагогического университета. Защитил диплом на тему «Отражение вопросов российской истории в романах И.А. Гончарова». Учился на факультете журналистики ВГУ. Работал учителем истории и обществознания, журналистом.

***

А вот местный эрудит, внешне похожий на Олега Табакова, идёт чуть ли не под ручку с другим всезнайкой – сутулым, сухощавым, в очках-телескопах, глаза горят, периодически нервно похихикивает:

– Иван Никифорович, а вам известно, что вся эта грязная пена, вылезшая в девяностые, в частности – Воронин, так называемый автор целой серии «Слепых». «Слепой в ответе за Глухого», «Слепой идёт в отказ», «Слепой разбушевался» и прочая. Что это всё «ПИПы».

– Что это такое?

– Писательско-издательские проекты. То есть набирается группка студентов-филологов, литературных негров так называемых, и они стряпают детективчики по-быстрому. Студентикам – на пиво, издательству – дивиденды, мифическому Воронину – слава.

– Хи-хи... по сравнению с этим делом Маринина, выходит, ещё ничего.

– Маринина, по крайней мере, крепкий стилист...

Смех заговорщиков.

***

Воскресный день сплошь соткан из подобных диалогов:

1.

– Писать бы Лимонову книги и не лезть в политику эту... романы у него лучше получаются. А тут – то посадят, то дерьмом забросают.

– Да ну, как же можно. Эти его ипостаси неразрывны – без политика умрёт писатель. Ты как будто не читал его. Тот же «Дневник неудачника», в нём же всё налицо! Будто он в Нью-Йорке дерьмеца не похлебал.

2.

– Хрущёв был Троцкистом... Ты что, не знал?

– Я не задумывался.

– Зря, товарищ, такие вещи пора бы знать.

– В биографии Роя Медведева об этом ничего не сказано, кажется.

3.

– Про твоего Прилепина разве что на заборе пока не пишут... Как про Пелевина в своё время. И утюги пока ещё молчат, но скоро и они заговорят. А что там? Пацанские рассказы, Саньки-Маньки всякие. Обезьяны... тьфу!

– Да ладно, радоваться надо. И писатель хороший, зря ты это. Глядишь, и оживёт литературный процесс. Батенька, к вашему сведению, может он и неоднороден процесс, но кипит вовсю. Гениев, может, и нет, но то, что они рано или поздно появятся – факт. Вон, знаешь, Глуховский что говорил? Что мы навоз, быть может, для грядущего гения.

– Глуховский... тоже мне, нашёл эксперта. Метро-шметро. Тьфу!

4.

– Я одолел только «Путь к Свану».

– Скоро втянетесь. Что по мне – Пруста хоть и называют новатором, но стилистически он как никто другой в русле классики. Он, верно, новатор-традиционалист.

– Так двадцатый век и поставил вопрос не «что», а «как».

– Упрощаете, сударь, упрощаете!

5.

– И всё-таки «Поминки по Финнегану» – произведение, предназначенное исключительно для филологов и лингвистов... На русский его переводить ну совершенно невозможно!

– Вы его что, читали??

– Нет, слушал в исполнении Анри Волохонского.

– Нет, мне ближе его «Дублинцы». Ну, «Портрет художника в юности» ещё.

– А вы Беккета читали? Он у него чуть ли не секретарём работал.

6.

– Бегбедер содрал у Уэльбека, а Минаев у Бегбедера... Масскульт надо знать в лицо!

– Вам своего времени-то не жалко?

– На Уэльбека – нет. А остальные – ошибки молодости.

– Молодости? А сейчас? Тоже мне старичок нашёлся.

– Я ровесник Пелевина.

– Нет, Пелевин старше вас.

7.

– Газданов и Набоков... тем не менее это русская литература.

– Батенька, а вам не один хрен? Литература и есть литература. Русская – нерусская.

– Ну не скажите. Отношение к русской литературе тогда и сейчас. Сейчас больше этнологический, а не эстетический интерес, в самом деле! Надо возрождать!

***

Большинство прохожих прошмыгивают мимо столов с книгами, не удосужившись хотя бы на мгновение задержаться. В лучшем случае – скользящий взгляд, как на какую-то невидаль, извлеченную с музейных полок.

– Папа, а зачем книжки?

– Чтобы читать.

– А зачем читать?

– Чтобы умным быть.

– А зачем?

Озадаченный папа не знает, что ответить. Судорожная работа мысли вознаграждается пространной фразой «Чтобы учиться».

– А учиться?

– Чтобы работать...

Всё предельно ясно.

***

– Дед, ты на пенсии-то чем займёшься? Дед Ерошка-то, слышал, стоило на пенсию выйти, через полтора года от тоски и помер.

– О! Мне будет, чем заняться. Буду мемуары писать.

– Так ты ж не видишь уже ни хрена.

– На свою офицерскую пенсию найму стенографистку, и вот тебе вся недолга...

– А ты молодец! Небось есть, о чём рассказать.

– Я думаю – у всех найдётся к моему возрасту что рассказать, но не все доживают и не всем

охота писать. Лентяи! Я с юности пишу и в журналах с юности публикуюсь. Даром что офицер. А ты в курсе, что для офицера это хороший тон – быть разносторонним, интересоваться искусствами разными?

***

Вот мы и работаем тут. Доктора наук, аспиранты, преподаватели, студенты филологических, исторических, политологических и прочих отделений, круглосуточные тусовщики в отставке, авторы афоризмов и пособий по занимательному виноварению, местные сумасшедшие совсем не провинциального масштаба. Самый высокий процент шукшинских «чудиков» сосредоточен именно на этом пятачке. Власти пытались прикрыть «блошиный рынок», если пользоваться их формулировкой, «с целью придания городу его истинного, культурного лица». На аллее, что неподалёку, стоят памятники поэтов, не имеющих никакого отношения к городу, установка монументов инициирована властями и меценатами, являющимися их поклонниками. Право на существование книжного рынка было отвоёвано со всей убедительностью и беспрецедентностью. Кто-то осмелился дать Дракону хорошего пинка. Филофонисты, филателисты, нумизматы и другие коллекционеры (и продавцы) редкого товара, к сожалению, в этой борьбе за выживание не смогли отстоять своё место под солнцем. Букинисты оказались более жизнеспособным видом, своего рода мамонтами, приспособившимися к глобальному потеплению или похолоданию – с какой стороны посмотреть. Накал драматизма, присущий брэдберевскому «451 градусу по Фаренгейту», пока нам не грозит.

***

– Дожили! Трамваев нету, а эти всё время бессовестно врут. От машин задыхаешься. Безобразие! Всё забыли, всё продали. Грязь кругом...

Городские сумасшедшие. Вот один из них. Идёт, непроизвольно потрясывая головой и выдавая чрезвычайно эмоциональные тирады в адрес мирового зла. Раньше он был профессором на кафедре философии, объяснял студентам про базис и надстройку, про историческую необходимость, закономерную смену общественно-экономических формаций: «Классовая борьба – источник развития классово антагонистических обществ. Одни из буржуазных социологов прямо заявляют, что в современном капиталистическом обществе нет ни эксплуатации, ни противоположных классов, что есть только общественные слои (страты), которые объединяют людей в зависимости от профессии, образования, дохода, возраста, религиозных, политических взглядов и ряда других признаков. Никакими отношениями собственности люди, принадлежащие к этим слоям, якобы не связаны, отношения между ними представляют полнейшую гармонию... Выдумки апологетов капитализма об отсутствии классов и классовой борьбы в современном буржуазном обществе подхватили реформистские и ревизионистские деятели. Так, американский реформист Ф. Мэррей прямо пишет, что в Америке нет классов, что там якобы “все рабочие” и что, в конечном счете, интересы фермеров, промышленных рабочих, бизнесменов, служащих и интеллигенции совпадают... Ещё вторят ревизионисты... А в действительности – ни о каком исчезновении классов не может идти и речи. В современном буржуазном обществе господствует капиталистическая собственность, а потому есть и классы-антагонисты – буржуазия и пролетариат. Ожесточённая классовая борьба между ними продолжается и в настоящее время...»

Однажды, кажется в 90-е, у него «помутился рассудок», что вообще редкость для докторов философии, они обычно хорошо в любую эпоху встраиваются. А тут, видимо, исключение, подтверждающее правило.

Тем не менее, многое, им высказанное на книжных рядах, прямо так, в пространство, никому конкретно и одновременно – всем и сразу, не так абсурдно, неадекватно и дико. Я жалею, что у меня не было тогда диктофона и самой идеи запечатлеть эти бесценные свидетельства эпохи очередного безумия, на чьей ветке мы сидим, вместе с которой когда-нибудь дружно с гиком и треском грохнемся: «Они нас успокаивают, дескать, всё хорошо, дескать – олимпиада, родина, дескать, встаёт с колен. А пусть они проедутся в общественном транспорте или навестят так называемого "простого жителя". Пусть поработают на бессмысленной работе пять дней в неделю, хотя они тоже работают на своего рода бессмысленной работе. Но одно дело – бессмысленная для работающего, а другое – для тех, ради кого якобы это делается. Якобы для народа.

А их Олимпиада – голые понты. Представьте себе семью, которой нечего есть, детям не в чем ходить в школу – сплошные лохмотья, на учебники денег нет, жена тяжело болеет и прочая-прочая. А сосед в это время купил себе «Порше». Отец семейства не находит ничего лучшего, кроме как невиданным способом (может кредит взял) купить себе «Бентли» последней модели и таким образом утереть нос соседу... Вот она ваша Олимпиада. Они рассказывают о пользе Никеля для экономики региона, но пусть они тогда вместе со своими семьями поселятся где-нибудь там – в тех краях, где собираются его добывать, да поживут годков с десять...»

«Годков-с-десять» выходит особенно эмоционально, и я убеждаюсь, что он не больший безумец, чем я или другие подобные мне. Жаль только, что эти мысли вслух выдаются спонтанно и тут же сменяются другими, создавая сумбур: «Так. Пособие по тяжёлой атлетике, – раскрывает, листает. – Нет! Дрянь! – отбрасывает. – Полнейшая дрянь. Где фотографии, где схемы, где указания, как соблюдать диету. Иллюстрации если и есть, то какие-то невнятные. Нет! И спорт уже не мир, а рынок. Ни патриотизма, ни-че-го!!!

Ах да, одет он экстравагантно: широкополая старая шляпа, пальто серого цвета, многочисленными заплатами превращённое почти в карту мира, только материков, островков, островов и полуостровов, архипелагов здесь несказанно больше. Хромовые сапоги (и где он их только достал?!), потёртые джинсы «Левайс»... А вообще, в нём есть что-то от ваганта или ещё какого-нибудь средневекового чудака, от какого-нибудь клезмера.

Его речь как граммофонная иголка, скачущая по заезженной пластинке, тем не менее, это одна и та же пластинка, одни и те же наболевшие проблемы.

Прохожие с опаской косятся на этого человека, стараются побыстрей пройти, не останавливаясь даже взглядом на книгах.

– Буржуазные идеологи и их реформистские соратники хвастливо трубят о «всеобщей демократии», «демократии для всех», якобы существующей в капиталистическом мире. Этой «чистой» буржуазной демократии они противопоставляют диктатуру пролетариата как якобы бюрократическую, недемократическую власть. На поверку же всё оказывается с точностью до наоборот. Хвалёная буржуазная демократия, как мы уже видели, является только ширмой, за которой скрываются всесилие денежного мешка и фактическое бесправие трудящихся. Увековечить капиталистические порядки, эксплуатацию миллионов трудящихся ничтожным меньшинством собственников – вот какова задача буржуазной демократии...

На сегодня все свободны, лекция окончена...

***

Мой напарник выдаёт перл:

– Я бы никогда не стал читать книги, которые кто-то читал до меня. Поэтому я здесь и не покупаю ничего, только в магазине.

– Так в магазине их щупают, пролистывают тоже. Абсолютной стерильности не существует.

– Да дело не в этом. Нет. Не в стерильности дело, а в собственности. Это же как девушка... Впрочем, я запутался...

***

– Молодой человек, а вы знаете, что в мире только одна книга, которую нужно обязательно прочитать. Остальные – не обязательно.

– Что же это – «Фауст» Гёте, что ли?

– А вот и нет. Это «Библия»!!! Молодёжь...

***

– Я считаю Андрея Платонова гением.

– Многовато их будет тогда, этих гениев, если каждого считать таковым. Но не все достойны...

– Ну и кто, по-вашему, достоин?

– Данте, Шекспир... Пушкин.

– Но ведь каждому времени нужен свой гений, не так ли?!

– Пожалуй... нет. Лучше вообще никаких, чем абы каких.

– Семён Моисеевич, давайте, пока наша полемика не трансформировалась в драку, прекратим сей спор.

***

Мимо проходят девочки-хипстеры с филфака. Одна из них, наиболее яркая и симпатичная, подходит к нашему столу, увидев «Бунтующего человека» Камю, да всего за сто пятьдесят рублей, она оглашает окрестности радостным воплем и стремглав покупает.

– Сегодняшняя «продвинутая» молодёжь достаточно предсказуемая, – говорит мне друг, работающий в книжном магазине неподалёку.

– В плане?

– Стоит кому-нибудь из них зайти в магазин, как я уже с точностью до 90 процентов знаю, что они будут покупать. Джентльменский набор таков: Ницше, Камю, возможно – Сартр, вероятно – Шопенгауэр. Ну и битники впридачу.

***

Работал здесь раньше мужик, очень похожий на Конфуция, немного на Тосиро Мифунэ или на какого-нибудь Диогена из Синопа. В свободное от развалов время не гнушался лазать по помойкам. Книги на его рядах самые дорогие, некоторые явственно помойкой пахнут, а может, от него так разит. Однажды его били на глазах у всего рынка. Просто деньги, которые он взял взаймы на покупку книг, – вернуть же их ему как-то не удалось: то ли пропил, то ли выручка невелика оказалась. Разочарованные инвесторы посильными способами избавлялись от стресса.

***

На дворе стояло бабье лето. В такие дни и народу больше на рынок приходит, и вообще душа поёт. Торговый день близился к концу, когда подошли двое элегантно, на манер французских интеллектуалов, одетых молодых юношей, покуривая на редкость душистый табачок, они спросили книги, посвящённые киноискусству, философии, поэзии, живописи. В результате они взяли три альбома импрессионистов, карманное издание «Опавших листьев» Василия Розанова и сборник

стихов Уильяма Блейка «Сатанинские стихи». Потом, не торопясь, отошли в сторонку, сели на лавочку под раскидистым деревом и продолжили сеанс неторопливой, оскаруайльдовской беседы и воскуривания прелестного табачку. Я не утерпел и подошёл к ребятам:

– Можно у вас угоститься? Чудесно, на всю округу разлился аромат от вашего табака и от прелых осенних листьев.

– Выбирайте: есть сигареты, а есть табак и бумага для самокруток, из которых вы сами можете свернуть себе покурить.

– Второй вариант, джентльмены. Спасибо.

Присел с ними рядом и поинтересовался о житье-бытье. Оказывается, один снимает фильмы, другой – «писатель», правда, по-кафкиански пишет всё в стол.

– Учились ли вы где-нибудь для того, чтобы снимать фильмы?

– Нет, зачем? Джармуш, например, не учился. Ким Ки Дук тоже.

– Нет, он учился в киношколе, но потом грант, данный ему на образование, потратил на съёмки первого и одного из лучших своих фильмов «Permanent vacation».

– Ясно. Это один из моих любимых режиссёров. Но, всё-таки, продолжая говорить о вас, мне интересно узнать, где я мог бы увидеть ваши работы?

– Проще всего в Интернете, спишемся в социальных сетях, я вам дам ссылку. Антуан Китогон – это я.

– Хорошо. А как звать вас? – обращаюсь к писателю.

– Максим Боц.

– Позвольте, Максим, поинтересоваться, а что вам мешает опубликовать свои произведения.

– Сейчас публикуются все кому не лень, не хочется залезать в ванну, в которой до меня поплескалось миллиона три. Фи!

– Если так рассуждать, можно далеко зайти. Писак всегда много было. И писателей, кстати, тоже. Если ваша проза или поэзия выше среднего, то будет обидно, если о вас никто не узнает. А как о вас узнают, если вы сидите в своей башне слоновой кости и набиваете на своей алмазной печатной машинке на пергаменте, выделанном из кожи единорога, свои серебряные строки, и носа не кажете на улицу. Тоже мне Кафка. Да и он, знаете ли, публиковался иногда.

– Почему же? Я выхожу покурить. И потом, сценарии с этим «Феллини», – похлопывает по плечу товарища, – мы пишем вместе.

Неожиданно пошёл дождь, и мне нужно было накрывать книги клеёнками. Откланявшись, я покинул молодых эстетов.

***

Парочка лихих бритоголовых парней, проходящих мимо нашего столика, задержалась на мгновение, точнее, задержался один из них, второй же нетерпеливо дёргал его:

– Аллё, пойдём, ничего тут интересного нет.

– Нет, погоди, – у вас «Капитал» Маркса есть?

– Нет.

– А «Майн кампф»?

– Тоже нет.

– Да, действительно, читать нечего.

***

Костлявый мужичонка с нервным тиком, невзрачно одетый, взял заинтересовавшую его книгу и, заикаясь, спросил, сколько она стоит.

– Сто рублей.

– А м-может за пятьдесят?

– Восемьдесят пять.

– А м-может...

Торг – дело привычное. Через некоторое время искомый компромисс найден, мужичок расплачивается и, не остыв еще после торга, уходит... забыв книгу. Идёт и забавно жестикулирует, о чём-то там с собою спорит.

– Мужчина, книжку забыли, забыли книжку, мужчина!

***

Мы зачем-то вышли торговать, когда на улице стояла температура минус 15 градусов по Цельсию. Покупателей – ни единой души. Азарт торговли, что говорить, сам собой питаться не может. Ты приободряешь себя: «Лимонов работал в юности книгоношей, и у меня это только начало. Когда-нибудь напишу если не книгу, то рассказ про эти дни, а материала ого-го как много!»

Напарники приходили-уходили, менялись, я тоже приходил-уходил, но от возможности подработать на книжном рынке редко отказывался.

Никакая другая работа не оставляла столько простора для мечты и для жизни, нигде я не располагал столь богатой коллекцией самых разнообразных характеров и типажей и нигде не узнавал каждый день столько новых, а скорее – забытых имён или неизвестных или малоизвестных, и уж если быть точным – не известных мне:

Левитов
Слепцов
Кораблинов
Роберт Крайтон
Камило Хосе Села
Тауфик Аль Хаким
Эдмонд Гуссерль
Музиль
Брох...

Сколько их, этих имён ещё? Не то что не перечитать, а не перечесть за всю жизнь.

***

Помню, как откладывал на пятитомник Марселя Пруста, который до сих пор не прочитал. Спорадические дискуссии, возникающие тут и там, особенно когда не слишком жарко и не слишком холодно. Обо всём на свете, в особенности – об отвлечённых вещах.

Один из продавцов – вылитый Захар Прилепин, а другой – Иван Гончаров.

Располагайтесь

– Ну, вот и славно! Хорошим людям дом достаётся, соседями будем, если что – обращайтесь, – улыбался во всю физиономию толстопузый Кульков.

Семейная пара средних лет смущённо улыбалась, дочка семи лет играла с местным котом Тишкой.

– Ну что, по сто пятьдесят, по-соседски, так сказать? – пожевывая свои губы-сандвичи и роняя слюну, предложил Кульков.

Отец семейства, немногословный, вечно хмурый мужчина, крякнул в кулак и вежливо отказался, сказав, что завтра идти на работу.

– А может, всё-таки коньячку – у меня имеется, спрыснем сделку, как говорится, – подмигнул Кульков.

– Коль, да хватит тебе, работа никуда не убежит, – задорно стукнула мужа в грудь ладошкой Татьяна, у молодости которой только-только открылось второе дыхание, – пора бы и отдохнуть. Сбылась мечта наша, отдельный дом. Жить теперь и жить!

Коля согласился.

И понеслась. Песни. Шашлыки. Анекдоты. Хмурый Коля улыбался как ребёнок, а Кульков тем временем пел осанну жизни в частном доме:

– Сам себе хозяин, Колян. Захотел – баньку сгондобил, захотел – гараж. Захотел – голой задницей сверкаешь, и никто тебе слова не скажет. Ты – собственник, понимаешь, собственник! – Кульков уже порядком окосел, появилось в его интонации что-то от Жириновского.

Март в этом году выдался тёплый, в воздухе уже можно было учуять особые весенние обертона. Вдалеке шумели поезда, они навевали надежду, что грядущее лето будет особым, полным радости, путешествий и витаминов.

Запах костра и шашлыка навевал аппетит, проглоченное мясо требовало коньячку или водочки, угли грёз отбрасывали искры. Было хорошо, тепло, приятно.

– Колян, между нами, ты тут никого, кроме меня, не слушай, тут жлобы одни, мы с тобой тут им всем устроим. Лапти, колхоз, ватники! – Кульков всё более явственно похрюкивал.

– Нет, – беззлобно, но твёрдо парировала Татьяна, – в местных склоках мы участвовать не намерены, так что извиняйте.

Кульков только усмехнулся и шепнул Коле на ухо: «Послушай женщину и сделай всё наоборот».

Коля промычал что-то нечленораздельное.

Звёзды в этот вечёр были особенно хороши. По третьему кругу играл сборник «Любэ», когда вырубили электричество: «Атас, веселей, раб...»

***

Пришедшие квитанции показали, что за газ, воду и свет на доме висит большой долг. Тут надо уточнить, что Кульков продал только часть дома, во второй продолжая жить.

– Ген, ты эт, понимаешь, так нельзя, ей-богу. Ну не мы же, в самом деле... платить будем, – тяжелоступно, криво, заикаясь проговорил Николай, показал Кулькову квитанцию.

– А, так это квартиранты, свиньи такие, не заплатили, не зря я их выгнал. Коляныч, заплати, с меня причитается, ну что мы, соседи, будем делить, а? – кротким агнцем глянул из щёлочек глаз боров Кульков.

– Ну, ты что... так нельзя... эт самое – замялся Коля

– По рукам, соседушка?! С меня причитается, – подмигнул жаба. Выдержал паузу и, покраснев, сменив милость на гнев, неожиданно прошипел:

– Не хер умничать, я тут все ходы и выходы знаю – без штанов останешься. Со мной шутки плохи, – вспылил Кульков.

Выдержав ещё паузу, снова заулыбался:

– Ну, чего нам делить, Коляныч, ей-богу, – хлопнул его по плечу.

В доме не было канализации, а выгребная яма оказалась не особенно глубока. Кульков до заключения сделки обещал помочь с канализацией.

Теперь он за бесплатно отказывался что-либо предоставлять:

– Э-э, хозяин, ты знаешь, во сколько мне всё это обошлось? Впрочем, я не жадный... давай двадцать пять... тридцать листов шифера и по рукам...

Теперь после работы Коля либо копал траншею, либо таскал шифер. Поскольку к дому подъезда не было, метров семьсот привезённое приходилось переть на собственном горбу. Рабочих нанимать было накладно. Кульков, несмотря на то, что у него была квартира в центре города, приезжал сюда почти каждый день. Ходил по Колиному участку прямо в трусах (между землёй «соседушек» не было преград), одобрительно хмыкал, поглаживал шифер, подбадривал Колю, копавшего траншею.

– Может по соточке, соседушка?

Коля отрицательно мотал головой.

– Ну, хозяин-барин, а шифер – хорош, буду забор себе делать, хе-хе.

Строить заборы и отвоёвывать нейтральную землю пядь за пядью – его хобби.

***

На сопредельной территории росла вишня. Девочка Катя, дочка молчаливого Николая, собирала в баночку её, а вечером они обычно всей семьёй пили чай. Ни с кем из местных ребят-девчат Катюша не подружилась, предпочитая дома читать книги, в том числе заданные на лето. Большое впечатление на неё произвела «Машина времени» Герберта Уэллса. Ей были неприятны морлоки, и в то же время они вызывали жалость.

«Неужели жизнь так несправедлива?» – размышляла девочка, сидя на качелях, которые ей папа собственноручно сделал. – Папа у меня хороший, только грустный он какой-то, задумчивый. Хоть бы улыбнулся».

Ей понравились рассказы О.Генри, особенно – «Дары волхвов» и «Из любви к искусству».

Ей тоже хотелось обрести когда-нибудь верного, любимого и любящего человека. Мысли возникали сполохами и в полуосмысленном виде, просто внутри замирало, щекотало и становилось тепло. Веснушчатый Тёма Тиняков, задира и хулиган, ей нравился, но отчего-то всегда, когда здоровался с ней, краснел, а порой вёл себя и вовсе грубо, а после того как она назвала того «неотёсанным мужланом», выбросил её трёхцветную ручку в окошко. И книг читать он не любил, предпочитая гонять на своём моцике все вечера напролёт. К тому же он курил, матерился и отпускал похабные штучки в кругу своих закадык. Когда учителя упрекали его в недисциплинированности, он отвечал: «Вот поступлю в военное училище – там и буду слушаться командиров... А здесь – увольте». И за что он ей нравился? За то, что в нём было что-то от Печорина и Тома Сойера? Или, может, её воспалённому воображению просто так казалось. Волю своим чувствам она дать не могла, потому что была девочкой, старомодно воспитанной, к тому же под надзором мамы, что вела у них физкультуру, было и вовсе неловко. Кате задали на дом подготовить постановку по какому-нибудь из рассказов Чехова, она присмотрела себе один.

– Привет, хозяйка! – улыбнулся папа, входя в дом. – Как насчёт поесть?

– Папка, ты садись, я тебе сейчас всё организую.

Голубцы, картошка, окрошка, свежий хлебушек, сальце. Прорвавшийся в форточку ветер смешался с ароматами снеди, создав неповторимый и свойственный только весне запах.

Катя действительно была в роли хозяйки, поскольку мама на неделю уехала в Москву.

***

Денег Кульков так и не вернул, даже словом не обмолвился. Но Коля всё равно был рад – канализацию сделал, шифер отдал, заказал пеноблоков, цемента да балок и досок для крыши. Что

ни говори, а домишко маленький – пока все семьёй ютились в одной, пусть и большой комнате. «Построим дом новый – будет у Катюши своя комната, – мечтал он, покуривая на крылечке и попивая чай. – Расставит свои книжки как надо, всё будет хорошо».

Таня приехала из Москвы с гостинцами, весёлая и жизнерадостная.

Откуда ни возьмись появился Кульков (пусть он с этого момента будет Кульком), как обычно в трусах, в руке держал топор.

– С приездом, хозяйка.

– Спасибо. А что это вы рубили?

– А, деревца старые, вишенку вот срубил, проку от неё никакого, на дрова пойдёт, с фруктовых деревьев ой какой шашлык получается – держите меня, кхэ-кха-кхэ, ей-богу, да под винцо сухое, – а дальше без всяких пауз и переходов выдал, – чё, Танюха, айда на вылазку, в речке покупаемся, у меня и машина есть, с ветерком прокачу.

– Отстаньте от меня.

– Ишь ты, кхэ-кхэ, а мне такие больше нравятся...

Совсем не об этом мечтали они с Колей, ютясь долгими зимними вечерами в пусть и в трёхкомнатной квартире, но вместе с её родственниками, от которых продыху ну никакого! Тишина, покой... где они?

О загубленной вишне Катюша рыдала полночи.

***

Кто-то из соседей, с кем у Кулька давняя вражда, отравил его пса. А он подумал на Колю с Таней, и разубедить его в этом никто не мог. Будучи и так не очень привлекательным, от гнева он и вовсе превратился в сущего тролля, покраснел, вот-вот кондрашка хватит:

– Значит так, бля? Соседские отношения? Не хотите по-хорошему – я вам, в натуре, устрою по-другому. По-человечески, значит, мы не понимаем?!

– Мы твою собаку даже пальцем не трогали, – кричал Коля.

– Да не п.ди ты, не п.ди. Кто докажет? Да я кота твоего задушу нахрен.

– Только попробуй, мудак!

– Что-о? Да ты знаешь, с кем разговариваешь?

– Знаю! С выродком, с последней гнидой. С кро-хо-бо-ром!

– Молчал бы ты, терпила в тряпочку!

Дальше всё развивалось просто и логично. Коля сиюминутно выместил всю накопленную боль и обиду, произведя некоторые манипуляции, вследствие которых Кульков кульком и упал.

И дальше всё развивалось согласно логике вышесказанного. Кулёк снял побои и подал в суд на Колю, но тот держался молодцом и отделался штрафом.

Дом выставили на продажу, проход между участками заколотили, так что теперь Кулёк зайти не мог, всё, что он мог – это мочиться на новоявленный забор и кряхтеть от бессильной злобы.

***

На дворе стояло бабье лето. Катя знала, что скоро они с родителями переедут в другой район, и с этой школой придётся прощаться. И с Тёмой, который недавно подарил ей букет астр. Ну нет, прощаться с ним она не будет, обязательно возьмёт телефон, найдёт в себе решимости. Она уговорила-таки Тёму участвовать в её постановке, для которой выбрала рассказ А. П. Чехова «Ушла».

«Пообедали. В стороне желудков чувствовалось маленькое блаженство, рты позёвывали, глаза начинали суживаться от сладкой дремоты. Муж закурил сигару, потянулся и развалился на кушетке. Жена села у изголовья и замурлыкала... Оба были счастливы...» – читала за автора Катя.

Спектакль был решён в духе минимализма: два стула – вот, собственно, и весь реквизит. Тёма замечательно справлялся со своей ролью, даже импровизировал. Было забавно наблюдать за этим хулиганом, трансформировавшимся в сытого и ехидного мужа: «Тэк-с... Ты, разумеется, не вышла бы... Н-да... Ну, а если бы ты сейчас узнала, что я тоже... негодяй?.. Что бы ты сделала?», – «Я? Бросила бы тебя! Не осталась бы с тобой ни на одну секунду! Я могу любить только честного человека! Узнай я, что ты натворил хоть сотую долю того, что сделал Трамб, я ... мигом! Adieu тогда!»...

Безвольная пустозвонка у Кати получалась тоже хорошо. Татьяна Сергеевна, учительница литературы, с умилением смотрела на новоиспеченный дуэт.

Как известно, муж, дабы испытать верность жены её же слову, расписал, какой он негодяй, а она, как и обещала, ушла... «Да, ушла... в другую комнату».

Аплодисменты.

Тёма сказал ей потом, что она ему давно нравится, но он не знал, как об этом сказать.

***

– Ну, вот и славно! Хорошему человеку дом достаётся, соседями будем, если что обращайся, – улыбался во всю физиономию толстопузый Кульков.

Молодой человек лет тридцати тоже улыбался.

– Ну что, по пять капель, по-соседски, так сказать? – пожевывая свои губы-сандвичи и роняя слюну, предложил Кульков.

– Эт можно, – добродушно кивнул новосёл.

– Вот это я понимаю, наш человек. Столкуемся. Ты, главное, никого, кроме меня, не слушай. Мы этим валенкам тут такую козью рожицу устроим...

Шум. Бумага. Грецкие орехи. Безразличие

Полночь. Мой компьютер горячее отопительной батареи.

К соседу кто-то пришёл, и, судя по всему, визитёр не из желанных. Немудрено – дядя Веня всему городу должен, в том числе и мне. Вот уже раздался глухой стук, судя по всему – кулаком по грудной клетке. За ним – кашель дяди Вени. Скоро вырубится ноут от перегрева, и мне еще отчетливее станет слышно всё происходящее. А мне не надо, я устал. Для кого-то описываемое – нечто из ряда вон, а для меня – фон моей повседневности. Я заряжаюсь от компа. И книги читаю с него, и фильмы смотрю. Мне уже непривычны бумажные фолианты – они не нагреваются, не шумят. Что-то не так.

– Слышь, козёл, это последнее предупреждение.

Ага, последнее китайское. Знаем. Без таких, как Веня, этим прощелыгам и жизнь не мила. И ему без них скучно. Да они просто созданы друг для друга! Цепочка взаимозависимых. Садо-мазо.

Почему я не вступлюсь? Уже пробовал. Бес-по-лезно. Денег на погашение долга давал, в базар встревал, за что отхватил того, о чём не поют дрозды. Так что теперь я тихий обыватель и сторона – это самое моё место. А Вениамин – неисправимый должник, его главный труд – бухалово. Два развода в прошлом, три взрослых сына, как в сказке, они ему помогают, хотя и обуза он несомненная. Что ж – жизненная программа выполнена: дети, деревья, дома. Завершающий проект под кодовым названием «Помирать, так с музыкой». Дембельский аккорд.

Вот отрывок из нашего диалога:

– Вень, ну чего ты тупишь – не инвалид, тебе всего полтинник, руки-ноги на месте, голова вроде бы ещё худо-бедно работает. Машина есть, права есть. Техосмотр пройди. И с руками оторвут.

– А я раньше, друг, в рок-ансамбле играл, на заре юности... эхх, парень, ни хера ты не понимаешь, – хрипит Вениамин.

Да, я, видимо, ни хера не понимаю.

А тем временем, пока я размышляю о чужом былом и о судьбах, Веня падает со стула, попутно матеря обидчиков. А тех уже и след простыл. Ушли воспитатели. Комп вырубился. Сижу в тишине, чему и рад... вполне. За стеной дядя Веня поднимается с пола и отряхивается. Мне его не жалко. Напеваю: «Никого не жалко... никого. Ни тебя, ни меня, ни его». Скоро уеду в столицу, надоели провинциальные мазохисты. Я тут тоже понемногу выпиваю, не сказать, что реже, чем дядя Веня, но всё равно как-то по-разному у нас это выходит. В основном читаю и шляюсь. Еще радио слушаю. В газету местную статейки пишу.

Курю. Отличный, знаете ли, сорт мне намедни кореш из Франции прислал. Забью, бывает, трубочку, заварю чайку или кофейку и знай себе попыхиваю. А ночью мне в последнее время плохо спится. Достану, бывает, блокнот, возьму ручку, попялюсь на чистые листы и закрою его. Все мысли, все сцепки между ними и зацепки – в голове, а на бумагу не спешат. А напишешь – и вовсе дрянь выходит. Помню, в детстве, гуляли с бабушкой по лесу, что на берегу реки, протекавшей неподалёку от моего дома. И увидел я как-то целое дерево с орехами. Грецкими. Зелёные ещё, незрелые совсем. Но я всё равно набрал их полные карманы. Тут же попытался раскусить и вскоре потерпел фиаско. Они на вкус оказались горькими, едкими, с привкусом йода. Руки все поперепачкал, майку. Бабуля ругается, но незлобно, больше журит. Так вот эти мысли, что не просятся на бумагу, они как те орехи. Им пока самое место в моей голове. А то горечь и темнота – ввек бумагу не отмоешь.

Стук в дверь.

– Лёнь, а Лёнь.

В дверь просунулась вечно опухшая и вечно виноватая харя дяди Вени. Допотопный пиджак, потёртая футболка Deep Purple и сальные седые волосы являют собой завершающий штрих в полотне «Мой сосед – престарелый бич».

– Ау?

– Анальгинчику не найдётся? Голова гудит...

– Сейчас.

Отдаю ему целый блистер и выпроваживаю прочь. На неделю хватит.

Господи, как я люблю быть один, кто бы знал... И комп не нужен. Все мои мысли при мне, их не надо скачивать с торрента. Но тишина длилась недолго.

С улицы раздались торжественные залпы. 23 февраля, а я и забыл. Но это, собственно, и не мой праздник. Кого я нахрен от кого защищал или защищаю?!

Стук в дверь.

– Лёнь, а я ведь служил. В ГДР... там такой паёк был – ух! Галеты, паштеты, сыр...

Он мне это рассказывал раз двести, но вида я не подаю, чтобы не обижать человека. Мне его снова становится жаль, а от этого и вовсе не по себе.

– С праздником...

Далее сосед ковыляет на кухню варить свою любимую картошку в мундирах и смешивать спирт с водой. Не первый год я знаю этого человека.

За окном темно, но горят фонари. На душе давно нет того чувства безысходности, что томило раньше. Мне хорошо, даже если мне плохо. На всё есть оправдание и объяснение. И благодаря этому я понимаю, что предыдущие годы жил не зря. Денег только маловато, но с голоду не пухну.

Подрабатываю на книжном рынке. Народ там хороший – что продавцы, что покупатели. Много чудаков. Родных мне чудаков. Три дня в неделю я там. Главное, что стальная рука капитализма не держит меня за яйца так, как держит Веню или одного бывшего одноклассника. Последний из офиса не вылезает, детей нажил уже двоих. В общем – молодец. Только что-то радости в его потускневших глазах я особой не вижу. И дело не в офисе. Просто любви в семье даже маломальской – нет. Как он мне сказал года два назад в ответ на мой вопрос, зачем он так рано женится: «Ну, типа пора, типа надо». И выбрал себе корову ни к селу, ни к городу. Колхоз. Впрочем, не моё дело. Вперёд, друг!

А я не тороплюсь никуда. Не хочу раньше времени в кабалу лезть. Может, и вовсе останусь пустоцветом, как пророчат соседки. Моё дело. Голодранец я.

Дядя Веня включил телевизор. Новости. Президент страны поёт осанну военным всея Руси.

Я достал из заначки коньяку и хлебнул хорошенько. Арарат-Арарат, как тебе я рад. Подарок армянского друга на день рождения.

Скоро спать. Смс. «Спокойной ночи, любимый. Очень скучаю. Скоро увидимся!» Моя девчонка сейчас далеко – в израильской армии служит... Шутка. В Москве она была. Завтра приедет. Утром встречу и айда на книжный рынок. Красота. Жить хорошо. Хотя и не всё хорошо. И всё же жить можно и нужно. Пишу ответ: «Спокойной ночи, радость моя! До завтра. Целую и крепко обнимаю».

Отходя ко сну, я вспомнил о том, какие нежные и трогательные письма строчил поэт-глыба Маяковский своим возлюбленным. Этот могучий горлопан, джазмен водосточных труб... Трудно поверить, если знаешь его творчество и биографию по верхам, оперируя останками школьных знаний.

Дядя Веня на кухне упал. Посмотреть, что ли, живой ли он там. Но пелена сна стремительно затянулась.

Антон БОТЕВ

ЛИМИТРОФНЫЙ ЧЕЛОВЕК

1. Есть внутри, есть снаружи

Каждый, как представляется, делит пространство на две принципиально разные основные части: вне себя и внутри себя, вернее, внутри себя и вне себя. Из миллиона способов делить пространство это один из самых естественных. Точка не может попасть изнутри наружу или снаружи внутрь, не пересекая границу человеческого тела. Сама граница, кажется, отдельной областью не ощущается, однако ее пересечение нарушает целостность человека и несет ему угрозу. Деление пространства на «внутри» и «снаружи» касается чувства безопасности, то есть базового человеческого инстинкта, и потому фундаментально.

Я буду говорить о понятии «границы».

2. О существовании границы

Для начала неплохо бы рассмотреть, существует ли граница вообще. Вот три примера:

1) В городке Линкольн-Сити, штат Орегон, имеется река, вытекающая из озера Девилс-Лэйк и впадающая в Тихий океан. Длина реки всего 440 футов, ее название Д (D), и она какое-то время держала в Книге Рекордов Гиннеса титул Самой Короткой Реки в мире. Однако в 1989 г. в Грейт-Фолз, штат Монтана, обнаружилась река еще короче, длиной 201 фут, перехватившая у реки Д звание Самой Короткой Реки в мире. Эта река называется Роу-Ривер. Жители Линкольн-Сити (штат Орегон), не растерялись и перемерили свою реку, но на сей раз не до океана, а до некоего бревна, лежавшего на берегу и отмечавшего уровень самого высокого прилива. Новая длина реки Д оказалась после этого всего 120 футов, что существенно короче длины реки Роу. У жителей Грейт-Фоллз (штат Монтана) резервов не оставалось, поскольку река Роу впадает не в океан, а в реку (Миссури). Не в силах разрешить спор между жителями Грейт-Фолз и Линкольн-Сити, Книга Рекордов Гиннеса с 2006 г. перестала отмечать Самую Короткую Реку в мире.

Где же находится граница между морем и сушей? Даже Книга Рекордов Гиннеса не может сказать, а ведь Книга Рекордов Гиннеса знает все. Например, если вы на пляже – всегда можно сказать: вот это море, или: вот это суша, но: вот это прибой. Волна, как говорил поэт, наивно и невинно целует берег и отходит торопливо, и граница, получается, в каждый момент времени меняется? Но если брать *границу вообще* – вот я стою в полосе прибоя, скажем, в Балтийском море, возьмем даже для определенности побережье Рижского залива, где не бывает больших волн (я уж не говорю про все осложняющие места с приливами типа залива Фанди). На суше я стою или в

Антон Ботев родился в 1979 году в г. Кирове. Участвовал в литературных конкурсах (в том числе «Новая детская книга – 2013», лонг-лист). Входил в общество «Осумасшедшевшие безумцы» (Немиров, Данилов, Родионов, Емелин и др.). В «Волге» дебютировал с повестью «Кот Шредингера» №7-8, 2013, победившей впоследствии в литературной премии «Дебют» в номинации «Фантастика». Живет (пока) в Москве.

море? Я могу точно сказать, что в десяти метрах от меня суша и в десяти метрах в другую сторону от меня море, но относительно своего нынешнего положения я нахожусь в недоумении. Определенно можно сказать только, что я где-то внутри границы между сушей и морем. Это пример того, что когда граница существует, она не всегда бесконечно тонкая, как в математике.

2) Есть, кажется, байка про одного испанского то ли французского лингвиста, который лично решил выяснить, где кончается французский язык и начинается испанский. Для каковой цели он отправился на велосипеде из Парижа в Мадрид, решив по пути постоянно говорить с местными жителями, и, найдя точку, где перестанет понимать местное наречие[1], объявить это место границей между двумя языками. Он ехал и ехал, и настойчиво говорил с местными жителями, и (конец довольно предсказуем, не так ли) доехал до Мадрида[2]. Значит ли это, что между французским и испанским языками нет границы? Наверно, не значит, иначе все французы говорили бы по-испански, а все испанцы по-французски, а также по-каталонски, по-провансальски и т.д. Но этого же не происходит. Граница есть, но где она? Стоя в Фигерасе или Перпиньяне, можно, к примеру, сказать, что на четыреста километров к северу говорят по-французски, а на четыреста километров к юго-западу по-испански, и, наверно, можно понять, на каком языке ты сам это сказал или подумал, но говоря или думая это, читатель, держи в голове этого лингвиста, и тебе станет не по себе.

3) Где граница между старым и молодым человеком? Человек (в целом) не отличается от себя вчерашнего, в физическом смысле, то есть нельзя сказать: сегодня я молодой, а завтра я старый. Тем не менее совершенно очевидно, что человек (без маргинальных случаев) в начале своей жизни молодой, а в конце старый. Это настолько очевидно, что я даже не буду тратить время на доказательство. Лучше идти дальше и не останавливаться, а тратить время на то, что вообще-то не требует доказательств, глупо. Лучше провести его с пользой в размышленьях, благочестивых размышленьях о природе и назначении границ, чем тратить его на обоснование того, что человек в действительности в молодости молод, а в старости стар. Если останавливаться на таких вещах, то можно топтаться на месте до морковкина заговенья. Никогда не стоит тратить время на доказательства вещей, всем очевидных, это основной принцип, которому я здесь следую. Вещи, изложенные здесь, иногда банальны, но если взять за правило придерживаться истины, то от банальности не уйти. Например: в молодости человек молод, а в старости стар – это банально, но ведь это так. Истина важнее оригинальности. Что до молодого или старого возраста, то тут можно схитрить и ввести так называемый «средний возраст», и сказать, как в двух приведенных выше примерах: сейчас я среднего возраста, а в молодости был молод, а в старости буду стар; или: сейчас я стар, а в молодости был молод, а между молодостью и старостью был среднего возраста; или: сейчас я молод, а потом буду среднего возраста, а в старости буду стар. Проблема в том, что никто не может сказать, когда кончается молодость и начинается средний возраст или когда кончается средний возраст и начинается старость.

3. Бесконечно тонкая. Открытые и замкнутые множества

Что такое граница в математическом смысле?

В математическом смысле границей двух множеств называется совокупность точек, обладающих следующим свойством: в любой сколь угодно малой окрестности этих точек лежат точки,

[1] Исходя из направления движения, я делаю вывод, что лингвист был француз.

[2] Предполагаю, что ехал он через Каталонию. Каталонский язык представляет собой нечто среднее между испанским и французским. Например, «выход» по-французски будет sortie, по-испански salida, а по каталонски строго между ними, sortida.

принадлежащие обоим множествам. То есть: какой бы маленький кружок мы ни нарисовали вокруг любой точки границы, этот кружок захватит оба множества.

В определении ничего не говорится о том, принадлежит сама граница какому-либо из множеств или нет. Может принадлежать каждому из множеств, а может не принадлежать никакому. В обыденном понимании границы она не может принадлежать обоим множествам одновременно, в математическом ничего не удерживает ее от этого, определение границы, как легко видеть, никак не связано с принадлежностью границы множеству.

Множество, содержащее свою собственную границу, называется замкнутым, не содержащее ее – открытым.

Из определения следует, что граница является «бесконечно тонким» объектом. В самом деле, если бы у нее была какая-нибудь «ширина», то в нее можно было бы вписать кружок, который бы целиком помещался внутри нее, и, следовательно, не захватывал бы два граничащих множества.

Примеры, приведенные выше, показывают, что границы между сушей и морем, французским и испанским языками, молодостью и старостью существуют только в обыденном смысле, но не в математическом. Окрестность, захватывающая два явления, существует, но она не бесконечно малого радиуса. Двадцать лет назад я был молод, а через двадцать лет буду стар; как насчет двух лет? А десяти? А пятнадцати? Или: граница постоянно движется; образует ли она собой *облако*, как электрон? Может быть, она «размыта» в некоторой области?

Очевидно, однако, что проблема разграничения явлений остается, есть у нас строгое математическое определение границы или нет.

4. О безопасности и обобщении понятия «тело»

Казалось бы, математическое отступление ничего нам не дало; это неправда, теперь мы знаем, что такое замкнутость. Вооружившись этим термином, со смелостию вернемся, братья, к безопасности как базовому инстинкту. Человек, по жадности своей, полагает, будто он замкнут, то есть его концы принадлежат ему (например, кожа человека, и даже поверхность этой кожи ему принадлежат; в чем я лично не уверен, ни из чего ведь это не следует). С другой стороны, даже самый жадный человек, если он психически здоров, конечно, с исчезающе малой вероятностью будет считать окружающее его пространство частью себя. То есть человеку свойственно считать себя ограниченным (тоже в математическом смысле). Замкнутая и ограниченная область называется компактной; человек компактен. Коль скоро граница человека принадлежит ему, а все, что вне этой границы, ему не принадлежит, человеку свойственно воспринимать границу как фронтир, первый рубеж между собой и [опасным] внешним миром. Разрушение тела (неважно, снаружи или изнутри) начинается с разрушения границы, поэтому чтоб не начать разрушаться, беречь нужно в первую очередь границу. Когда инородное тело пронзает кожу, это несет понятную физическую опасность, но, кроме нее, и непонятную экзистенциальную – человек теряет свою целостность, или integrity. Поэтому весь страх перед внешним, чужим редуцируется к страху перед границей, вернее даже, перед контактом границы и внешнего мира, или перед границей, которая отделяет границу от внешнего мира (это рекурсивное определение ведет к дурной бесконечности; понятие границы пока что порождает рекурсию[1]; *fines*, однако, *non sunt multiplicandi sine necessitate*). Равным образом страх перед истощением, или испарением себя в пространство редуцируется к страху перед границей. У человека имеются специально обученные отверстия для избавления от отходов жизнедеятельности, но несанкционированная дырка ведет к неприятностям, в крайнем своем проявлении – к смерти.

[1] *Подробному описанию этой рекурсии посвящен целый пункт 6.*

Под телом тут следует понимать не только физическое тело человека, но и, например, корпус его психических и социальных состояний – причем не обязательно человека. Речь идет о любом объекте, который можно описать как «корпус» (*corpus*). Любой человек, как матрешка, находится во многих телах: физическое тело, семья, община, род, государство, общество и т.д.; правильнее говорить не об одной матрешке, а о целой совокупности матрешек Эйлера, пересекающихся кругах, не всегда концентрических[1]. Особенность любого из этих корпусов в том, что все они, как и человек, воспринимают себя компактно (замкнуто и ограниченно).

Стратегия безопасности обычного человека состоит в том, чтобы быть как можно дальше от любых границ. Если человек находится внутри матрешек Эйлера, то самое безопасное место будет внутри самого внутреннего круга, любого из внутренних кругов. Этой же стратегией объясняется и желание быть «как все», т.е. подальше от периферии – она обеспечивает выживание или хотя бы психологический комфорт.

У многих специфических людей весной и осенью случаются обострения, да и не у специфических тоже. Это все из-за обостренной тревожности, связанной с граничными временами года[2]. Российские примеры 2014 г.: очередные весенний и осенний призывы в армию; присоединение Крыма; ввод войск в Украину.

Что до меня, то мое любимое время года – конец августа, когда время замирает в неустойчивом равновесии на вершине, чтобы ринуться вниз, все ускоряясь, ускоряясь, сначала медленно, а потом стремительно падая через все агрегатные состояния: туманы сентября, воду октября, снег ноября и лед декабря в черные бездны безнадежной зимы. Зимой время снова начинает замедляться, останавливается в марте и мчится обратно, чтобы остановиться 31 августа. Моя приязнь к этой дате несколько тревожного свойства, впрочем; скорее, захватывает дух, что соответствует вышеописанному чувству небезопасности. Адреналин!

Отметим тут для памяти и порядка, что существуют люди, которым неустойчивое равновесие нравится более, нежели покой, вертикальное они предпочитают горизонтальному. В этом, возможно, заключен определенный изъян их психики.

5. О страхе перед переходом границы

После прочтения предыдущего параграфа, естественно, если не просто его прочесть, а воспринять прочитанное, может возникнуть следующий вопрос: предположим, человек переходит границу некоего социального института. Перейдет границу государства. Сменит клуб. Внимательный и сообразительный читатель подумает, что автор считает, что якобы переходящему это некомфортно. Но почему? Казалось бы, физические границы его не нарушаются, нарушаются физические границы общества, откуда он уходит (и другого, куда он приходит). Почему граница

[1] Это напоминает мне одну красивую математическую задачу, вполне подходящую к рассматриваемой теме, однако отклоняющуюся от магистрали моего повествования; я приведу ее здесь; невнимательный или не желающий отвлекаться, или просто умственно ленивый читатель с легкостью может ее пропустить:

На складе имеется n пронумерованных мешков, причем некоторые мешки могут находиться в других мешках, некоторые третьи мешки могут находиться в первых мешках, некоторые четвертые мешки могут находиться в третьих мешках или вообще лежать на полу. Каждую секунду на склад заходит сторож дядя Вася и выворачивает мешок: все мешки, что были снаружи данного, попадают внутрь него, все мешки, что были внутри, попадают наружу. Требуется доказать, что количество разных состояний взаимного расположения мешков равно в точности n+1.

[2] Зима и лето являются основными временами года, весна и осень – переходными (ср.: демисезонное пальто). Здесь говорит не мой волюнтаризм, а историческая память человечества: у кочевников было два сезона, летом на пастбищах и зимой в селениях. Атавизмом такого образа жизни являются, например, каникулы в школе и детском саду.

общества должна страшить также и индивида? Нет ли здесь подмены понятий, дескать, границы не всех корпусов одинаковы, нельзя же переносить свойства одной границы на другие.

На это существует сразу три ответа:

1) человек, свыкшись с обществом, воспринимает, хотя бы частично, себя его частью, а его своей частью (самый раздражающий пример: футбольные фанаты, говорящие *мы* про свою команду: Мы плохо провели трансферную кампанию, мы победили, ура! мы проиграли, увы ☹); граница общества, таким образом, это частично и одна из границ индивида;

2) общество и само по себе обладает некоторым страхом избавления от некоего члена или принятия нового члена. Для индивида это проявляется в психическом прессе при изгнании из общества или недоверии при приеме в общество нового члена. Примерами того, как именно общество препятствует пересечению границ индивидом, является сложность пересечения государственных границ, сложность смены хозяина при крепостном праве, нерукопожатность и т.п. вещи;

3) индивид подвержен еще одному страху: поскольку он обладает во всех отношениях ненулевыми размерами, при приближении к границе неизбежно случится момент, когда часть его, индивида, будет по одну сторону от границы, часть по другую сторону (ведь переход границы, как правило, осуществляется не мгновенно). Тем самым граница перережет его и лишит целостности. Если допустить, что возможно перейти границу, не будучи перерезанным (как, например, маленький пузырек, приближаясь к границе воды и воздуха, *встраивается* в эту границу), то случится момент, когда человек окажется *внутри* границы (или той полосы, где граница вечно меняет свои очертания) и тем самым все равно потеряет свою целостность, не принадлежа уже ни к обществу, ни к соседнему с ним обществу.

6. О границе между границей и границей

Я уже вплотную подошел к разрешению всех вопросов и противоречий, люди приходят ко мне толпами и спрашивают, когда же, наконец, я разрешу все противоречия? Подождите! осталось одним абзацем остановиться на упомянутой выше дурной бесконечности множества границ.

Если считать «границу» $Г_0$ объектом, отличным от зон «вне» *(O)* и «внутри» *(I)*, или, по крайней мере, особым объектом, то где проходит граница между «границей» и «вне»? или «границей» и «внутри»? нужно ли вводить еще две границы ($Г_1$ и $Г_2$), отделяющие $Г_0$ от *I* и от *O* соответственно? Тогда это автоматически приведет к появлению еще четырех границ ($Г_3$, $Г_4$, $Г_5$, $Г_6$), отделяющих, соответственно, *I* от $Г_1$, $Г_1$ от $Г_0$, $Г_0$ от $Г_2$ и $Г_2$ от *O*. На следующем шаге границ будет восемь, потом шестнадцать, а в общем случае 2^n. Какая из границ будет более «особая»?

Все эти границы суммируются, и получается, что если допустить существование одной границы, это с необходимостью влечет и существование бесконечного множества границ.

7. Решение. Полоса отчуждения

Решение всех изложенных проблем следующее: границу следует рассматривать как объект, глобально равноправный объектам «внутри» и «снаружи»[1]. Эта граница всего одна, не существует никакой границы между, например границей границы границы и границей границы внутрен-

[1] *Далее будет показано, что это объект в какой-то степени двойственный «внутри» и «снаружи»; требование равноправия введено только для этого, а так можно обойтись и без него.*

ности. Зато существует некая зона (в естественном языке для нее имеется готовый термин «полоса отчуждения»), отделяющая границу от «внутри» и «снаружи». Полоса отчуждения имеет ненулевую ширину, и у нее особый статус: он принадлежит *одновременно* и границе, и телам, которые она разделяет. Для удобства дальше имеет смысл рассматривать только одно тело, называемое, например, «внутри». Можно определить полосу отчуждения как совокупность всех точек, до которых сможет в каком-то виде дотянуться индивид, целостность которого нарушена границей. Если говорить строже («человек» есть частный случай определения и присутствует здесь только для образности, как якорь для сознания, как *trope*), полоса отчуждения есть совокупность состояний, на которых некоторая функция, не обращающаяся в ноль на границе, также не будет обращаться в ноль [1, 2]. Эту функцию, или этого индивида, или этот вид индивидов можно назвать (также для наглядности) **лимитрофным человеком**.

В некоторых отношениях каждый человек лимитрофен. Я только что приводил пример пространственной полосы отчуждения (человек «дотягивается» до границы). Пример временной полосы отчуждения следующий: представим себе человека, который прямо сейчас не чувствует себя ни старым, ни молодым. Возраст, в котором, как он считает, он был или будет таким же, как сейчас (то есть, ни молодым, ни старым, качественно не изменившимся), входит в полосу отчуждения между молодостью и старостью. Если он в шестьдесят четыре года видит себя таким же, как и в тридцать, то, значит, весь промежуток от тридцати до шестидесяти четырёх лежит в полосе отчуждения.

Определение полосы отчуждения очень похоже на математическое определение границы; единственное отличие заключается в том, что рассматривается не произвольно малый радиус окрестности, а какой-то другой радиус, больший, чем какая-то величина.

Из определения чисто геометрически следует, что если некая такая же или, по крайней мере, равная лимитрофному человеку сущность желает проникнуть как можно дальше на полосу отчуждения, не отрываясь полностью от своего корпуса, то проникнуть этот господин сможет самое дальнее до границы – что придает нашему определению смысл, ибо полоса отчуждения вдоль государственных границ имеет ровно эту же функцию.

Еще раз: надо понимать разницу между границей и полосой отчуждения. Граница есть граница, это там, где один корпус заканчивается, другой начинается. Полоса отчуждения есть нечто общее, принадлежащее одновременно границе и корпусу.

Поэтому то, что было сказано про границу, не обязательно будет верно и для полосы отчуждения. А про границу было (в том числе) сказано, что она страшит индивида или общество, поскольку ее нарушение либо прямо нарушает их целостность, либо несет угрозу этого нарушения. Далее будет показано, что опасна не только собственно граница, но и полоса отчуждения.

Внутри полосы отчуждения вполне можно существовать и даже процветать, как показывает, например, колония кроликов, необычайно расплодившаяся в полосе отчуждения вдоль Берлинской стены[3]. В отличие от многих других границ, Берлинская стена была практически непроница-

---

[1] Геометрически это легко представить себе так: вообразите линию, начерченную на листе бумаги (схематически это будет граница), и нанизанный на нее диск или кольцо, имеющий возможность свободно перемещаться вдоль этой линии в любом направлении, с единственным условием: все время быть нанизанным на нее. Поверхность диска или кольца выкрашена красной краской, и когда она касается бумаги, то красит ее в красный цвет. Диск живой и в течение бесконечного времени случайным образом трепыхается на линии, окрашивая бумагу. Вся закрашенная через бесконечное время зона и будет полосой отчуждения.

[2] В математике это называется «носитель функции».

[3] Внимательный читатель, впрочем, должен бы сразу понять, что этот пример к делу не относится, поскольку полоса отчуждения вдоль Берлинской стены, как и сама Берлинская стена, построены, к огромному сожалению, не кроликами. Для кроликов эта полоса отчуждения ничего ни от чего не отчуждает.

ема для приматов, поэтому поколения кроликов жили там в совершенной безопасности. Об этом был даже снят польским режиссером Бартеком Конопкой фильм *Królik po berlinsku,* претендовавший в 2010 г. на «Оскар» среди документальных фильмов. Фильм довольно серый и унылый, основная мысль, иных чувствительных людей заставляющая и прослезиться, – в том, что люди, они, дескать, как кролики, дай им жратву – они не будут искать свободу, а когда темницы рухнут и свобода их примет радостно у входа – – –. Единственное, но несомненное достоинство фильма – потрясающий футаж.

Первый пример того, какие проблемы можно решать с помощью полосы отчуждения[1], предоставляют нам многочисленные сказки народов мира. Известен, например, мотив, в котором герою требуется прийти к правителю ни пешком, ни верхом, ни голым, ни одетым, ни по дороге, ни по бездорожью, ни ночью, ни днем, ни с подарком, ни без подарка. Диалектически это означает, что герою требуется прийти и пешком, и верхом, и голым, и одетым, и по дороге, и по бездорожью, и ночью, и днем, и с подарком, и без подарка. И герой попадает в полосу отчуждения между этими состояниями, и приезжает к правителю на рассвете, одетым в сеть, сидя на козле и шагая ногами по обочине, с зайцем, которого тут же и отпускает.

8. Лимитрофный человек

Лимитрофные люди, очевидно, существуют.

Возможно, этот тезис следует доказать. Т.е. в абстрактном мире, конечно, существуют они уже хотя бы в силу того, что я их определил; возможно, следует доказать существование не какой-то абстрактной функции, а материального человека, лимитрофного в некотором отношении.

Строго доказать его существование я не могу в силу нестрогости определения понятия «граница»[2]. Зато я дам[3] убедительные примеры таких людей. Насколько далеко (в социальном смысле) изгнанник от, например, изгнавшего его правителя? В чем вообще измерять социальные расстояния? В рукопожатиях? Положим, для простоты можно сказать, что изгнанник бесконечно далек от изгнавшего независимо от определения расстояния, но что делать в промежуточных случаях? Да и вообще – если человек перешел границу и примкнул к другому корпусу, это вообще не относится к теме моего исследования. Меня, да и тебя, читатель, если ты все еще здесь, интересуют случаи – что, если изгнанник не эмигрировал из страны окончательно, а обосновался в приграничной зоне и совершает набеги и грабит корованы? И у него есть союзники среди населения этой страны, т.е. его социальная изоляция не полная? Что делать с членами подполий или, наоборот, гауляйтерами оккупационной власти? Что делать с выкрестами, людьми, временно пребывающими в СИЗО, или Стивеном Хокингом? Это все люди, пребывающие одновременно в двух состояниях, а точнее сказать – содержащие внутри себя границу между какими-то двумя состояниями. Глупо отказывать этим людям в существовании лишь на том основании, что мы не можем определить норму на пространстве социальных отношений.

Вообще, существует множество лимитрофных людей в художественной литературе. Я даже не беру тут представителей «плебейских» жанров литературы типа фантастики – какого-нибудь Джека-из-Тени. Нет, в классике мировой литературы, когда-то плебейском, а ныне респектабельном произведении, памятнике самому себе, «Беовульфе», тоже имеется типич-

[1] Дальше я покажу, как, глядя на мир в парадигме полосы отчуждения, можно ответить на некоторые глобальные и локальные вопросы.

[2] Каковая нестрогость проистекает единственно из нестрогости определения «расстояния», или, математически, нормы на произвольном множестве.

[3] прямо сейчас и здесь, уже даю, будущее время здесь не более чем trope

ное лимитрофное существо – Грендель. Читателю следует всегда держать его в голове. Говоришь «лимитрофный человек» – имеешь в виду Гренделя, говоришь «Грендель» – имеешь в виду обобщенный образ лимитрофного человека. Грендель, очевидно, живет в полосе отчуждения за пределами Хеорота, пиршественного зала, построенного королем Хротгаром; при этом Хеорот частично попадает в полосу отчуждения, но лишь частично, потому что Грендель не может приблизиться к алтарю внутри него – очевидно, сердцевине цивилизованного, безопасного мира. Появление Гренделя несет смерть тем воинам, что не находятся в безопасной, не граничной зоне, смерть по причине нарушения целостности, в буквальном то есть смысле. Грендель обитает со своей матерью не за пределами известного мира (тогда бы о нем или никто не знал, или его существование было бы перпендикулярно существованию датчан), – но и не внутри чертога, олицетворяющего «свой» мир. Следовательно, Грендель живет на границе. Все, докуда он может дотянуться – полоса отчуждения. Грендель – лимитрофное существо. *Voilá.*

Теперь следующий фокус. Мы знаем, что лимитрофный человек находится внутри полосы отчуждения. По определению полосы отчуждения он (лимитрофный человек) не теряет контакта с границей. Иными словами, **граница постоянно находится внутри него.** Значит, лимитрофный человек носит границу внутри себя, поэтому обычному человеку потенциально возможно встретить границу не только на границе, но и в полосе отчуждения, в зоне досягаемости лимитрофного человека. Можно сказать и так, что граница сама себя носит посредством лимитрофного человека, как оса-паразит. Поэтому: встреча с лимитрофным человеком опасна, поскольку это встреча с границей, а граница нарушает целостность нелимитрофного человека и т.д. Граница тут даже не оса-паразит, а вирус.

Самое время также вспомнить о понимании границы как бесконечно тонкой, но вечно движущейся в пределах полосы отчуждения линии. Можно понимать полосу отчуждения и так – как орбиталь границы, определяемую функцией лимитрофного человека, почему нет.

Некоторые сущности лимитрофны *по службе* – пограничники, например, обитающие в полосе отчуждения – и встреча с ними тоже опасна, и опасна только и именно на полосе отчуждения. Если рассматривать Гренделя как пограничника, это будет и хорошо, и свежо. Боевой человекоподобный робот-убийца на страже сил Хаоса.

8а. О Кризисе Середины Жизни

Когда человек думает, что земную жизнь прошел до половины, его охватывает смутное беспокойство, связанное с тем, не перешел ли он уже границу середины жизни? Не превращается ли зрелость в старость? Эта штука называется Кризис Среднего Возраста.

Как и любая граница, средний возраст – с одной стороны рубеж, с другой – вершина, саммит, акмэ. В среднем возрасте Иисус взошел на Голгофу, Мухаммед получил откровение, Будда Шакьямуни достиг Бодхи. А что сделал ты, неудачник? – думает человек во время Кризиса Среднего Возраста. Его состояние описывается стихотворением Гельдерлина *Hälfte des Lebens* (что в переводе с немецкого и означает «Половина жизни»):

В жёлтых цветах висит,
Пестрея шиповником,
В озере берег.
И милый лебедь,
Пьян поцелуем,

Голову клонит
В священно-трезвую воду.

Горе мне! В стужу, зимой,
Где взять мне цветов и
Солнце, и где
Быстролетные тени?
Стоит стена
Безмолвно и холодно, флюгер
Звенит под ветром[1].

Визуальный символ Кризиса Среднего Возраста – немая и холодная стена, ставящая *предел* (sic!) счастливой юности человека с пошлыми лебедями, цветами, солнцем и быстролетными тенями, аудиальный символ – звук флюгера. По ком дребежжит этот флюгер, несчастный? – вопрошает сам у себя несчастный. Не спрашивай, ибо дребежжит он по тебе. Ветер времени начинает выдувать из тебя старческий песок. И человек искусственно начинает жить по-настоящему, его обуревает жажда деятельности, он *двигается* – бросает работу, бросает жену, устраивается на новую работу, меняет место жительства, снова женится, совершает преступление, мечтает поехать в кругосветное путешествие, пишет книгу, учит ирландский, учит армянский, по крайности – меняет мелодию на мобильном. Все, что угодно, лишь бы не думать о жизни, потому что если думать о жизни, то становится совсем страшно. Иллюзия деятельности притупляет этот страх, но не убивает насовсем.

Это реакция нормального человека на то, что он в процессе перехода границы от молодости к старости оказался в полосе отчуждения – и временно стал лимитрофным. *Quelle ironie!* – провести объективно лучшие годы жизни, сокрушаясь о том, что жизнь проходит зря, – с жалостью думает при этом, глядя как бы со стороны, человек с изъяном в психологии, человек, для которого лимитрофное существование вошло в привычку, человек, который ценит 31 августа превыше всех остальных дней в году.

Но при этом и он стремится что-то в своей жизни поменять, потому что его страх еще глубже.

9. О великом множестве границ

Я не написал своевременно, а ведь это довольно важно. Читатель опять может спросить меня, то есть лучше я спрошу его риторически, как Сократ спрашивал Симмия:

– Имеет ли смысл вообще рассматривать какую-то особую полосу отчуждения? Чем она отличается от любого другого состояния? Ведь [почти] любое состояние, общество, положение можно описать как приграничное. Например: камера смертников есть полоса отчуждения между обычной жизнью и адом, монастырь есть полоса отчуждения между обычной жизнью и раем[2],

[1] У этого стихотворения множество переводов, ни один меня полностью не устраивает. Первая его половина — это перевод Анатолия Луначарского, вторая — перевод Грейнема Ратгауза. Обратите внимание, что здесь обыгран здесь мотив середины.

Обыгран он также и в композиции: обратите внимание, в каком месте располагается этот параграф внутри моего труда, докатившегося до середины, но только-только начинающего формулировать самое важное, ради чего и был он написан.

[2] При этом обратите внимание на относительную взаимозаменяемость тюрем и монастырей в Средние века. Функции тюрем вообще сильно изменились в Новое время, это тема отдельного исследования.

бедность есть полоса отчуждения между нищетой и зажиточностью, зажиточность есть полоса отчуждения между бедностью и богатством, богатство есть полоса отчуждения между зажиточностью и неприличным богатством и т.д. Формально говоря, вся жизнь человека проходит в разных полосах отчуждения, поскольку чистые характеры и состояния встречаются крайне редко. Человек путешествует из одной полосы отчуждения в другую, из многих одних полос отчуждения во многие другие.

– В какой-то степени, конечно, это верно, – отвечу я тебе (т.е. сам себе), но:

1) Не надо подходить к вопросу формально. Достаточно выбирать разумные критерии разграничения. Тут я полагаюсь на твою мудрость, Симмий, что ты не будешь в буквально каждом проявлении жизни искать пограничную полосу;

2) После отсечения всех формальных и безумных границ останутся лишь самые важные. Многие люди при таком подходе перестанут быть лимитрофными по отношению к большинству границ. Несколько границ, тем не менее, останется, но важность этих границ будет разной. Лимитрофность – это не индикатор со всего двумя параметрами: 0 или 1. Лимитрофность может проявляться в той или иной степени. Здесь опять же можно полагаться на здравый смысл Симмия, могущего оценить, какую степень лимитрофности следует принимать во внимание. Ситуация та же самая, что с безумием: каждый человек в какой-то степени безумен, но существуют критерии, по которым мы считаем для себя того или иного человека сумасшедшим *по-настоящему.*

3) Общая лимитрофность человека складывается из взаимодействия всех лимитрофностей, воздействующих на него, с учетом их математических весов, конечно. Вообще очень интересно было бы рассматривать человека как живущего в (почти) бесконечномерном пространстве границ; каждая координата в этом пространстве – параметр, по которому мы считаем важным провести границу. Положение человека в этом пространстве можно определить как радиус-вектор лимитрофности, где значение каждой координаты соответствует значению лимитрофности человека по этому параметру. Но это, мой бедный дорогой Симмий, слишком абстрактно для твоего здравого смысла и в высшей степени кубической головы.

Поэтому, Симмий, в дальнейшем можно рассматривать лимитрофность человека лишь по одному параметру, и при необходимости использовать принцип суперпозиции. Когда я говорю про человека, что он лимитрофный или наоборот, то, конечно, имеется в виду чистый характер, не отягощенный затемняющими чертами. Выбор параметров и их важность, равно как и выбор границ внутри каждого параметра целиком остаются на твоей совести. Лично я, видимо, касаюсь в большей степени социальных границ. Вообще: когда я, например, говорю о «зле» и «добре», я точно так же могу сказать про любое свойство, имеющее два полюса.

10. О психологии лимитрофного человека

Особенность лимитрофного человека в том, что его целостность уже[1] нарушена. В нем уже есть некоторое фундаментальное раздвоение, один раз этот человек уже расщепился, неважно – вольно или невольно он пошел на это. В нем что-то фундаментально и необратимо изменилось. Доктор Джекил и мистер Хайд в нем действуют самостоятельно, они не слились в синтезе, как обычный человек, и поэтому лимитрофный человек способен и на (слово «абсолютное» здесь будет слишком сильным, поэтому) более чистое зло, и на более чистое добро, чем нелимитрофный человек.

[1] *Читателю будет небесполезно читать многочисленные «уже» в этом абзаце и в этом примечании так, словно они уже написаны италиком.*

От нарушения своей целостности лимитрофный человек страдает. Обычно это не осознанный выбор – быть лимитрофом или не быть. Человек не хочет жить на границе, он хочет, чтобы граница была везде – это то же самое, что граница нигде. Раз границы нет нигде, лимитрофный человек постоянно нарушает всевозможные границы, в том числе совершает правонарушения и даже убийства – вспомните пример Гренделя. Грендель, кстати, мегапреступник не потому, что он убийца, а потому, что он, хоть и убийца, но вергельда не оплатил. Вот это преступление в глазах германцев наиболее ужасное, вот это попрание всех и всяческих норм и нарушение границ.

Травма, полученная лимитрофным человеком, подобна родовой травме при изгнании из Рая и часто не осознается. Потерявши целостность, восстановить ее почти невозможно, и лимитрофному человеку лучше уже жить на границе. Граница становится его домом, а бывший дом – часто местом и олицетворением зла, или же, наоборот, потерянным раем. Томас Вулф или Владимир Набоков дают нам, наверно, хорошие примеры того, как человек ощущает себя на границе.

10а. О двойственности полосы отчуждения

Полоса отчуждения – не совсем правильный термин. Она не отчуждает границу от основной территории. Она объединяет две сущности, без нее переход между ними был бы резкий до степени невозможности, как прыжок вверх в функции Хевисайда[1] при переходе через ноль. Полоса отчуждения, принадлежа границе и корпусу *одновременно*, смягчает этот прыжок, делает, так сказать, функцию Хевисайда дифференцируемой. Это зона, в которой лимитрофному человеку наиболее комфортно, и одновременно зона, в которой нелимитрофному человеку наиболее некомфортно.

С другой стороны, корпус, Хеорот – зона, в которой лимитрофному человеку наиболее некомфортно, а нелимитрофному наиболее комфортно.

Все это наталкивает на мысль, что Хеорот и полоса отчуждения двойственны друг другу. То есть можно высказать гипотезу, что Хеорот является зоной отчуждения по отношению к вышеопределенной полосе отчуждения, а нелимитрофный человек, соответственно, лимитрофен по отношению к вышеописанному Гренделю.

Теперь можно сделать сальто вперед. Из определения полосы (зоны) отчуждения следует, что внутри основной территории (Хеорота) должно иметься ядро, аналогичное границе внутри полосы отчуждения – самое сердце Хеорота, от которого нелимитрофный человек отдаляться не склонен. Как лимитрофный человек всегда имеет внутри себя отрезок границы, так и нелимитрофный человек всегда имеет внутри себя часть ядра (в «Беовульфе» это алтарь Хеорота).

Эта гипотеза многое объясняет – например, такое понятие как «самость» теперь может быть легко определено в терминах границы и полосы отчуждения; это также наглядная иллюстрация патриотизма, или национальной идеи, или «души нации».

Если теперь сделать сальто назад и вернуться к лимитрофному человеку, у него тоже можно обнаружить свое ядро! Этим ядром является граница, к которой лимитрофный человек так привязан. Поскольку, как уже было сказано, главное отличие лимитрофного человека от нелимитрофного – это наличие раздвоенности, содержание границы внутри себя, то эта самая граница и становится национальной идеей, душой и самостью лимитрофного человека.

---

[1] *Другое название θ-функции, первообразной для δ-функции Дирака: θ'=δ.*

11. О психологии нормального человека

В 1968 г. Леонид Невлер написал для журнала «Декоративное искусство» статью «Культура хамства», опубликованную по цензурным соображениям только в 1987 г.[1] В этой статье он указал на одну неочевидную российскую особенность: разруха [в маленьких городках] отчего-то никогда не доходит до конца. Про Переславль пишется следующее:

> «Одна скамейка перевернута, другая стоит. Не исключено, что если бы и вторую перевернули, кто-нибудь поставил бы ее обратно на ножки, потому что это уже воспринималось бы как беспорядок. Не только на берегу Трубежа, а и во всем городе по-осеннему грязно. Но приглядевшись, вы замечаете, что как-то не совсем грязно, но ровно настолько, чтобы были испачканы ботинки. С этой целью, например, шоссе заасфальтировано, а боковые дорожки лишь кое-где присыпаны камешками. Потом, погуляв по городу, вы убеждаетесь, что тут не увидишь прямого забора, гладкой стены, ровной крыши; что все, что вас окружает, носит на себе какой-то ровный налет морально-физического износа (заглянув в магазин, я убедился, что и новые вещи сделаны с таким расчетом, чтобы не разрушать этого впечатления); что всюду непостижимым образом поддерживается общий среднестатистический уровень отклонения от идеального образца. Так что если бы какой-нибудь архитектор решил во что бы то ни стало построить здесь первоклассное «европейское» кафе и даже протащил свой проект через все инстанции, каждый строитель и маляр невольно постарались бы снизить чуждый их сердцу идеал до того же среднего уровня. А если бы наш мифический архитектор проследил буквально за всем, сам доставал краски и составлял колеры,– то и в этом случае обслуживающий персонал и посетители общими усилиями, хотя, конечно, неосознанно, привели бы интерьер в соответствие со своими представлениями о культурной норме и тогда уже стали бы поддерживать его в нужном качестве».

И действительно, это же везде так. Я сам в глубине души ощущаю такое состояние как свое, родное. Когда я приезжаю в Киров, я тоже обращаю внимание на это положение дел. Это не разруха[2], это нормальное состояние, это приведение в культурную норму. Как возникла эта норма, чему она равна, почему такое вообще происходит в маленьких городах – на эти вопросы можно ответить, если посмотреть на них с точки зрения границы и полосы отчуждения.

Просто – просто – в этом снова проявляется боязнь нормального человека перед границами и стремление границы эти разрушить. Жизнь в маленьком городе существенно отличается от жизни в мегаполисе. В мегаполисе – не всегда, но очень часто – от твоего жилища добираться до работы не меньше часа, отвести ребенка в садик не менее получаса: выходя из дома, собираешься, как на бой, ничего не забыл, ключи, паспорт, телефон, кошелек? – выходишь из дома, в лифте в лучшем случае киваешь соседям, не смотришь им в глаза, одергиваешь не в меру любопытного

---

[1] Найти можно, например, на http://www.cornelius.ru/GB/viewsm.php?id=218960

[2] Если читатель непременно пожелает посмотреть на разруху, то я настоятельно посоветовал бы ему зайти на прекрасный сайт http://goobingdetroit.tumblr.com/. Там можно наблюдать практически в реальном времени упадок Детройта — его по старой памяти еще зовут Motown, хотя автомобильные предприятия там позакрывались. Люди стали уезжать оттуда, или у них не оставалось денег на машины и оплату кредитов — в общем, ситуация похуже, чем в Тольятти. Современные так сказать технологии документально показывают, что творится с городом. На сайте приведены снимки с Google Street View 2009, 2011, 2013, 2014 годов — одна и та же локация в одном и том же ракурсе снята в разные годы бесстрастным взглядом гугломобиля, и видно, как все меняется — вначале исчезает, например, автомобиль у дома (хотя казалось бы), потом выбито стекло в окне, потом перед крыльцом разросся усердно постригаемый раньше куст, да так, что уже и в дом не войдешь, а потом вообще строение сгорело или же видно по снимку, что в нем насрано. Вот это разруха, я понимаю.

ребенка, едешь в общественном транспорте, не смотришь никому в глаза, ни с кем не заговариваешь[1], или едешь на машине, более всего опасаясь задеть другую машину, – в общем, погружаешься в чуждую среду, надеваешь скафандр[2], обмазываешься маслом, чтобы ни с кем не было трений, – одним словом[3], пересекаешь границу. Зимой дополнительно нужно надеть тяжелые ботинки, а они, сука, зашнурованы, надеть штаны и телогрейку, одеть, сука, ребенка, а он сопротивляется, не забыть варежки, если в садик и на работу, то опять кошелек, ключи и т.д. – все это добавляет сложностей к пересечению границы. Фактически это маленький ежедневный подвиг.

Зато дома – вот уж мой дом моя крепость! Дома свое, родное, дома рвань-портяночка, жена в бигудях, а самому пузо можно не держать, и на ребенка орать можно, кого стесняться-то, э, дома же. Жена тем и хороша, что ежели при ней и пукнешь, то это ничего. Ежели мы теперича даже совсем разденемся, так и тут никто ничего нам сказать не может, дома-то!

Публичное пространство большого города, по крайней мере, российского, в целом не предназначено для жизни, в любом случае, для такой жизни как дома, поэтому выход в люди – это переход в другой мир (я не имею в виду пойти потрещать с пацанами за семками).

А что мы видим в маленьком городе? В маленьком городе мы видим, что все уже не так. Ну, как маленьком, – в полумиллионном городе отличие уже довольно большое, судя по опыту моей жизни в двух таких городах; а в совсем маленьком отличие от мегаполиса разительное. Внешняя среда в таких городах все меньше отличается от домашней, зачастую все соседи про всех знают, здороваются на улицах, судачат, могут отвести ребенка в садик, пока доберешься до работы, пять раз перемолвишься словом со знакомыми. Чем меньше город, тем ярче это проявляется. И тем меньше отличие внешней среды от домашней.

А дома кран хоть немножечко, а течет, а ежели не течет, значит, побелка немножечко отвалилась, а еще обои немножечко отодрались, если ремонта, конечно, недавно не было, а еще книжки немножечко помялись и стоят не по ранжиру на полке, а кому господь куда приведет, и чашки от чая по всем комнатам в хаотическом порядке, где допил, там и бросил, и носки под кроватью валяются. Ну и стол, конечно, немножечко поцарапан, или в пятнах, или в кругах из-под кружки, и стул шатается, и лампочка погасла, все некогда новую вкрутить, и так далее. В общем, свое, но не поломанное, а так, слегка не в норме, можно пока не чинить, вот будет ремонт, и починим, а пока можно не торопиться, нет, куда торопиться, все равно скоро ремонт. Чересчур чистая или, наоборот, чересчур грязная улица вызывает неосознанное раздражение, показывает границу между домом и не домом, а человек инстинктивно боится границ. Еще одно свидетельство отсутствия границ в маленьких городках и деревнях – люди гораздо легче ходят друг к другу в гости.

Поэтому норма разрухи в городах приближается к норме разрухи в квартирах, и в пределе совпадает, а предел – это одиноко стоящий хутор, там вообще ежели мы таперича совсем разденемся даже не дома, а во дворе, так все равно нам никто ничего сказать не посмеет. Там совсем никакой границы нет, особенно летом. Отсутствие границ повышает ощущение безопасности людей, и нам ли винить их за небольшую разруху? У нас у всех рептильное сознание доминирует, а у кого не доминирует – те из-за того давно уже вымерли.

И, кстати, раз уж зашла речь о маленьких городках и границах, то тут же легко объяснить и феномен гопников, реднэков, хьюман трэша и т.п. Как-то довелось мне попасть в субботний ве-

---

[1] Омнибус был первым средством передвижения, в котором незнакомые люди, путешествуя, перестали раз-говаривать друг с другом. Теперь отличный повод не общаться дают людям смартфоны.

[2] В последнее время стало модно ездить в метро в марлевых повязках. Есть версия, что истинная цель масконосов — не декларируемая защита от чужой инфекции, и тем более не защита других от своей инфекции, а подсознательное желание отгородиться от других людей, примерно как слушание наушников, чтение книг или компьютерные игры.

[3] Двумя словами.

чер в Строгино, так уж вышло, не суди меня строго, читатель, я был там по делам. Было лето, было жарко, весь берег реки был усыпан – нет, усеян – нет, в общем, кишел людьми. Примерно как в Юрмале на открытии поп-фестиваля «Новая волна», наверно. Что важно – простыми русскими людьми, аборигенам. Было несколько кавказцев, в основном они торговали шашлыками, которые там же и жарили, но в подавляющем большинстве там отдыхали простые белые люди, которые, как считается, кавказцев не любят. Я еще, помню, было какое-то антикавказское обострение, подумал, что нет, не все еще заняли кавказцы, есть еще резервы у простого русского человека! Все они, простые русские люди, были очень благодушны, и были они не только на водохранилище, но и тусовались около магазина, лузгали семечки, пили пиво, в шутку душили друг друга, в общем, всем было весело и хорошо. По раёну рассекали машины и автобусы, люди зачем-то стояли на остановках, хотя, очевидно, никуда не собирались ехать. Человек, к которому я приехал, напоминаю, по делам, расслабился и тоже пил пиво, и рассказывал, что ментов здесь много, и наркотиками торгуют, но никто никого не трогает, потому как все друг друга знают, и менты подменяют, если что, торговцев, а торговцы ментов. Весь район – саморегулирующаяся система, как в маленьком городке. Когда это возможно? Это возможно только при низкой ротации народонаселения и оседлой в целом жизни в черте этого городка, в данном случае – района. Мой собеседник подтвердил, что выезды людей за пределы Строгино случаются крайне редко и воспринимаются обитателями как приключение. Кажется очевидным, что выезд за пределы своего раёна для его обитателей – это пересечение границы. В любом случае мы ничего не потеряем, если определим гопников именно так – как людей, для которых их район окружен некоей границей, подобно поясу Мелиан. Из-за этой границы здесь не так много и кавказцев, видать, или, по крайней мере, они были не на виду.

Граница эта не столько физическая, сколько психологическая. Такое восприятие своего района, как мне кажется – остаток общинной психологии, и в этом разница между гопниками и лимитрофными человеками. Гопника землица родная кормит, она ему силы дает, гопник – это Атлант, а если случится ему стать лимитрофом – вот тут он и обращается в Гренделя, и от злости начинает резать других гопников.

12. О втором начале термодинамики

Тепловая смерть любой замкнутой термодинамической системы есть состояние, при котором между ее частями отсутствует обмен энергией. Это означает, что энтропия системы максимальна, то есть все ее элементы равноправны, поскольку энтропия, грубо говоря, есть мера хаоса. Во всей системе одинаковая температура, одинаковая плотность частиц, нет ни дьявола, ни бога, ни раба, ни господина. Великое Ничто. Тепловая смерть есть следствие того, что энтропия системы является полуинвариантом, она может только увеличиваться. Локально энтропия может уменьшаться, но если брать систему в целом – по второму началу термодинамики она может только увеличиваться, и, более того, она увеличивается при каждом изменении системы, или, другими словами, при любом действии[1]. Да-да, и написание, и даже понимание осмысленного текста приближает тепловую смерть вселенной; а написание неосмысленного может означать, что где-то вышел в свет текст осмысленный, и этот хаос и поток сознания – сравнительно мягкая расплата за его написание.

[1] *Поэтому сентенция, что любое деяние совершенномудрого идет на благо миру, является булшитом, если не считать благом, конечно, скорейшее приближение тепловой смерти Вселенной.*

С энергетической точки зрения граница, или барьер, есть сгусток энергии, сосредоточенной вдоль некоторой силовой линии. Эта энергия находится в неустойчивом равновесии, и по второму закону термодинамики барьер должен с течением времени снижаться, а его энергия расходиться в стороны от барьера. Расходящаяся энергия барьера и есть полоса отчуждения.

Понятно, что выравнивание системы, или, давайте уж не лицемеря считать Вселенную замкнутой системой, увеличение энтропии Вселенной означает (в глобальном смысле) размытие границ. Тепловая же окончательная смерть есть полное отсутствие границ. Границы тем самым выступают на стороне Порядка против сил Хаоса. Полоса отчуждения в нормальном состоянии не может существовать без границы, и тем самым она тоже на стороне Порядка. Обычный человек (и особенно ГОПНИК), страшась границы, выступает тем самым на стороне Хаоса; лимитрофный человек, будучи врагом обычного, является, следовательно, сторонником Порядка. Диспозиция такая.

Повторю еще раз, капслоком: мы только что доказали, что ГОПНИКИ СУТЬ ХАОСИТЫ. Обратно не обязательно верно.

Дальше: по второму началу термодинамики границ в мире становится меньше и меньше, в частности, например, отмирает в мире апартеид, дискриминация по половому признаку, сексуальной ориентации и т.д. В каком-то смысле прогресс – это и есть приближение к тепловой смерти Вселенной. А границы – это такое возвращение к корням, сохранение традиций, устоев, Домострой, четкие границы.

Тут есть [кажущееся] противоречие. Получается, гопники, с одной стороны, суть хаоситы, поскольку они стремятся избавиться от границ; с другой стороны, многие разделяют мнение, что они суть сторонники порядка, поскольку стремятся сохранить старый строй и его границы, то есть разделение на мужчин и женщин, на своих и чужих, на гомо- и гетеро-, вот это вот все.

Тут читателю время остановиться и подумать: а правильно ли я читаю? Не скольжу ли я взглядом по тексту, не понимая его, аки водомерка по поверхности пруда? Если ответ на второй вопрос утвердительный, то это вопрос к автору: требуется ли писать гладко, чтоб читатель не спотыкался и не пошел, например, пить пиво вместо того, чтобы читать? Если не одергивать себя постоянно и не останавливаться, возвращаясь к прочитанному, то пролетишь мимо текста, *параллельно* думая, например, о том, как помириться, я не знаю, с женой, или чего приготовить на ужин. С этой точки зрения я хорошо понимаю Станислава Лема, философские и культурологические работы которого совершенно нечитабельны – но понимаю также, что Лем здесь не совсем прав, нужно очень большое желание, чтоб его прочесть, он находится близ, так сказать, одного из полюсов, а близ противоположного полюса находится какая-нибудь гладкая, «стилевая» проза таких авторов, как Кафка, Беккет или Дмитрий Данилов[1].

Для меня ответ такой: я не могу писать так же занудно, как Лем, хотя, возможно, в данном случае это имело бы смысл, поэтому одергивать читателя приходится грубо и зримо. Так, один мой знакомый, ныне покойный, фотографируя свадьбу, просто кричал: «Эй, народ!» Народ оборачивался, и знакомый этот делал свой снимок на мыльницу. Другой же, профессиональный фотограф, работал ногами и корпусом, выбирал ракурсы, старался, чтобы люди забыли про камеру и вели себя естественно – в общем, все как полагается. Участникам свадьбы, думаю, было равно интересно рассматривать снимки обоих. Желающий понять текст да поймет его.

---

[1] В середине между этими полюсами — писатели типа Набокова, которые в целом пишут очень гладко, но иные их пассажи заставляют читателя вернуться и для полного понимания перечитать их снова. Какие-то грамматические неточности, смена стиля, неочевидные метафоры, может быть. Другой способ сбить читателя со скольжения по тексту — делать сноски, выделять отдельные слова и выражения **италиком** *или* болдом *без всякой логики, применять побольше иностранных, устаревших, искаженных слов и прочее в этом духе. Например, я вполне мог бы оставить текущий пассаж в основном тексте вместо того, чтоб делать примечание.*

В общем, если читатель подумал над указанным выше якобы противоречием, скользя, как водомерка, над последними двумя абзацами, то он должен был понять, что противоречие заключается в ложной пресуппозиции: отчего-то по умолчанию считается, что хаоситы (буду дальше так называть гопников, патриотов, гомофобов, религиозных фанатиков, *Ekwilist*ов и проч.) *стремятся сохранить прошлое!* Они его сохраняют, но не потому, что так уж хотят. Они боятся границ и, будь их воля, разрушили бы их, и разрушают те границы, до которых могут дотянуться. Но не стоит забывать, что для того, чтобы границу разрушить, нужно к ней приблизиться, т.е. перейти полосу отчуждения; чем шире полоса отчуждения, тем сложнее ее преодолеть; бедные хаоситы жмутся на постоянно сужающихся пространствах и смотрят, как полосы отчуждения вокруг них все шире и шире – как кролики на затапливаемом водою холме все время отсаживаются повыше при повышении ее уровня[1]. При дальнейшем наступлении хаоса и затоплении всех холмов хаоситам придется научиться плавать или, по крайней мере, не бояться воды – и стать, возвращаясь от прекрасных метафор к предмету нашего эссе, лимитрофными людьми. Впрочем, к тому времени понятие «лимитрофный человек» потеряет смысл за отсутствием предмета обсуждения.

Да, да. С помощью второго начала термодинамики я только что показал, что рано или поздно всем людям придется стать лимитрофными. Барьеры понизятся до уровня моря, останется одна большая полоса отчуждения, которой, впрочем, при неминуемой полной победе хаоса уже нечего будет отчуждать. Барьеры рухнут, и свобода их примет радостно у входа[2].

В англоязычном романе Набокова *Bend Sinister* можно найти хорошо сформулированную, как мне кажется, высказанную утопическую идею того, что тотальное разрушение границ между гражданами по второму закону термодинамики ведет к их объединению в один организм и благорастворению в нем. Здесь же видно, как мила сознанию хаосита мысль об отсутствии границы. Вождь нации, Падук, говорит в радиоречи:

> *From now on ... the way to total joy lies open. You will attain it, brothers, by dint of ardent intercourse with one another, by being like happy boys in a whispering dormitory, by adjusting ideas and emotions to those of a harmonious majority; you will attain it, citizens, by weeding out all such arrogant notions as the community does not and should not share; you will attain it, adolescents, by letting your person dissolve in the virile oneness of the State; then, and only then, will the goal be reached. Your groping individualities will become interchangeable and, instead of crouching in the prison cell of an illegal-ego, the naked soul will be in contact with that of every other man in this land; nay, more: each of you will be able to make his abode in the elastic inner self of any other citizen, and to flutter from one to another, until you know not whether you are Peter or John, so closely locked will you be in the embrace of the State.* (Отныне ... путь ко всеобщей радости открыт. Вы добьетесь ее, братья, пылко соединясь друг с другом, уподобясь счастливым мальчикам в шепчущей спальне, настроив свои мысли и чувства на мысль и чувство гармонического большинства; вы добьетесь ее, сограждане, искоренив высокомерные представления, которых общество не разделяет и не должно разделять; вы добьетесь ее, молодежь, позволив своей личности раствориться в зрелом единении с

[1] В качестве художественного бонуса можно снова упомянуть залив Фанди, который уже упоминался в начале эссе — как ружье, повешенное на стену. Другим выстрелившим здесь ружьем является упоминание кроликов из фильма про Берлинскую стену. К слову, читая меня, вы всегда можете быть уверены, что если в первом акте на стене висит залив Фанди, в каком-нибудь из последующих он обязательно как выстрелит.

2 Это, как вы поняли, снова ружье, связанное с высказыванием относительно кроликов и Берлинской стены. В дальнейшем я не буду комментировать все стреляющие ружья, тем более, возможно, некоторые выстрелят случайно. Этот случай примечателен тем, что Берлинская стена выстрелила два раза, а я не намеревался делать ее повторяющимся мотивом. И братья меч вам отдадут.

> Государством; тогда – и только тогда – эта цель будет достигнута. Ваши бредущие во тьме индивидуальности станут взаимозаменяемыми, и ваша нагая душа не будет корчиться в тюремной клетке несанкционированного эго, а соприкоснется с душой каждого другого человека этой земли; более того: каждый из вас сможет найти приют в гибком внутреннем «я» любого из сограждан и перепархивать от одного к другому, пока вы не перестанете различать, Иван вы или Петр, или Сидор – так плотно обнимет вас Государство.)[1]

13. Россия в 2014 г.

В этой связи интересно посмотреть, что происходит сейчас, в сентябре 2014 г.[2], в России? В России происходит следующее.

Хаоситы, будучи неспособными разломать большую часть границ, все-таки отодвинули или разрушили некоторые – например, госграницу на крымском направлении, сломали границу между нормой и ее отсутствием в этическом и даже психиатрическом отношении, расширили зону комфорта так, чтобы быть подальше от меньшинств разного рода (в том числе эстетических) – иными словами, некоторые полосы отчуждения ликвидировали, а некоторые существенно сузили.

По определению полосы отчуждения это означает уменьшение пространства для лимитрофных людей. Поскольку физическими терминами («расстояние», «пространство») мы оперируем в основном ради иллюстративности, сужение полосы отчуждения означает сужение пространства возможностей для лимитрофных людей, и даже сужение их жизненного пространства. Остались почти только границы. На полосе отчуждения жить уже невозможно. Нужно отчетливо определиться: ты за русских, сука, или за украинцев, либераст ты или ватник, разделяешь западные ценности или любишь свое, исконно-посконное. Многие лимитрофные люди до сих пор этого не поняли, и отсюда испытывают постоянные травмы, вызванные тем, что они пытаются выйти из своей зоны существования и больно натыкаются на неведомые ранее пределы. Можно сказать, что хаоситы, как члены секты ГИБДД, понарасставили везде *кирпичей*, и теперь штрафуют и не пущают лимитрофных автомобилистов. Про хаоситов тоже можно сказать, что они еще не поняли всей своей власти и победы над лимитрофными и пока не пользуются ее плодами в полной мере.

Россия с Украиной – хороший пример того, о чем я говорю. Донецкая, Луганская, Харьковская области, Крым до февраля 2014 г. были типичной полосой отчуждения между двумя странами, живущие там люди в большинстве своем были лимитрофами – непонятно было, где кончалась Украина и начиналась Россия. Можно было повторить трюк французского лингвиста, путешествуя из Ростова в Киев. К середине 2014 г. человек, который не определился, москаль он или хохол, с некоторой неприемлемо большой вероятностью мог уже не выжить. Хаоситы, т.е. определившиеся, получили право убивать неопределившихся.

Как и столетие назад, мы видим победу одной из сил в отдельно взятой стране. Эту победу, как и в примере с написанием бессмысленного текста в качестве написания за существование осмысленного, можно считать очередным историческим примером компенсации того, что в остальном мире порядок в противостоянии с хаосом еще держится или даже локально возрастает.

---

[1] Перевод Сергея Ильина, сильно обезображенный мной.

[2] Я пишу о событиях в настоящем времени, но на сей раз это не trope. К моменту прочтения этого опуса время вполне может поменяться на прошедшее; однако я описываю современные мне события, и не могу от-казаться от этого даже ради квазинаучного стиля изложения.

Сломав границы, их не так просто восстановить. Домой возврата нет, мир никогда не будет прежним. Это, возможно, слабое утешение для тех, кто не любит войну, но лично для меня возможность видеть падение мира и точку «до» и «после» в относительной безопасности – чрезвычайно ценный опыт, и я благодарен за нее судьбе. А что мне еще остается делать, ведь я – – –

14. Стихотворение Фроста и перевод Степанова

Написав все предыдущее, я вдруг вспомнил стихотворение Роберта Фроста и его перевод, сделанный Сергеем Степановым. По-моему, и то, и этот очень хорошие. И соответствует вышенаписанному, что немаловажно. Это можно было бы взять эпиграфом, но зачем, зачем.

MENDING WALL	ПОЧИНКА СТЕНЫ
Something there is that doesn't love a wall, That sends the frozen-ground-swell under it, And spills the upper boulders in the sun; And makes gaps even two can pass abreast. The work of hunters is another thing: I have come after them and made repair Where they have left not one stone on a stone, But they would have the rabbit out of hiding, To please the yelping dogs. The gaps I mean, No one has seen them made or heard them made, But at spring mending-time we find them there. I let my neighbour know beyond the hill; And on a day we meet to walk the line And set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. To each the boulders that have fallen to each. And some are loaves and some so nearly balls We have to use a spell to make them balance; «Stay where you are until our backs are turned!» We wear our fingers rough with handling them. Oh, just another kind of out-door game, One on a side. It comes to little more: There where it is we do not need the wall: He is all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across And eat the cones under his pines, I tell him He only says, «Good fences make good neighbours.» Spring is the mischief in me, and I wonder If I could put a notion in his head: «Why do they make good neighbours? Isn't it Where there are cows? But here there are no cows. Before I built a wall I'd ask to know	Есть нечто, что не любит стен в природе: Оно под ними в стужу пучит землю, Крошит на солнце верхний ряд камней И пробивает в них такие бреши, Что и вдвоем бок о бок там пройдешь. Охотники – не так! Я их проломы Заделывал не раз: на камне камня Они не оставляют, чтобы выгнать Забившегося кролика на псов. А эти кто пробил? Ни сном ни духом... Но каждою весной они зияют! Соседа я зову из-за холма. Выходим на межу и начинаем Меж нами стену возводить опять. Мы вдоль стены идем, блюдя межу, И поднимаем камни, что упали. А камни – то лепешки, то шары, Такие, что лежат на честном слове: «Лежи, покуда я не отвернусь!»– Их заклинаю, ободрав ладони. Ну вроде как игра «один в один". Доходим мы до места, где как будто Стены вообще не нужно никакой: Он – весь сосна, а я – фруктовый сад. «Ведь яблони есть шишки не полезут!» – Я говорю, а он мне отвечает: «Сосед хорош, когда забор хорош». Весна меня толкает заронить В его сознанье зернышко сомненья. «Зачем забор? Быть может, от коров? Но здесь же нет коров! Не лучше ль прежде Чем стену городить, уразуметь –

What I was walling in or walling out, And to whom I was like to give offence Something there is that doesn't love a wall, That wants it down.» I could say «Elves» to him, But it's not elves exacdy, and I'd rather He said it for himself. I see him there Bringing a stone grasped firmly by the top In each hand, like an old-stone savage armed. He moves in darkness as it seems to me, Not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, And he likes having thought of it so well He says again, «Good fences make good neighbours».	Что горожу, кому и от кого? Какие причиняю неудобства? Ведь нечто же не любит стен в природе И рушит их...» Ему б сказать я мог, Что это эльфы... Нет, совсем не эльфы! Пусть поразмыслит... Он же две булыги В руках сжимает, словно бы оружье – Ни дать ни взять пещерный человек! И чудится, что он идет во тьме – Не то чтобы он шел в тени деревьев... Не сомневаясь в мудрости отцов И, стоя на своем, он повторяет: «Сосед хорош, когда забор хорош».

15. Обо мне

– – – А что мне еще остается делать, ведь я лимитрофный человек. Говорю это без самолюбования или горечи, в конце концов, я только что показал, что первые ничем не отличаются от вторых. Первого марта 2014 г., был, помню, выходной, погода слишком теплая для зимы и слишком холодная для весны, – словом, в самой что ни на есть полосе отчуждения между сезонами, – я гулял с детьми на площадке и заодно смотрел на телефоне новости, фэйсбук, наверно, и прочел, что Путин попросил Совет Федерации разрешения на ввод войск в Украину.

В понедельник мы уже искали в интернете адреса контор, оформляющие вид на жительство за рубежом. В одной скучной адвокатской конторе хорошо одетый господин с усами разъяснил мне, что максимум, на что мы можем рассчитывать – это Восточная Европа, лимитрофные государства, причем почти везде нужно открывать свое Дело. Бизнес, без него не проживешь! Проще и дешевле всего было в Латвии, и за оформление ВНЖ там господин с усами заломил в общей сложности четыре с половиной тысячи евро, это только за его услуги, не считая остальных расходов. Я сказал, что подумаю, и господин с усами понимающе покивал. Вообще-то все, что он предлагал, можно сделать самостоятельно. Время поджимало: ходили слухи (потом, кстати, подтвердившиеся), что в той же Латвии скоро получить вид на жительство станет гораздо сложнее и дороже. Путин захватил Крым. Вежливые люди появились на востоке Украины. Рубль падал.

Одновременно мне стали названивать из военкомата, чтобы я прибыл к ним, есть, мол, им до меня какое-то дело. Говорил со мной человек по имени отчего-то Николай Васильевич, и довольно вежливо говорил, хотя и армейский человек. До сих пор мои взаимоотношения с военкоматом были эпизодическими, верней сказать, спорадическими: в школе у меня была астма, точней сказать, бронхит с астматическими компонентом, поэтому на военную кафедру в университете меня не взяли, и у меня был еженедельный дополнительный свободный день. Учился я не по месту жительства, поэтому, естественно, все повестки игнорировал; на сборах ни разу не был, по окончании университета пошел в аспирантуру, защитился, стал кандидатом наук, потом они от меня отвязались, а потом я уже и стар стал для армии, а потом, хотя и старый для армии, стал молодым отцом, потом молодым многодетным отцом, в общем, дальше меня от армии мало кто вообще мог быть.

Роковой ошибкой было то, что мы поселились рядом с военкоматом, они откуда-то узнали мой телефон и звонили до тех пор, пока я таки к ним не пришел. Как раз начался весенний при-

зыв, во дворе военкомата было многолюдно, недоросли толпились на крыльце и в коридоре перед турникетом, я не мог пробиться сквозь их душную, пованивающую гормонами толпу и позвонил Николаю Васильевичу, Николай Васильевич велел передать телефон вахтеру, тот пропустил меня, я поднялся на второй этаж, Николай Васильевич вклеил в мой военный билет мобилизационное предписание, чтобы на случай войны я в течение часа (поскольку живу рядом) явился в учреждение и приступил к своим обязанностям посыльного. Зато на фронт не пошлют, успокоил меня Николай Васильевич, будете ходить по квартирам и собирать призывников. Отдельно он подчеркнул, хотя я его и не спрашивал, что это плановая формальность, с Украиной никак не связанная. Нет, нет, не связано с Украиной, говорил Николай Васильевич.

В начале апреля я полетел в Ригу, три дня ездил по городу и выбирал квартиры. Составил шорт-лист для Сладкой N. В аэропорту, улетая, встретил сокурсника, довольно шапочного. Он как раз оформил в ускоренном порядке ВНЖ и упомянул третьего сокурсника, которого я вообще не знаю, в том смысле, что ВНЖ для него уже оформлялось. Через неделю в Ригу полетела Сладкая N., посмотрела еще несколько квартир и выбрала ту, в которой нам надо будет жить. Формальности с открытием счета в латвийском банке заняли еще две недели. Одновременно мы подали справки об отсутствии судимостей, это заняло также больше месяца. Путин в это время говорил про Новороссию и уникальную способность русского человека умирать на людях, превознося это как конкурентное преимущество русского человека, на миру и смерть красна, говорил он в своем выступлении перед Российским Народом, и одновременно «аналитики» ждали начала Четвертой Мировой.

В конце апреля Четвертой Мировой не случилось, тогда ее стали ждать на 9-е мая. К тому времени Сладкая N., открывшая в Латвии счет, получила-таки Справку об этом, каковую справку она в должном порядке предоставила Налоговой Службе России, с тем, чтобы Налоговая Служба России предоставила ей Документ, который нужно передать в Российский Банк, с тем, чтобы Валютный Контроль Российского Банка одобрил Перевод Денег в Иностранный Банк, с тем, чтобы потом эти Деньги из Иностранного Банка попали на Счет Сделки в Другом Иностранном Банке, с тем, чтобы Владелец Квартиры, получив Деньги со Счета Сделки на свой Личный Счет, сделал Запись в Земельной Книге Латвии, с тем, чтобы потом мы смогли предоставить эту Запись в Земельной Книге Латвии в Консульство Латвии, с тем, чтобы, наконец, на основании Записи в Земельной Книге Латвии нам дали Вид на Жительство в Латвии. Все эти итерации занимали довольно продолжительное время. Так, например, запись в Земельной Книге делается десять дней и стоит двадцать евро; деньги из России Заграницу идут три дня и стоят некоторый процент от суммы перевода; получение Документа из Налоговой Службы России бесплатно, но занимает две недели. Помимо обычных препятствий, возникали Непредвиденные, особенно ярко они проявили себя в Налоговой Службе России. Сначала было Первое Мая, праздник, когда всем госслужащим грешно работать. Потом было Второе Мая, то же самое. Потом было третье мая, но это Суббота, госслужащим грешно работать. Потом четвертое мая, Воскресенье, госслужащим грешно работать. Потом Пятое мая, казалось бы, понедельник, но госслужащие согрешили, поработав Двадцать Третьего Февраля того же года, и теперь, в качестве епитимьи, не работали Пятого мая. Потом было шестое мая, работать госслужащим было грешновато, но в принципе можно, впрочем, они все равно не работали. В четвертом окошке сидела девушка и не работала особенно, только красила ногти, и говорила всем присутствующим по любому поводу, что этим она не занимается; Сладкая N. невероятным, чудовищным усилием смогла найти Ашота, который этим все-таки занимается (хотя и не хочет), на звонки из внешнего мира служащие Налоговой Службы России не отвечали принципиально, но девушка с ногтями позвонила Ашоту по номеру внутреннему, и он пришел, и выяснилось, что этим он тоже не занимается, и во-

обще Справку Сладкой N. они потеряли, и нужно принести еще одну Справку. Сладкая N. приложила не чудовищные уже, а нечеловеческие усилия, и Справка нашлась, но не хватало чего-то еще. На третий свой визит в Налоговую Службу Сладкая N. получила Документ, но в Российском Банке выяснилось, что это не Искомый Документ, а Какой-то Другой Документ, так что Сладкой N. снова пришлось идти в Налоговую Службу и получать Искомый Документ. Потом были выходные в Латвии, а Четвертая Мировая все не начиналась, и было немножечко нервно, а тут уже и Санкции подоспели, но это как раз ничего, Санкции, когда говорит искусство, пушки молчат, и слава богу. Лишь бы не было войны.

К тому времени выяснилось, что все завершить нужно к первому сентября, потому что первого сентября карета превратится в тыкву, вид на жительство в Латвии подорожает до 250 тысяч евро. Но мы, кажется, успевали, хотя ни за что ручаться и нельзя было.

В Латвийском консульстве все оказалось мило. В конце июня мы подали миллион разнообразных документов, у нас их приняли, они, к удивлению, оказались оформлены правильно. Оставалось ждать еще месяц.

В июле упал самолет, а через несколько дней мы поехали в Латвию, в нашу новую квартиру, в старый деревянный дом, построенный в 1912 году. На фасаде дома располагалась забавная опечатка, я никогда еще таких не видел: написано было «1812». Хронологически древняя и удивительно долго сохранявшаяся опечатка, а теперь, конечно, тщательно хранящаяся как почтовая марка с браком. Через два дня после прибытия я совершенно ментально излечился: никто не говорил ни об укропах, ни о ватниках, ни о сбитом «Боинге», ни о чем таком. Я уже и не помнил, кто они все такие. И хотя я читал те же новости, что и всегда, в моем рассудке установился покой.

Латвия – лимитрофное государство. Это проявляется в ее географическом положении, обуславливается исторически и демографически. Как любая полоса отчуждения, она не противопоставлена «западному» и «российскому» мирам, она объединяет их: люди говорят на двух языках, пользуются преимуществами двух систем. Платой за это является потеря идентичности и национальной идеи, но, как и было сказано в соответствующем месте, в национальную идею тут превращается само пограничное и двойственное положение этой страны.

Лимитрофному человеку легко жить в лимитрофном государстве. Наша новая квартира располагается в лимитрофном районе – это не центр, но и не окраина, живут там люди скорее зажиточные, но не богачи – словом, абсолютный мидл-класс во всех описанных выше отношениях. Мне не приходится с выпученными глазами бегать по государству эквилистов, уворачиваясь от ценностей алтаря Хеорота. Мое ядро – граница. Я Грендель. В моем рассудке установился покой[1].

16. О просветлении

Все несчастливые книги заканчиваются по своему, все счастливые книги заканчиваются одинаково – просветлением.

Дайсэцу Судзуки пишет в предисловии к «Мумонкану»:

[1] *Fifty two point two eight five seven one four two eight five seven one four two greatgranma Ma grew how do you do blooming thanks and you drooping thanks and you withered thanks and you forgotten thanks and you forgotten too greatgranma Ma grew and the same to you.* За этой мелодией следовала другая: *Fifty one point one four two eight seven one four two eight seven one oh a bun a big fat bun a big fat yellow bun for Mr. Man and a bun for Mrs. Man and a bun for Master Man and a bun for Miss Man and a bun a big fat bun for everyone four two eight five seven one four two eight five seven one till all the buns are done and everyone is gone home to oblivion.*

> Индусские философы называют глаз высшего разума третьим глазом Махендры. Говорят, что он открывается посередине между двумя обычными глазами. Когда третий глаз заявляет о себе, его проявления парадоксальны и противоречивы. Для него гора – это гора, но в то же время и не гора. Придавая этому утверждению логическую форму, получим: А есть А, А есть не-А; ноль равняется бесконечности; нечто одно есть всё, всё есть нечто одно. ... Чтобы понять дзэн, рано или поздно мы должны окунуться в мир не-дуальности и пережить то, что невыразимо в относительных терминах. Пока мы остаемся в сфере этого и того, мы никогда не можем получить окончательный ответ на вопросы «Что такое жизнь?», «Где конец рождения-и-смерти (сансары)?», «Куда ведет нас наша судьба?», «Откуда мы получаем жизнь?» и так далее.

Двадцать четвертый коан в «Мумонкане» звучит так:

> Монах спросил у Фукэцу:
> – И слова, и молчание в равной мере ошибочны; как нам избежать ошибки?
> – Я часто вспоминаю провинцию Конан в марте; куропатки кричат среди душистых цветов, – ответил Фукэцу.

Просветление есть не что иное, как выход за пределы дуальности. На плоскости, конечно, есть разница между словами и молчанием, между А и не-А. Находясь в плоскости, эту границу пересечь нельзя. Стоит выйти в третье измерение – и сразу находится полоса отчуждения, и эта полоса отчуждения – «Я часто вспоминаю провинцию Конан в марте; куропатки кричат среди душистых цветов»[1, 2].

Мир един, и в нем нет границ; подлинно просветленный человек есть подлинно лимитрофный человек: он растворился во вселенной и больше никогда не переродится; он попал в Великое Ничто, где нет границ, а есть лишь одна большая Полоса Отчуждения.

---

[1] *Ср. с таким же поразительным примером Юрия Коваля, завершающий (sic! все счастливые книги заканчиваются просветлением!) его великое произведение:*

— Ты-то что молчишь? — сказал Орлов и снова ткнул меня в спину. — Потонем или доплывем?

— Конечно, язь и на майского жука берет, — ответил я. — Да только где возьмешь майского-то жука на исходе лета?

[2] *Ср., с другой стороны, с упомянутым выше мотивом о герое, который ни пешком, ни верхом, ни с подарком, ни без подарка и проч.*

Андрей ПЕРМЯКОВ

«ЕСЛИ СПРОСИТЕ – ОТКУДА...»

Рябоконь Д. Русская песня. Стихи 1998–2013 годов. – Екатеринбург – Москва: Кабинетный ученый, 2014. – 128 с.

Буквально в эти самые дни, на последней неделе сентября 2014 года екатеринбургский музей «Литературная жизнь Урала XX века» проводит всероссийскую конференцию «Уральское поэтическое движение (1981–2013). История, аналитика, прогнозы». Судя по тематике докладов, больше всего внимания будет уделено способам взаимовлияния различных авторов и течений за тридцать с лишним лет развития региональной поэтической школы. А ещё прозвучит, например, сообщение на тему «Культуртрегер, филолог, поэт, журналист: литературно-критические роли и стратегии в УПШ». Это очень верно и по делу: единый процесс невозможен без взаимовлияния, взаимопродвижения и немного ревнивого слежения за успехами собрата. И да, стратегия, конечно. Какое без неё развитие?

Но как быть с теми, кто остался в стороне от процесса, в этом процессе незримо присутствуя? Вот, например, поэт Дмитрий Рябоконь. Из трёх подготовленных Виталием Кальпиди томов «Антологии современной уральской поэзии» стихи Дмитрия были напечатаны в одном, в самом первом, вышедшем в Челябинске аж в 1996-м году. О причинах отсутствия в последующих выпусках гадать не будем, но вот в «Энциклопедии Уральской поэтической школы», появившейся год назад стараниями того же Кальпиди сотоварищи, фамилия Рябоконь встречается очень часто и в разных контекстах. Правда, большей частью – в историческом. Как одного из тех, кто формировал этот самый феномен новой уральской поэзии.

Получается, формировал, формировал и перестал? Может такое произойти? Вообще, может. Впрочем, дадим слово самому Дмитрию Рябоконю: «Что я в поэзии не выношу? Не выношу заумь, герметичность, размытость смыслов, муть. Самое главное для меня – чтобы стихотворение схватывалось с первого раза. Ну, может, со второго. Ну, с третьего, на худой конец. Но чтобы разгадывать его, как кроссворд... Такого я не приемлю. Главное: поэт – это хранитель языка. Второе: поэту не надо искать трагедии. Его трагедия в том, что он – поэт. И третье (моя установка): мелких, неважных тем – нет. Весь мир для поэта – это повод для стихов».

Как видим, если убрать оценочные и эмоционально окрашенные сущности, останется неприятие герметичности и смысловой двойственности. То есть – едва ли не базовых феноменов, характеризующих нынешнюю уральскую поэтическую школу. Причём давно так уже характеризующих, примерно со времён «Нижнетагильского поэтического ренессанса» (формулировка Данилы Давыдова).

Генезис же стихов Дмитрия Рябоконя был совершенно иным. Растут они из группы «Интернационал», возникшей в тусклом городе Свердловске середины восьмидесятых годов. Само название было эпатажем: престарелая советская власть, подобно скупому рыцарю, оберегала свой капитал, в первую очередь символический. Группа, куда входило немало интересных авторов, в частности – нынешний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, манифестов, кажется, не выпускала, но вполне отчётливой нотой в звучании составлявших её поэтов была тенденция к снижению пафоса, столь характерного для конца непрекрасной эпохи. Одновременно в сообществе «было принято тренировать мускулы сочинением антологических стихов» – это формулировка Олега Дозморова из предисловия к новой книге Дмитрия Рябоконя.

Парадокс? Вряд ли. Скорее адаптация поэта к жизни между действительно пошловатой реальностью тогдашней «столицы Урала» и эмпиреями классики. Собственно, и сам лирический герой, неотделимый от облика автора, непременно декларировал собственную асоциальность в качестве не цели, но средства:

.... в загуле не видишь себя ни мелким,
Ни жалким, легко выпадая....

Юродство было (или казалось) единственным способом выхода к честному высказыванию в мире тотального и неприятного вранья. В первую очередь – к высказыванию, честному перед самим собой:

Нужно долго маяться, нужно долго
каяться,
Оправдаться строчками – Храмом
На Крови...
То, что было у меня, лишь меня касается,
Обжигая пламенем боли и любви.

Удивительно вот это «нужно» в первой строке, практически исключающее любой иной путь. А потом времена чуть переменились. И город. И состав поэтического воздуха тоже. Кто-то почувствовал себя в новой атмосфере органично, кто-то ушёл из поэзии в филологию или политику, кто-то, как Роман Тягунов и Борис Рыжий, задохнулся физически, сам сделавшись частью антологий. Посвящения ушедшим друзьям в новой книге Рябоконя удивительны. Может быть, это лучшие стихи сборника. Вот, например, Тягунову:

Белый, белый, белый снег,
Взял и сгинул человек,
Искрометное письмо,
Что мы скажем? – NEVERMORE.

Снег идет, идет, идет,
Нам друзей не достает,
Остается пустота
В виде чистого листа...

А это – с отчётливой отсылкой к знаменитому стихотворению Рыжего про восьмидесятые, в свою очередь бывшего парафразом текста Давида Самойлова о сороковых-роковых:

Семидесятые, патлатые,
Цепочки, клеши и платформы,
Семидесятые – поддатые
На вечеринке выше нормы.
К «Аккорду» «Нота» подключается,
Со скрипом крутятся бобины,
Глухой динамик надрывается,
Очередные годовщины.
У пацанов в чести «Слейдятина»,
А дискотня – по просьбам телок,
И, если проверять внимательно, –
Опять не досчитаться целок.
Столешница – в плодово-ягодном,
И, кажется, садист-Мичурин
Рыдает бурно в термоядерном
Дыму безумных винокурен.

Напомню: Рябоконь ведь не только друг Рыжего и один из соучредителей премии «Мрамор», но также герой прозы Бориса. Ну, как герой? Слово «герой» к персонажу этому подходит лишь в минимальной степени, с огромной долей иронии. Помните историю про строительство голубятни, завершившуюся для условного «Димы Рябоконя» весьма печально? Кто не помнит, прочтите, проза эта в Интернете доступна. А теперь вот ни друга, ни, оказывается, голубятни:

Голубятня сгорела. Голуби превратились
в гриль,
И пожарные прыгали вокруг,
как стадо горилл.
<...>
Видимо, был этот важный урок
для тебя не впрок,
Впрочем, не впрок, безусловно,
любой серьезный урок.

А мир вокруг вроде бы прежний. Локальный такой уральский мир. Уверяю: разглядеть сквозь нынешний глянцевый Екат тот старый Свердловск очень сложно! Город изменился за последнюю пару десятилетий, как мало какой иной в России. Нет, поэтически он, Свердловск, существует. Например, в стихах-воспоминаниях Олега Дозморова. Или у Сергея Ивкина – как нечто просвечивающее и мерцающее через стекло небоскрёбов. Но в новой книге Рябоконя Свердловск живёт по-прежнему данный нам в ощущениях:

Простой панельный бред пятиэтажный,
Где каждый тащит отведенный крест,

Где в холода (и это – очень важно),
Сильнее мерзнет угловой подъезд.

Это не воспоминание о минувших холодах, но обещание холодов грядущих. Неизменными за десятилетия остались и сугубо поэтические свойства текстов. Скажем, щегольская рифмовка и аккуратный ритм, столь нехарактерные для эпохи верлибров и акцентного стиха. При этом рифма вполне может быть тавтологической, но ей отводятся важнейшие роли. Например, сопряжение времён и создание общей атмосферы:

Мороз крепчает, но торгуют бабки,
И жадно пересчитывают бабки,
У бедного скота замерзли бабки,
А в Угличе играют дети в бабки.

Словом, Дмитрий Рябоконь – это свердловская проекция американского блюзмена. Сидит такой парень, потом мужик, затем дед и день за днём играет блюзы. Как начал в молодости, так и не останавливается. И вот тут возможны самые разные варианты. От вечной радости параллельно стареющих приятелей по кабаку до случая, например, Джона Ли Хукера. Тот первый из своих значительных альбомов записал в возрасте чуть за тридцать, а величайший – в семьдесят пять годиков. Если слушать альбомы Хукера подряд, различия меж ними уловить трудно, но вот взяв любой ранний и любой поздний из них, всякий заметит отчётливую эволюцию. Музыка просто-напросто сделалась лучше.

К счастью, то же самое можно сказать и о стихах Рябоконя. Они расположены в книге не то чтоб совсем в хронологическом порядке, но сообразно трёх- или, например, семилетним интервалам написания. И финальные стихи интереснее начальных. Ну, это естественно, когда автор работает в органичной и не надоевшей ему манере, конечно. А при внимательном взгляде можно уловить не только качественную эволюцию, но и смену приоритетов. Минимальную, но важную. Я б сказал, стихи движутся от Георгия Иванова и обэриутов к Ходасевичу. Нет-нет, спорить о том, кто более русской литературе ценен, было б смешным, просто сдвиг диапазона в данном случае равен расширению диапазона. Ну, вот, например:

***

Все проходит понемногу,
И совсем пройдет...
Сменит нудную дорогу
Быстрый переход.
И тогда скажу я: здрасьте,
Червячки, жучки...
Наперегонки залазьте
В яблоки, в зрачки.

И тематически близкое вышеприведённому тексту, но совершенно иное по интонации стихотворение:

***

– Как живется в загробных мирах? –
Я спросил у загадочной кошки.
– Да почти что как в наших краях,
Но отличья мешают немножко.
– В чем же разница заключена
Тех миров от знакомой всем яви? –
И мяукнула тихо она:
Нет возможностей что-то исправить.

Апофатическое богословие почти. Вот так и живёт поэзия Дмитрия Рябоконя в зазоре меж классическим, неизменным миром антологической поэзии и отмирающим, но тоже, кажется, вечным Свердловском советского образца. Соотношение этих элементов кажется почти неизменным. Однако, вся суть именно в этом слове, в «почти»:

***

Зима идет своим порядком, –
На землю падает снежок,
Уткнулись школьники в тетрадки,
Жует обжора пирожок.
И протирает юбки, брюки
В конторах офисный планктон,
<...>
Зима идет своим порядком –
Возьми и каждый труд почти,
Прочти о том, что все в порядке,
Что все в порядке здесь. Почти.

Сказав выше об устоявшейся поэтике Рябоконя, я всё же не рискну предугадать дальнейшее развитие поэта. Вполне возможно, возобладает абсурдистская линия. Или напротив – сугубо классическая. Однако думаю, упомянутая выше нота останется неизменной. Блюз он ведь и в Свердловске блюз. И в Екатеринбурге тоже, на улице Волгоградской.

Николай СКВОРЦОВ

СТИХИ МАТЕМАТИКА

Мишель Деза. Стихи и интервью. М.: «ПРОБЕЛ–2000», 2014. – 276 с.

Как сказано в предисловии, *«всю жизнь я писал математические статьи и книги; с 1973, на английском языке, так как эмигрировал (из Москвы в Париж).*

Пять из этих книг переведены на русский язык. Но в этой книжке собрана только моя ненаука на русском, т.е. стихи и интервью русско-эмигрантской прессе.

Стихи я писал в 1959–1962, просто для себя, и бросил. В 1983 в Париже, под тёплым давлением «Синтаксиса» (Афоня), издал у них сборник "59–62".

А в 2013–2014 опубликовал "73–76" (так как частью по записям тех первоэмигрантских лет) в "Новой Юности", и затем совсем новые поэмы "Путями времени" и "Brevitas" в "Семь искусств"».

Все эти тексты собраны в новой книге. Вот названия главок книги «59–62»: «Познание», «Эволюция», «Знаки», «Человек», «Страх и ненависть», «Смерть», «Пейзажи», «Звуки», «Прикосновения», «Движения». Это стихи, написанные человеком, которому чуть за двадцать. Здесь встречаются и образы математической науки:

«За 10 в степени 10, скажем, лет из лягушки можно сделать человека или двух».

«Исследования сводятся в конечном счете обычно к перебору числа вариантов сравнимого с числом пальцев.

Возможно, что лоскут 1, 2, 3, ... 20 не представителен для Чисел. Переход к большим переборам изменит архетипы».

Это странно спокойные и страстно рассудительные верлибры непривычны для русского слуха, но волнуют, как – если использовать метафору пространства – как пейзаж одной из малопосещаемых поэтических столиц несбывшихся надежд.

Читая эти тексты Деза, я вдруг понял, что французская философия середины XX века – это, в общем-то, поэзия, и относиться к ней надо как к поэзии, ну, или к философии, которая применяет запрещенные поэтические приемы.

Так можно было писать годами и километрами, но, видимо, Деза потерял интерес к подобному способу изложения. Или, возможно, что-то для себя с его помощью поняв или сформулировав, Деза просто вернулся к иным, внелитературным формам – математического творчества.

Вот резюме одной из его научных работ на «Википедии». Для меня это звучит как эзотерическая поэзия: «Эта статья описывает многогранник метрик, точки которого представляют собой симметричные матрицы расстояний, удовлетворяющих неравенству треугольника. Для метрических пространств с семью точками, например, этот многогранник имеет размерность 21 (21 – число попарных расстояний между точками) и 275840 вершин».

Поздние тексты («73–76» и поэмы) более традиционны, хотя всё равно – интонация настолько неузнаваемая, что до сих пор стихи Мишеля Деза стоят в русской поэзии особняком (загородным домом?).

Вот почти наугад:

Приближение к границе
с Несравнимостью
звенит полувыходом
из человечества,
как в «зоне смерти»
от 8 км на Эвересте.
Но обаяние предела
есть даже и в слишком

длинном и медленном,
как в падении капель
битума (9 с 1927 года)
в опыте на сверхвязкость.

Заключают книгу несколько интервью Мишеля Дела, где он рассказывает – о многом. О приемной матери – Ольге Ивинской, о своем невероятном отношении к литературе, которое даже не назовешь позицией ученого, о математике и понимании Каббалы. Конечно, о России, Западе, Востоке и еврействе.

Когда узнаешь, что Деза предпочитает Токио Европе как место обитания, то поневоле начинаешь искать в его стихах – и находить, конечно, раз ищешь, – религиозно-культурные мотивы «Востока», который существует в голове просвещенного читателя. Мотивы эти могут быть заявлены не напрямую, а возникнуть в магическом театре читательского восприятия. Хотя бы в области гадания над метауровнем текста – может быть, это та самая «восточная алогичность»?

Нормопаты бегут по узкому косогору
между обрывами Аутизма и Шизофрении,
между избытками локальности
и глобальности,
между не понимать других и понимать
их неверно,
между нехваткой и избытком магического,
между слепотой к метафорам
и синестезией,
между слишком и недостаточно
плотным миром.
Не стоит селиться надолго в садах безумия,
но обе крайности нужны при добыче
знания.
Парить в психозе невесомости
над Океаном,
заметить малое-дрожащее-
незавершённое,
воткнуться метеором в плотную глубину,
до аутистического экстаза Встречи
и разрядиться пружиной назад,
но с тушкой свежего знания.

Сергей ТРУНЕВ

«НИЖЕ НИЖНЕГО»: ВОПЛОЩЕННАЯ МИФОЛОГИЯ

Э. Абубакиров, Е. Стрелков, В. Филиппов. Ниже Нижнего: Новейшие опыты околоволжского краеведения. Кн. 1, 2 – Нижний Новгород: «Дирижабль», 2014.

Картограф превращает местность в схему. Полководец, смотря на карту, командует войсками в реальном пространстве. Прав был Хосе Ортега-и-Гассет, сравнивая художника с полководцем, завоевывающим для своей личной империи «новый ирреальный материк», но в нашем случае процесс выглядит несколько сложнее.

Первая печатная версия проекта «Ниже Нижнего» вышла в 2010 году в виде небольшой по размеру книги в мягкой обложке. И называлась она несколько иначе: «Выше, дальше, ниже: Новейшие опыты краеведения Поволжья». Вслед за этим появилась рецензия в журнале «Волга» (№ 11–12, 2010), а также вторая, расширенная версия книги, к названию которой авторы приплюсовали слово «ближе». Обе книги содержали тексты, жанровую принадлежность которых я до настоящего времени не могу определить, но если довольствоваться приблизительным описанием, то тексты балансируют где-то на грани истории и авторской мифологии: тонкой, ироничной и при этом вполне правдоподобной. Что-то вроде попытки переписать историю конкретных географических точек, разбросанных по карте России. Именно России, а не Поволжья, поскольку за рамки последнего проект вышел уже во втором издании.

Вероятнее всего, именно в этот момент перед авторами со всей остротой встал вопрос, который невозможно было более игнорировать: что делать дальше? Самое простое решение – продолжать работу с другими городами России, ибо страна наша велика, так что городов хватит на много лет вперед. Однако и самая большая опасность при таком подходе очевидна: стать заложниками пусть собственного, но

уже в достаточной мере отработанного жанра. И авторы пошли по другому пути...

В обновленном виде проект представляет собой двухтомник, первая книга которого содержит собственно тексты, а вторая – материалы, повествующие о ряде попыток их материального (и цифрового) воплощения. Круг соавторов при этом значительно расширился, тем более что здесь не надо было выдумывать ничего нового: читай тексты и по мере своей фантазии и таланта дописывай и материализуй. Любопытно, что в игру включились даже некоторые из написавших комментарии теоретиков, например Илья Калинин: «Перечитав написанное, ловлю себя на том, что поддался обаянию книги и вместо предисловия пытаюсь написать продолжение. Что списываю на совесть и художественные способности трех ее авторов».

Результатом явился выставочный проект «Ниже Нижнего», с одной стороны, продолжающий, а, с другой, расширяющий спектр исходных текстов. В сущности, можно сказать, что проект мутировал во что-то новое и в то же время узнаваемое. Так, на основе текста «На рыбьем меху» (посвященному Рыбинску), возникает инсталляция Андрея Митенева «Рыбий мех» с чучелом вымершей «шерстяной рыбы» и подкрепленной «документами» вымышленной историей; к сюжету «Русские Люмьеры» (об Угличе) Андрей Суздалев создал кинетический объект, демонстрирующий «движущиеся картинки»; Ольга Хан представила металлические «Игрушки города Выксы», дополняющие посвященный этому городу текст «Железная воля»; Сергей Прокофьев создал своеобразную аллюзию на сюжет «Русский Мор» (Китеж); текст «Гроза в графине» (Горький) обыграл Дмитрий Степанов; «Праздник урожая» продемонстрировали Евгений Гриневич и Наталья Куликова, значительно углубив сюжет «Магелланова ботва» (Городец); текст «Российские Гуттенберги» (Козьмодемьянск) обрел осязаемость сразу в двух проектах: Александра Капернаумова «Акобяка: героическая история Козьмодемьянска» и Михаила Волохова и Елены Зубцовой «Козьмодемьянский человек»; «Эскулап революции» (Саратов) воплотился в инсталляции Алексея Трубецкова «Левый приказ», а «Невольный Прометей» (Капустин Яр) стал «Невольным пироманом» Ильгизара Хасанова. Наконец, Андрей Суздалев сделал видимым еще один исходный сюжет – «Ивановы Вары» (Дубна), а Евгений Стрелков воплотил в мультипликационной форме два текста «Гроза в графине» (Горький) и «Анти-Дарвин» (Красный Кут).

Впрочем, почему «наконец»? В каталоге присутствуют произведения, связанные с текстуальной основой весьма опосредованно, если не сказать никак. К таковым следует отнести книгу художника и ассамбляж Валерия Корчагина «Шерсть и картофель», инсталляции «Ижевская руда» микро-арт-группы «Город Устинов», «Символизм в электросхемах» группы «Куда бегут собаки», «Застолье в Тетюшах» Николая Селиванова, «Третья идея» Евгения Стрелкова (видеомонтаж, как и в указанных выше мультфильмах, осуществлен Дмитрием Хазаном), а также перфоманс «Традиции? Новации?» Марии Чуйковой.

Само наличие этих работ, на мой взгляд, явственно указывает на то, что авторам снова следует задать себе вопрос: что делать дальше? Не потеряется ли специфика исходных текстов в бесконечном множестве их воплощений? В противном случае существует опасность превращения «Ниже Нижнего» в очень мощный и представительный проект... без лица и отчетливого внутреннего стержня.

Александр КОТЮСОВ

ИЗОБРАЖАЯ ПРАВДУ

Захар Прилепин. Обитель. – М.: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 752 с.

Чтобы взяться сегодня за литературный труд о Соловецких лагерях, нужно обладать особым мужеством и верой в свои силы, тем более когда речь идет о романе, претендующим на долголетие и историческую значимость. О Соловках, пожалуй, написано все. Документальные произведения, художественные,

воспоминания, дневники. Громада эта словно архипелаг, айсберг, на вершине которого Солженицын. Незыблем который десяток лет. Почти канонизирован. Кто посмеет на святое? Есть такой. Имя ему Захар Прилепин. Роман его, «Обитель», ворвался в литературную жизнь России, словно ураган, и, безусловно, стал одним из самых заметных явлений культурной жизни страны. Семьсот пятьдесят страниц текста. Меньше было б не солидно. Надо занимать место в истории. На книжных полках оно Прилепиным уже завоевано. Вот и интервью с писателем, словно случайно: у Солженицына о Соловках столько неточностей, это не роман, а сборник лагерных баек. Архивы тогда еще не рассекретили. А школьники это изучают как исторический документ...

Что же им тогда изучать, спросит кто-то? Что читать о Соловках? Ответ видится между строк. «Обитель», пожалуйста!

Значит, там все исторически выверено?! Посмотрим...

Кто из нас после школы открывал заново «Войну и мир»? А «Архипелаг ГУЛАГ»? Думаю, немногие. Солженицын сегодня в сознании большинства где-то в дальних архивах. Неинтересно. Консервативно. Академично. Депрессивно. Для нынешней молодежи Александр Исаевич – явление из позапрошлого тысячелетия. Такое же древнее, как Лев Толстой. Оба с бородой. Вдумчивы, солидны. Сегодня надо жить быстро. Спонсоры и продюсеры ждут моментального коммерческого эффекта. Главный стимул заработать. Именно заработать, а не просветить. Да и кого просвещать? Этих? Тех, что с попкорном и колой? Современному молодому человеку потребен легкий пересказ тех далеких событий. На языке нулевых и десятых. Пусть о войне, революции, ГУЛАГе. И больше «экшена»! И чтобы в лидерах продаж подольше. Вот он – новый роман Захара Прилепина. Это – «Обитель».

Сюжет романа и прост и сложен одновременно. Соловки. Молодой парень Артем Горяинов попадает в лагерь. За убийство отца. Вокруг полный спектр заключенных. «Почитать россказни про нас, так получается, что здесь одни политические (...) – говорит начальник лагеря Федор Эйхманис. – А здесь домушники, взломщики, карманники, воры-отравители, железнодорожные воры и воры вокзальные, воры велосипедов и конокрады, воры-церковники, магазинные воры, воры при размене денег (...) содержатели малин и притонов, скупщики краденного, фармазоны (...) А пишут ведь, что здесь сидят и принимают муку крестную лучшие люди России. (...) чекистов здесь больше, чем белогвардейцев». Эйхманис кривит душой. Контрреволюционеры, священнослужители, нэпманы, зажиточные крестьяне – большая половина лагеря. Они – враги народа. Просто остальные, кого он перечислил – не враги. «Вот вы за что сидите, Артем? (...) – За убийство, – сказал Артём. – Бытовое? – быстро спросил Эйхманис. Артём кивнул. – Кого убили? – так же быстро и обыденно спросил Эйхманис. – Отца, – ответил Артём, почему-то лишившись голоса. – Вот видите! – обернулся Эйхманис к Борису Лукьяновичу. – Есть и нормальные!» Вот такое вот разделение...

Артем борется за свое место под холодным северным солнцем. Борьба в лагере идет не на жизнь, а на смерть. Кто-то умирает от болезни, от тяжелой работы, в карцере, в роте, на улице, кого-то убивают блатные за сигарету, за рубль, за взгляд. Одних пристреливают конвоиры – хотел сбежать, товарищ начальник! Другие кончают жизнь самоубийством, не выдержав издевательств. Питание скудное: пшенка, кипяток, нечто наподобие супа. Работа от заката до рассвета, чтобы не оставалось времени вообще, даже на здоровый сон. Лагерь меняет людей, ломает характеры, выворачивает жизнь. Артем не исключение. Роман – кладезь людских характеров: сильных, смелых, слабых, трусливых.

Объем романа изначально пугает. Но это быстро проходит. Страницы летят незаметно. Любая книга Прилепина («Черная обезьяна» не в счет... неудача, случается) – праздник слова. «Обитель» не исключение. Роман читается легко. Слог приковывает. И хотя хранители литературных основ и бранят автора за регулярное искажение языка, мол, он придумывает

новые слова, кривит падежи, надо признаться честно – русский письменный у Захара хорош. Посудите сами – вот лишь несколько предложений:

«Обитель была угловата – непомерными углами, неопрятна – ужасным разором. Тело ее выгорело, остались сквозняки, мшистые валуны стен».

«...монастырские постройки, грязные, как спины беспризорников, стены, битые, как яйца, купола».

«Небо почернело, море варило свой свинец, холодно было по-настоящему – ветер на пустых пространствах будто пытался отобрать одежду...»

Ради таких предложений стоит открывать книги. Многие из нас забыли, как велик и красив русский язык. Прилепин напоминает.

Впрочем, порой автор явно переигрывает, стремясь изобразить на бумаге никогда ранее не встречавшуюся связь русских слов: «спал трудно – будто сам сон стал работой»; иногда создает шедевры русской словесности: «море лежало недвижимое, словно неживое», «Облака были розовые и фиолетовые и пенились красиво и ароматно, как французское мыло», а иногда откровенные ляпы: «Артем забрался на верхний, усыпанный березовыми листьями полок и запропал в своем блаженстве, вытянув ноги, накрыв голову руками, выдыхая так, словно бы плыл в кипяченой реке...» (почему в «кипяченой»? – может, в кипящей?), «в феврале стояла большая стужа, а в марте – большая лужа» (красиво, но, конечно, не по-русски).

Бывает, хотя и не часто, герои Прилепина произносят слова, то, что называется из словарного запаса другого поколения. И «новояз» и «журчеек» родились на несколько лет, а то и десятилетий позже событий, описываемых в произведении. Об этом уже писали многие критики, и мы не станем повторяться, тем более что подобные ошибки не портят роман, так же как и иногда встречающиеся грехи в построении фраз.

Самыми, пожалуй, главными бедами автора являются время и цифры. Описывая встречу с дочерью Эйхманиса, автор удивляется: «...по самым трагическим расчетам год рождения ее был 1939-й. Но какие тут семьдесят пять!...» И тут же ее прямая речь – «...мой дед сидел на Соловках. Он прожил девяносто шесть лет... Только что умер...». Как у семидесятипятилетней женщины может быть только что умерший дед, старше ее всего-то на пару десятков – остается загадкой. Ошибается автор и с датой восстания соловецких монахов против реформы Никона, впрочем, не сильно, всего на год.

В отечественной литературе немало литературных трудов, так или иначе базирующихся на имевших место быть фактах. Принцип создания таких произведений прост – берется вымышленная история и накладывается на реально произошедшее в некий временной период событие. Самым, пожалуй, наглядным примером из недавно вышедших произведений такого рода является роман Сергея Шаргунова «1993». В нем автор наложил на осень 1993 года (расстрел Белого Дома, если кто-то не помнит) жизнь типичной московской семьи. В романе детально прописан каждый день, каждая мелочь. Создана полная видимость погружения в реальность. Несмотря на множество мелких ошибок, у Шаргунова все честно с точки зрения времени и фамилий действовавших тогда на политической сцене героев. При написании своего романа он пользовался архивными материалами и не отошел от истинных событий ни на шаг. Прилепин пошел по этому же пути. Но, не одолев и половины его, сбился с дороги. Он сделал экскурс в историю монастыря, рассказал о его современной жизни, вставил в роман найденное в архиве описание рот. Вот только дальше, в отличие от Шаргунова, он наложил историю Артема Горяинова не на реальные события, произошедшие в Соловецком лагере в конце 20-х годов, а на его (Прилепина) собственную творчески переработанную интерпретацию, хотя и базирующуюся на архивных документах. Реальность Прилепин втоптал в вымысел. Все бы ничего, но к чему тогда сетовать, что Солженицын в своих трудах о Соловках пользовался лагерными байками, если сам эти байки создаешь умышленно.

Чтобы не быть голословным, приведу пару примеров. В романе не озвучен конкретный

год происходящих событий. Конец двадцатых годов, – отмечается в предисловии. Привязку к реальным событиям позволяют сделать две важные по Соловецким меркам вехи. Первая – замена старого начальника лагеря Федора Эйхманиса на нового – Александра Ногтева. В соответствии с архивными документами она произошла в мае 1929 года. И вторая – приезд в лагерь комиссии ОГПУ. Комиссии, расследовавшей перегибы в отношении к заключенным, которые происходили на Соловках. Ее приезд датирован тоже маем, только 1930 года. Однако Прилепин в романе оба события сблизил и перенес на октябрь. То ли подобные временные сдвиги удачнее вписывались в сюжет, то ли позволяли автору ярче реализовать свои задумки. Или Прилепин просто не сумел разобраться с архивами?!

Кроме того, достаточно вольно автор подошел к трактовке и цитированию исторических документов. В книге заключенный Горяинов оказывается в приемной кабинета, через приоткрытую дверь которого он слышит (подслушивает), как некий чекист, присланный из центра, надиктовывает машинистке текст. В реальности это скрывавшийся долгие годы под грифом «Совершенно секретно» Доклад комиссии о положении заключенных в Соловках, подписанный неким А.М. Шаниным. Сегодня найти его можно легко в Интернете. Он почти полностью продублирован в романе Прилепина. Правда, весьма своеобразно. Подобное заимствование, конечно же, нельзя считать плагиатом. Исторические документы придают реалистичность книге. И, безусловно, такой формат художественной врезки имеет право на жизнь даже без ссылки на первоисточник. И все же! Писатель при обработке исторических фактов должен поступать с ними крайне бережно, а не рвать и переклеивать историю в угоду сюжету. Ведь не возникла же мысль у Бориса Васильева перенести в книге «В списках не значился» дату начала обороны Брестской крепости с июня на январь? Или у Сергея Эйзенштейна восстание на броненосце «Потемкине» в одноименном фильме с 1905-го на 1917-й. Не возникло в силу, во-первых, бессмысленности этого действа, а во-вторых (и это мое предположение), из-за ответственности художника по воссозданию и сохранению истории. Прилепин такой ответственности, очевидно, не испытывает и осознанно историю Соловков искажает.

Он вырезает из Доклада хоть и малозначительных, но исторических персонажей и вводит героев со страниц своего романа. Вот лишь один пример:

Строки из Доклада: «Вольнонаемный Кочетов систематически избивал заключенных, понуждал к сожительству женщин, присваивал деньги и вещи заключенных; неоднократно в пьяном виде верхом на лошади карьером объезжал лагерь, устраивал скачки с препятствиями, въезжал в бараки и на кухню, устраивал всюду дебоши и требовал для себя и лошади пробу обедов. Верхом на лошади Кочетов занимался и муштровкой заключенных, избивал их нагайкой, заставляя бежать и устраивал инсценировки расстрелов. Каждая из склоненных Кочетовым к сожительству женщин числилась у него под номером; по номерам же женщины вызывались на оргии, в которых принимал участие и сотрудник ИСО Осипов».

А вот так текст выглядит в романе: «...сотрудник ИСО Бурцев систематически избивал не только заключенных, но и сотрудников охраны лагеря; неоднократно верхом на лошади карьером объезжал лагерь, устраивал скачки с препятствиями, въезжал в бараки и на кухню, устраивал всюду дебоши и требовал для себя и лошади пробу обедов. Верхом на лошади Бурцев занимался и муштровкой заключенных, избивал их нагайкой, заставляя бегать. Несколько раз устраивал инсценировки расстрелов (...) Сотрудник ИСО Горшков понуждал к сожительству женщин, присваивал деньги и вещи заключенных. Каждая из склоненных Горшковым к сожительству женщин числилась у него под номером; по номерам же эти женщины вызывались на оргии, в которых принимал участие и сотрудник ИСО Ткачук...»

Как говорится – комментарии излишни. Это только один пример. Их много больше.

К чему такая абсолютно умышленная подмена во времени реально произошедших событий? Для чего нужно из исторического

документа убирать реальные фамилии и вставлять придуманные? Такие приемы, конечно, допустимы, но только не тогда, когда ты претендуешь на историческую реальность. Ведь Прилепин пишет именно про Соловки, а не просто про лагерь, коих в Советском Союзе в те годы было множество. Более того, в конце романа он усиливает исторический аспект, приводя биографическую справку на Федора Эйхманиса, справку с годами и датами, словно говоря нам, читателям – все, что вы видите в книге, истина!

Ответы на все поставленные вопросы может дать только сам писатель. Придумывать их за него – дело неблагодарное. И все же один из таких ответов напрашивается сам по себе. Роман «Обитель» – роман псевдоисторический, привязанность его к реальности схематична. Работа с историческими документами трудна и требует огромного внимания. Ошибаться в них нельзя. История этого не простит. У Прилепина не хватает терпения и умения написать реальный художественный роман, построенный на настоящей истории. Проще все придумать, добавив немного фактов из Интернета. Ну, а те, кто не знает нашу настоящую историю, кто никогда не читал ни Солженицына, ни Лихачева, схавают и это. И будут потом хвалиться в баре за кружкой пива своим знанием Соловков. Соловков по Прилепину. А чтобы историки не обвинили автора в издевательстве над истиной, Прилепин осознанно меняет еще и фамилию начальника лагеря. Чтобы узнать, как же звали начальника СЛОНа, сегодня достаточно нажать пару клавишей на компьютере. Звали его Эйхманс. Не Эйхманис, как в «Обители», а Эйхманс. Или Eihmans – для тех, кто хочет увидеть фамилию в латинице. Конечно, Прилепин об этом знал. Искажение допущено им осознанно и позволяет бросить в лицо любому – я писал художественный роман, а не исторический. Но эта фраза для особо дотошных, кто умеет читать и знает историю. Остальные не заметят.

Несмотря на сказанное, «Обитель» интересна. Задумавшемуся у книжной полки, привыкшему к детективам в тонкой обложке формата pocketbook и раздумывающему, прочту ли я такую толстую книгу, отвечу – не сомневайтесь, прочтете. Ведь как ни крути, эта книга о людях, оказавшихся перед выбором: сломаться или остаться цельным.

Артем соткан из противоречий и не вписывается в стандартную жизнь лагеря. Он вступается за избиваемого десятником заключенного, который уже не в состоянии ворочать баланы, отдает свой паек соседу по больничной палате, у которого блатной съел порцию, и даже всю посылку соседям по роте перед угрозой, что ее отберут те же блатные, но в то же время абсолютно непотребно ведет себя, находясь в одной камере с заключенными, пусть и с бывшими чекистами, выбрасывает чашку соседа в парашу, хамит другим, не дает всем спать, а главное (и это красной нитью идет через весь роман) почти моментально меняется лишь от осознания того, что его приблизил к себе начальник лагеря. «...я теперь при Эйхманисе, – сразу выпалил Артём: сколько ж можно было в себе это таить». Его бывшие сокамерники кажутся ему уже недостойными дружбы с ним, Артема даже раздражает их запах. Горяинов с каждым лагерным днем теряет свое «я» и свою цельность. Можно долго спорить – положительный герой он или нет. Думаю, что точного ответа на этот вопрос не существует. В Соловках трудно быть героем. В Соловках можно только выживать. Артем очевидный приспособленец. «Жаль, что в военных уставах не прописано, что помимо ответа “Будет исполнено!” – можно в особо важных случаях подпрыгивать вверх, – совершенно спокойно и очень серьёзно думал Артём, – ...подпрыгивать и орать». В этой фразе – собачья преданность главного героя книги Прилепина к начальнику одного из самых страшных советских лагерей, уничтоживших не одну сотню жизней...

Аннотация книги повествует нам о том, что «Обитель» – «трагическая история одной любви». Многие рецензенты вторят этому, мол, любовь льется потоком через весь роман, да не просто любовь, любовь зека к чекистке. Сегодня это модно – любовь на изломе, фашиста к русской девушке, заключенного к следо-

вателю. Прочитав книгу, я не смог отделаться от впечатления, что рецензенты не читали роман вовсе. Любви в романе нет. Случайная встреча, несколько месяцев без женщины, для мужчины почти любая в цене, а тут еще ухоженная, вкусно пахнущая, облеченная властью чекистка Галя. Артем для нее случайный выбор, пущенный по колесу рулетки шарик. Уже в конце романа из ее дневника (кто-то считает, что он существовал в реальности... да бросьте, нет, конечно) мы узнаем, что Галиной целью было досадить Эйхманису, выместить обиды за его пьяные оргии в бане с заключенными из женбарака, возможно, его-то как раз она и любила, а тут Артем с наглым вызовом не по чину – «я умею хорошо целоваться» – вот и завертелось все. «Ты никто, – всхлипывала Галя, – тут мог быть кто угодно – я выбрала тебя: пустое место». Артем и есть пустое место. Горяинов и не скрывает вовсе, что пользуется подкатившимся к нему фартом, Галиной, ощущая ее потребность в нем, каждый раз рассчитывая на то, что она облегчит его жизнь в лагере, переведет на работы попроще или освободит от них вовсе. Артем платит телесной близостью за ее расположение. Артем – проститутка, отдающаяся (надо называть вещи своими именами) за спецпитание и лагерные поблажки. Его это не смущает. В Соловках цена проституции – жизнь! Женщины за сожительство с чекистами освобождаются от тяжелых работ, а некоторые и вовсе досрочно – на волю. Почему так не может быть и с мужчиной. Артем – лагерный карьерист, правда, с еще сохранившимися элементами совести, и не важно, где можно сделать эту карьеру (чем он занимался до Соловков, мы так толком и не узнаем), а здесь он стремится все выше и выше, гордо именуя себя ординарцем начальника лагеря. Гордиться службой у убийц. Куда уж дальше...

Читая книгу, постепенно начинаешь ощущать, что автор в ней стремится сгладить и приукрасить соловецкую действительность. Однажды, советуясь с Прилепиным по поводу своего будущего романа о войне, я услышал от него фразу – ты только Советскую власть там не ругай, не люблю, когда ее ругают. «Обитель» не ругает Советскую власть и даже где-то оправдывает те времена. В романе потерян совсем тезис о том, что двадцатые годы заложили основу сталинских лагерей, в которых уничтожались лучшие люди страны. «Если б человек не падал – он бы не смог приподняться», – вторит Троцкому Горяинов. Нам пытаются внушить, что Соловки перевоспитывают преступника, делают его нужным обществу. Так начинает думать Артем. Страшно, если так думает сам Прилепин.

Именно для этого автор окружает Артема отрицательными элементами – уголовниками, бывшими белогвардейцами, которые, получив власть, унижают своих собратьев, с которыми они совсем недавно делили нары. Рядом чекисты, садизм для которых является смыслом жизни, священнослужители, призывающие к терпимости и тем самым невольно поддерживающие режим (в роман Прилепин словно специально вводит батюшку-побирушку, отталкивающего от себя читателя). Тут же стукачи. Положительных героев в романе практически нет. Один-два и обчелся. Остальных не жалко, человеческий сброд. Да еще фитили, леопарды, беспризорные, женщины без пола, человеческое отребье.

Зато автор восхищенно описывает начальника лагеря Эйхманиса: «Волосы ровно зачесаны назад, высокий голый лоб (...) Глубокая морщина между бровями. Крупные поджатые губы. (...) Что-то в нем было такое... (...) Словно он был иностранец!» Красивый, подтянутый, любящий природу, разводящий животных. Современный, не похожий на своих подчиненных, даже живущий отдельно от них. Он необычный начальник, так и рвется слово – менеджер. Сплошной позитив. Вот Эйхманис отпускает на волю, пусть временно, но ведь без охраны, под честное слово ученого, тому надо набраться новых идей на свободе, разрешает ему выписать в лагерь мать, вот он говорит с заключенным по-французски, вот приглашает зеков к столу – угощайтесь, икра, водка. Эйхманис этакий денди, с коррекцией на должность и на суровое время. Прилепин восхищается им, для большей убедительности сравнивая его стиль руководства с другим, стилем Ногтева, пришедшего на смену. Вот уж

зверь так зверь. Эйхманис другой. Прилепин словно объясняет нам, что в те времена при безусловно имевшихся перегибах все было не так уж и плохо, не так как у Солженицына! Все гораздо лучше. Легче. Проще. «Пишут ещё, что здесь мучают заключенных», – дает Прилепин выговориться Эйхманису, – «Отчего-то совсем не пишут, что заключённых мучают сами же заключённые. Прорабы, рукрабы, десятники, мастера, коменданты, ротные, нарядчики, завхозы, весь медицинский и культурно-воспита-тельный аппарат, вся контора – все заключённые. Кто вас мучает? (...) Вы сами себя мучаете лучше любого чекиста!» Получается, прав был Горький?! А Солженицын – не прав. Просто он не любил никогда советскую власть. А Прилепин любит. Так, может быть, изъять Солженицына из школьной программы! И заменить на Прилепина!

Прилепин многие трагические исторические факты в своем романе осознанно сгладил. Сегодня несложно в Интернете найти воспоминания соловчан – заключенных, конвоиров. Воспоминания их намного жестче, чем книга. Именно от этого роман кажется не слишком правдивым. Боль за страну и людей у Прилепина где-то за кадром, за страницами романа, между строк. Да, вот она Секирка, страшная и ужасная, вот замученные заключенные и чекист, приходящий с колокольчиком за новой жертвой. За несколько дней расстреливают всех, но где-то далеко, мы лишь слышим звук выстрела. Нет картины реальных мучений, например, когда заключенных заставляли сутками сидеть на жердочках без права на любое движение. Есть рассказ об издевательствах – «поставили на комарика», но только рассказ. Ничего больше. Прилепин словно не хочет довести до читателя истинную соловецкую трагедию, не хочет сгущать краски. Прилепин не показывает сцены, в которых заключенных приставляют на морозе носом к дереву и обливают водой, пока не примерзает нос. Не говорит он о том, как провинившихся на несколько часов ставят с головой, опущенной в деревянную дыру в параше, вспоминает вскользь о глиномялке, где заключенные сутками мнут глину ногами и загибаются за неделю, но не показывает ее. Казак Лажечников избит чеченцами и умирает, но мы не видим ни того, ни другого. Одна из самых тяжелых сцен – отпущенный в лазарет «саморуб» с письмом, написанным на пне, который он должен донести до врача и после перевязки вернуться обратно. Все весело, со смехом, с шутками. Это потом мы между делом узнаем, что «саморуба» били, отправляли в глиномялку с переломанной ногой, потом ампутация. Узнаем словно между прочим. Чтобы читатель не напрягался, чтобы роман можно было проходить в школе детям. Соловки – роман «12+». А у Солженицына плюс 18. Кого надо изучать в школе? Ответ очевиден. А уж стояние на пне и декламирование: «Я – филон! Я – враг Советской власти!» Прилепин подает как развлечение для всех – и для заключенных и для чекистов. Да тут еще Артем – то в спортроте с тройным питанием, то с Эйхманисом, где он разливает по стаканам водку, то в келье белогвардейца, поедающий сметанку с луком, то с апельсином в руках, подаренным Галей. Идиллическая обстановка. Не лагерь, а северный курорт. Так могли жить все. Но, видимо, не хотели! Таким лагерь увидел Максим Горький. Или его попросили так видеть. Прилепин, которому объяснили, что он при жизни может претендовать на лавры Алексея Максимовича, видит Соловки почти такими же. И даже те ужасы, которые появляются в романе изредка, автор в конце перечеркивает практически единственным архивным документом – протоколом комиссии, которая приехала на Соловки после неудачной попытки побега заключенных. Из этого протокола мы узнаем, что за выявленные факты жестокого отношения к заключенным виновные наказаны. Их действительно расстреливают. Теперь в лагере должна начаться новая жизнь, еще лучше прежней.

Роман близится к развязке. Что-то должно произойти с главным героем. Артем – безбожник. Он не верит в бога, не молится, отворачивается от ликов святых. На многочисленные попытки владыки Иоанна приблизить его к богу Артем отвечает отказом. И в этом смысле удивительны заключительные сцены книги, в которых сидящий в Секирской камере и ждущий смерти Артем Горяинов вдруг ощущает на

себе тепло – тепло, как он считает, от ангела, дарящего ему уверенность в завтрашнем дне. Ты будешь жить, снится ему ангел. Артем верит. Каждый день на расстрел отводят очередных заключенных. Но Артем остается живым. Его спасает не Галина, сегодня она такая же заключенная, как и он, ее судят за побег, за связь с ним. Артема спасает бог. Впрочем, автор сам сомневается в этом. Сидя в Секирке, Артем прикармливает беременную крысу. Научи меня жить, просит ее Артем. Не бога просит, а крысу. Так, может быть, это не ангел спасает Горяинова и не его тепло на груди ощущает Артем, проснувшись утром, а тепло от свернувшейся на ночь на замерзающем теле Горяинова крысы. Мы этого не знаем. Знаем лишь то, что Артем выходит из Секирки живым и получает новые три года. Вместе с ним осуждена и Галина. Фарт Горяинова закончен. Эйхманиса нет рядом, Галины тоже. Артем становится обычным заключенным. Таким, каким он и должен был быть – серым, тихим, невидимым. «Артем вел себя так, как будто у него и нет никакого имени. Он – соловецкий гражданин». «Всё в лице Артёма стало мелким: маленькие глаза, никогда не смотрящие прямо, тонкие губы, не торопящиеся улыбаться. Мимика безличностная, стёртая. Не очень больной, не очень здоровый человек». «Он готов своровать, а при иных обстоятельствах отнять еду...» «Его жизнь разрублена лопатой, как червь: оставшееся позади живёт само по себе».

«Научи меня жить, крыса». Жить, чтобы выжить в Соловецких условиях. Крысы живучи, их не видно в ночи, они серы и прячутся в норах. Артем становится крысой. А может быть, он и был ею всегда. Крысы умеют огрызаться и мстить, могут быть злы и сильны. А могут расстаться со своей жизнью незаметно от брошенного в них камня или удара лопаты. Артема убивают незаметно. Прилепин словно специально выводит смерть Артема в послесловие. Семьсот пятьдесят страниц этот парень был героем, удивлял нас, огорчал, радовал, веселил, уж точно не оставлял равнодушным. А умер как крыса, тихо-тихо, на пере уголовника. Умер словно случайно – зарезали блатные, когда он вышел из воды, купаясь голым. Был Артем Горяинов – и не стало. И не заметил никто. Потому что и не герой вовсе. Обычный заключенный.

Сегодня уже ясно – «Обитель» не роман. «Обитель» – проект. Проект, главной целью которого является не просвещение читателя, не рассказ о системе уничтожения личности в Соловках (впрочем, эту цель он отчасти выполняет). «Обитель» решает две задачи. Первая – зарабатывание денег. Вот увидите, еще придет время, и в одном из интервью автор расскажет, сколько он заработал на «Обители». Ну, или не автор... продюсер. Роман продвигают. И продвигают успешно. Билборды по Москве «три на шесть» (цена за месяц от 50 тысяч рублей), реклама в метро. А еще социальные сети, посты автора в фейсбуке, в LJ, на собственном сайте, перепосты, сделанные специальными людьми (рад ошибиться, но что-то говорит мне, я прав), сотни, сотни, сотни лайков, словно кому-то велели. Прилепин не один в этом мире, его ведут, он реперная точка, набор точек, линия, этап, он сам проект, в нем заинтересованы сильные мира сего. Прилепина делают. Это видно. Слишком видно. Кому-то это нужно. Он селфмейд, конечно, но отчасти. Талантлив. Да. Но не больше. Он нужен. Тому, кто пытается внести в историю России свои коррективы. Подрисовать. Остается лишь догадываться кому. Догадались? Тссссс...

Роман Захара Прилепина не первый уже месяц находится в топе продаж крупнейших книжных магазинов страны. Нравится или нет кому-то, но это книга о нашей истории, о ее бедах. «Обитель» однозначно нужно прочесть, чтобы понимать, через какие сложности прошли наши прадеды. Но заменить «Обителью» «Архипелаг ГУЛАГ» невозможно. Это произведения из разных весовых категорий. Прилепин скрывает многое о тех страшных временах, скрывает осознанно, и это вторая задача, которую пытается решить автор в романе, словно кто-то всемогущий вызвал его к себе и сказал – надо, брат, сделать что-то полегче, посмотри вон на Соловки, там один Солженицын со своими ужасами. Безраздельно. Пора дать дорогу молодым, смещать с пьедестала

патриарха. Ведь это же наша история, будут люди через сто лет читать, а там одни казни да издевательства. Ты уж как-нибудь подрихтуй. Вон Горький смог же, написал, что там почти курорт. Так и ты попробуй. Тем более сто лет, считай, прошло, пора переписывать историю. Делать ее краше. Давай, Захар, не стесняйся. А мы тебе поможем. Билборды по Москве, рекламу в метро. Продвижение в социальных сетях. Посты, репосты. А там, глядишь, и памятник из бронзы. Ну и домик на Капри. Ты же хочешь, как Горький... Так будь им. Мы уж подсобим...

Станислав СЕКРЕТОВ

МИР БЕЗ ИМЕНИ

Анатолий Курчаткин. Чудо хождения по водам. – М.: Время, 2014. – 320 с.

Библейские аллюзии напрашиваются уже при виде названия нового романа Анатолия Курчаткина, впервые опубликованного в «Знамени», а впоследствии вышедшего отдельной книгой в издательстве «Время». На первых страницах все и раскрывается. Жаркое лето. Городской пляж, где яблоку негде упасть. Тонущий человек и его спаситель. Вполне ординарная история, если бы не одно «но».

«С причала рыбачил апостол Андрей, а Спаситель ходил по воде...» Главный герой книги, которого автор назвал просто В., спас утопающего, пробежав по воде аки посуху. Сразу разберемся с именами персонажей романа. По сути, кроме единственного инициала, в книге нет вообще никаких имен. Есть В. – скромный заместитель начальника сектора одного из департаментов крупного завода, есть его безымянная жена, безымянные дети, безымянная теща и безымянные друзья. Есть многочисленные коллеги, называемые либо по должностям (директор по связям с общественностью, финансовый директор и другие), либо по прозвищам, придуманным самим В. – секретарша-барби, юный Сулла, Угодница. У остальных героев остаются лишь характерные признаки – бородач, человек с перстнями, кудлатая, сизощекий и младенческолицый. Плюс эпизодические охранник, участковый, таджик и прочие.

Вспомним «Господина из Сан-Франциско» Ивана Бунина. Автор тоже намеренно не дает имени персонажу рассказа. И здесь есть ряд параллелей с «Чудом хождения по водам», правда в некоторых деталях В. и господин из Сан-Франциско до предела сближаются, а в некоторых кажутся прямыми антагонистами. Поклонники зарубежной литературы могут обнаружить схожие черты с романами-притчами Жозе Сарамаго «Слепота» и «Перебои в смерти», где мы тоже найдем безымянных героев и сильные фантастические оттенки, внедряющиеся в будничную жизнь простых горожан.

Место действия книги Курчаткина не совсем понятно. Почти как в самом начале «Кавказской пленницы»: «Может быть, эта история всего лишь легенда... Но, по словам Шурика, она действительно произошла в одном из горных районов. Он не сказал, в каком именно, чтобы не быть несправедливым к другим районам, где могла произойти точно такая история...» Знаем мы только время – события романа происходят в течение нескольких дней летом 2010-го.

Голливудские фильмы о супергероях учат: если обладателем уникального дара становится хороший парень, то все будет о'кей, если злодей – случится биг трабл. Персонажа романа «Чудо хождения по водам» назвать сугубо положительным или отрицательным сложно. Быть может, имени у него нет как раз потому, что это рядовой человек, такой же, как все – один из тысяч Викторов, Владимиров или Валериев. Для В. внезапно открывшееся умение ходить по воде превращается в тяжелейшее испытание. Наделяя своего героя необычными способностями, Курчаткин вскрывает общественные нарывы.

Раньше, когда случалась какая-либо беда, наиболее отважные свидетели трагедии стремились во что бы то ни стало спасти гибнущих людей. Что происходит сейчас? Свидетели трагедий бесстрастно достают мобильные телефоны с фото- и видеокамерами, начиная снимать чужую беду. С развитием гаджетов в Интернете

появляется все больше роликов с реальными взрывами, смертельными авариями, свежими последствиями терактов. Потом эти операторы-любители оправдывают себя: все равно бы я не смог помочь... Но ведь ты даже не попытался! Наиболее предприимчивые свидетели умудряются еще и нажиться на людском горе: продают отснятые материалы различным СМИ или за деньги раздают интервью.

Превратить умение В. ходить по воде в деньги желает практически каждый персонаж романа. Руководство завода, пользуясь общественным резонансом, уговаривает его стать лицом предприятия. Жена В. не понимает, как можно отвергать такие прибыльные предложения, а ее гуру и вовсе предлагает В. чуть ли не основать новую религию, чтобы «стричь купоны». Это еще одна существенная проблема, поднимаемая автором. Курчаткин говорит прямо, без намеков и иносказаний. Но и без назидательной жесткости. Читатель должен сам определиться, чей путь ему ближе.

В. – это своеобразный Григорий Перельман. Слава и деньги ему не нужны. И от миллиона, как и Перельман, главный герой откажется. А ведь за чемодан зеленых всего-то нужно было помочь «хорошим людям» найти одного человечка, который украл много денег и залег на дно. В. не хочет брать грех на душу и отказывается от целого состояния. Помимо дара хождения по водам, у центрального персонажа книги появляются экстрасенсорные способности и дар целительства. При этом В. упорно не желает пользоваться чудесным образом приобретенными умениями, превращаясь в одинокого изгнанника. Вечное литературное противопоставление героя и толпы. Но парадокс: он толпе нужен, толпа ему – нет.

Многие мечтали бы о подарке судьбы, однако В. не рад. В нем, в отличие от остальных, нет жажды наживы. Кстати, вполне вероятно, именно поэтому у героев книги отсутствуют имена – они пусты, как одинаковые манекены. В отличие от В., Курчаткин не дает им даже опознавательных инициалов. Не заслужили. Мысли их лишь об удовлетворении личных потребностей, о богатстве. Они никак не эволюционируют, не меняются к лучшему, а продолжают искать личную выгоду. Меняется лишь сам В., поставленный писателем в странные обстоятельства, да в какой-то степени батюшка из маленькой городской церкви: при первой встрече он почти отфутболивает В., говоря ему дежурные фразы. Но ближе к концу книги исповедует и причащает нашего героя, делая это так, как никогда не делал. Остальные же остаются Иудами: раз надо предать – предадим, даже если В. помог исцелиться.

В., обнаруживший в себе дар лечить людей от тяжелых недугов, – это отчаявшийся Дон Кихот: ветряных мельниц много, а он один. Бороться с общественными пороками бесполезно, – делает пессимистичный вывод автор. Девушка, исцеленная от геморроя, будет продолжать ходить в узких шортах, похожих на стринги, и искать себе приключений на то самое место. Внезапно выздоровевший диабетик наляжет на самую вредную пищу. Молодой начальник, еще вчера страдавший от импотенции, начнет ставить рекорды в постели с разными малознакомыми женщинами без какой-либо защиты.

Человеческая глупость лечению не поддается. Есть даже современная поговорка – чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.

Может, наш народ просто невозможно исправить? Ну вот, например, скажите, зачем хорошо и на совесть асфальтировать дорогу, если через полгода здесь планируются раскопки с целью ремонта труб? Или для чего восстанавливать дома, пострадавшие от наводнения, на том же самом месте? В надежде на то, что наводнений в этих краях больше никогда не будет? Ну-ну!

Что ожидало бы Иисуса Христа, задумай он появиться в сегодняшнем мире? Назойливые приглашения на всевозможные ток-шоу, предложения многомиллионных рекламных контрактов и бесчисленная очередь страждущих, грешивших всю жизнь, а теперь желающих очиститься исключительно с помощью прикосновения чудотворца. Отказываешь в помощи – сделают все возможное, чтобы упечь бесчувственного эгоиста в лечебницу.

Иисуса, как известно, распяли на кресте. В., убегая по воде от преследователей, в конечном счете возносится на небеса. Увы, человечество так и не оказалось готовым к настоящему чуду.

Олег РОГОВ

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ, ЧЕЛО ВЕКА. УЖЕ НЕ ДВАДЦАТОГО

Дмитрий Сегал. Андрей Белый и хронотоп века. – Зеркало. № 43. 2014

Я страстно любил прозу Андрея Белого и в старших классах зачитывался «Петербургом» – советским еще изданием второго варианта романа. Тогда казалось, что это еще одно невероятное исключение из правил отечественного книгоиздания, вроде «Мелкого беса» или Мандельштама в «Большой серии» «Библиотеки поэта». О том, что впереди будет полный «Петербург» в «Литературных памятниках», и думать было непредставимо.

Потом уже была научная библиотека университета, где можно было прочитать «Симфонии», прозу в «Записках мечтателей», мемуарные книги с вырезанными предисловиями и отдельные тома «Москвы». Потом хлынули переиздания, и я стал жадно читать то, к чему не имел доступа. Но обещанное моими представлениями счастье почему-то не приходило.

Несколько раз я снова обращался к «Петербургу», – он-то не сможет разочаровать, – но чудо волшебства постепенно стало уходить из моего восприятия, сначала тонким ручейком, а потом уже неумолимым мощным потоком.

Я понял, что во многом это связано с паранойей автора, наверняка вы помните его тайных агентов, которые выглядывают буквально с каждой страницы его поздней прозы. Конспирологии и провокации стало слишком много в реальной жизни (масонские заговоры, «убийство» Есенина и т. п.), и ее старомодные картинки воспринимались уже откровенно пародийно. В «реале» подобный тренд считался уделом не вполне адекватных людей, желтой прессы и мрачных фанатиков. Андрей Белый в моем представлении не мог существовать в одном пространстве с этой публикой хотя бы потому, что это пространство не было культурным.

Теперь, по прошествии четверти века – за это время я прозу Белого не открывал – я чувствую, что мне хочется войти в эту реку снова. И то, что раньше раздражало, теперь уже кажется чем-то вполне адекватным на фоне происходящего по эту сторону книжной обложки. С появлением Интернета и понятием «виртуального» жизнь коренным образом изменилась. Конспирология и провокация перестали быть уделом маргиналов и чекистов, а стали нормальным явлением практически во всех сферах жизни, от политики до культурных стратегий, от новостных программ до ток-шоу.

Монографический очерк Дмитрия Сегала представляет собой «наблюдения о творчестве Андрея Белого, организованные вокруг сюжета о времени и пространстве (хронотопе) изменяющегося мира». Как на фоне личного опыта восприятия изменяющегося мира, так и в связи с «коллективным опытом, пережитым в XX веке русской культурой... Эпоха, о которой идет речь – эпоха, условно говоря, большого двадцатого века – с самого начала была воспринята культурой как эпоха времени, изменяющегося по определенному сценарию».

Такой сценарий существовал в представлении писателей – творцов первого ряда! – и его возможность была основана на их личном опыте, как творческом, так и духовном.

«Тема “Андрей Белый в хронотопе века” имеет, по крайней мере, два аспекта. Один, наиболее очевидный в плане соотношения с материей его творчества, указывает на соответствующую этому сценарию роль Андрея Белого как пророка и провозвестника таких глобальных тектонических изменений времени и пространства: Белый – как тот, кто предсказал наступление всемирной эры ядерной энергии и предвидел возникновение глобального и всемогущего ядерного оружия, изменившего ход и саму скорость течения мировой истории, Белый – как пророк всемогущего вмешательства сверхиндивидуальных сил (государство, тайное общество, партия, коллективное общественное мнение) в ход мировой истории и в пространство человеческой экзистенции. Второй аспект этой темы касается той роли в изменяющемся мире, которую выполняет субъект таких изменений, тот, кто их предвидит, планирует и совершает, – культурно активный, духовно деятельный и яркий творец, такой, например, как столь почитаемый и любимый

(mutatis mutandis – ненавидимый!) Андреем Белым отец антропософии Рудольф Штейнер или сам Белый, писатель, поэт, мыслитель, общественный деятель. Насколько такие личности осознаются как "авторы" изменений мира, насколько для них самих важен сам факт того, что эти изменения реально состоялись, и, наконец, изменение этого осознания в реальном и семиотически представляемом мире?»

Неизбежный катастрофический вектор вел, в конечном итоге, к очищению и преображению. В реальности катастрофы никто не сомневался, и уверенность эта была многократно подтверждена известными событиями XX века. Но мир, в котором мы все оказались в результате этих изменений, почему-то не предполагает взыскуемой «неизбежности триумфа творческого духа». Посткатастрофическая культура мыслилась «параллельной сюжету волевого движения и духовного прорыва человека и человечества», но она оказалась «не параллельна, а, если так можно выразиться, антипараллельна этому сюжету, характеризующему символистское и, вообще, модернистское, сознание».

«В современном мире творческая личность никогда не ищет контакта с живым откровением. Современный творец сам запускает это "откровение" явочным порядком в художественное пространство в порядке, так сказать, самопровозглашения. Одновременно вполне рукотворно изготовляется и весь социальный контекст творчества, который должен носить заведомо организованный и коллективный характер: музыканты запускают свои опусы на гигантских массовых концертах-представлениях, художники обращают свои инсталляции не к отдельному зрителю, а к толпам, которые должны собираться либо на вернисаже в музее, либо прямо на городской площади и т.д., и т.п. У современного творца идеи (нет, не идеи, а так называемые «концепты»!) всегда заимствуются из некоего весьма пошлого и дешевого, но всегда коллективного, социально значимого и социально формулируемого и апробируемого репертуара, и несущественно, является ли этот репертуар протестным, адверсариальным или регуляторным, политически-корректным. Зачастую оба эти враждующие полюса сливаются в едином стремлении так или иначе выразить, оформить социальную, психическую энергию коллектива. Соответственно, современный мир всегда предпочитает коллективное, массовое потребление артефактов культуры, обязательно сопровождающееся моментами фасцинации, какого-то массового зомбирования... Даже в тех видах творчества, где фасцинация не является, казалось бы, необходимым условием, как, например, в литературе, кино, научном творчестве, не говоря уже о практической деятельности общественного значения, коллективное действо будет так или иначе рождать, сопровождать или оформлять творчество и его рецепцию».

«И, наконец, изменился сам характер личности творца. Вместо одухотворенного облика человека, излучающего всем своим образом и образом жизни откровение и живое воображение, – вспомним лишь столь разных, но в чем-то очень напоминающих друг друга людей, как У. Б. Йейтс, А. Блок, Б. Пастернак, А. Белый, С. Георге – наш культурный мир теперь олицетворяют либо конторщики, приказчики или дворники (на каждого из этих типов людей были похожи Пригов или Уорхол), либо полные бандиты, вышибалы или бродяги».

Статья Дмитрия Сегала рассматривает отражение представлений Белого в современном мире, во всех его главных сферах – личной, творческой и общественной жизни. Эти представления либо искажены до неузнаваемости, либо настолько гротескно преображены, что превратились в свою пародию. Теперь в творчестве Белого видится запоздалый протест, обращенный в будущее – если применить обратный ход, «отзеркалив» современность на творчество писателя. Но «прекрасный новый мир» впишет и этот протест в широкий, практически бесконечный контекст. И, как знать, может быть, окажется, что это и была единственная возможность выжить. И миру, и его новым писателям.

Иван КОЗЛОВ

НОЙ В ДВОЙНИКЕ ГОРОДА ГРЕХОВ

Двойник (реж. Ричард Айоади)

Оказывается, Федор Михайлович написал «Бойцовский клуб»! Кто бы мог подумать! Но именно такое впечатление возникает в середине фильма Ричарда Айоади «Двойник», снятого по мотивам повести Достоевского.

Это не самое популярное произведение русского классика, но одно из самых «крышесносных». Возможно, арест и «мертвый дом» свели на нет одну из невероятных возможностей, которые открывались перед отечественной литературой.

Английский фильм напоминает сразу многое – раннего Линча (монструозные родственники главного героя в психушке, выморочный офис), Кафку, само собой и, как ни странно, упомянутый роман Чака Паланика с незабвенной его экранизацией Дэвидом Финчером.

Итак, вместо «маленького человека», титулярного советника Голядкина, перед нами современный «офисный планктон» Саймон Джеймс, неуверенный в себе молодой человек, не имеющий сил не то что противостоять миру, а даже просто взаимодействовать с ним. В один прекрасный (или, скорее, странный) день он встречает Джеймса Саймона, свою полную противоположность при полном внешнем сходстве.

Сначала это дружба и взаимопомощь, потом «роман воспитания» (Джеймс объясняет и показывает Саймону, как нужно себя вести, да и вообще жить), потом вражда с летальным исходом. Как и в повести Достоевского, двойник нагло и беззастенчиво вытесняет «оригинальную версию» – с работы, из намечающегося любовного романа с сослуживицей, потом из квартиры, а в конце – вообще из жизни.

Забавно, что главную роль – «ботаника» не то что в квадрате, а в четвертом измерении – играет Джесси Адам Айзенберг, не так давно блеснувший в роли Марка Цукерберга в «Социальной сети» (которую, заметим, снял тот же Дэвид Финчер). Женский магнит фильма – Миа Васиковска, чье присутствие в гротескных интерьерах «Двойника» не может не напомнить ее в качестве бёртоновской Алисы. Кстати, эти зрительские воспоминания «по аналогии» или «по контрасту» часто и придают фильму особое очарование своими дополнительными коннотациями. Чтобы довершить замыкание кругов, заметим, что Айзенберг и Васиковски, как сообщают светские репортеры, «крутят роман» ИРЛ.

Это не первая экранизация «Двойника» – начало было положено в 1968 году Бернардо Бертолуччи, а продолжение едва не последовало спустя 30 лет: Роман Полански было принялся за фильм, но с ним поссорился исполнитель главной роли – Джон Траволта! – и проект закрылся. Кстати, тема двойничества должна была быть близка Траволте – в фильме Джона Ву «Без лица» он уже «менялся» внешностью. Впрочем, эта тема рискует оказаться бесконечной...

Ной (реж. Даррен Аронофски)

Ну вот, Рассел Кроу играет библейского праотца. То ли еще будет: казалось бы, библейские «пеплумы» отжили своё уже полвека назад, оставив нам «Джисус Крайст Суперстар», «Послед-

нее искушение» Скорсезе и «Страсти Христовы» Гибсона – опереттку, ересь и натурализм, если огрублять. Но, оказывается, впереди вторая волна и нас еще ждет «Исход» Ридли Скотта и еще много всего любопытного.

«Ной», конечно, не пеплум. Но и на «высоколобое кино» режиссер не замахивается, а просто «отрывается», насколько ему позволяет бюджет и продюсерская «цензура».

Зрелищность – на уровне, сюжет цепляет не только визуализацией известных событий, но и своего рода экологической катастрофой доисторических времен. Шествие к ковчегу животных, особенно змей, остается в памяти надолго. Так вот как оно было! (здесь смайлик).

Несмотря на благословение фильмы папой Франциском, сценарий, мягко говоря, не вполне соответствует первым главам Книги Бытия. Жертвенные великаны – типично голливудская придумка, отношения в семействе Ноя напоминают, скорее, горизонтальный уровень среднеамериканской семейки, нежели суровый быт патриархов. Ну и со злодеями тоже перебор – забравшийся на ковчег негодяй Тувалкаин нужен лишь для финальной драки. Да и Мафусаил (его играет сэр Энтони Хопкинс!) угощает Ноя весьма странным отваром, после которого 3D-шные глюки начинаются уже у зрителей.

В общем, еще одна вариация на тему «независимый режиссер» снимает мэйнстрим и бормочет про себя «я вам покажу...» А заказчики только этого и ждут – затем и звали.

Город грехов – 2: Женщина, ради которой стоит убивать (реж. Фрэнк Миллер, Роберто Родригес)

От «Ноя» плавно переходим к «Городу грехов». Да-да, именно такой локус и был подвергнут уничтожению, ибо исправить уже ничего было нельзя. Но это в писании. Здесь же, оказывается, коррекция возможна, если не в целом, то хотя бы в значимых частностях. Следовательно, мир пока не будет уничтожен...

Фильм вполне ожидаемый – а что может быть приятней, когда твои надежды оправдываются? Только когда зритель получает больше, чем рассчитывал. В данном случае всё было задано жёстко с самого начала – и гениальным комиксом Миллера, и первым «Городом грехов» Родригеса.

Как почти весь Тарантино и явно весь Родригес, второй «Город грехов» – утрирован до предела, причем не надо даже обозначать степень условности – достаточно бэкграунда комикса. И – насилие становится игрой, кровь – белой (при монохромном изображении), а отрубленные головы летят прямо в зрителей.

Картина снималась сразу в 3D-формате. Причем, как сказано в справке «Кинопоиска» (и IMDB, соответственно), «весь фильм был снят на зеленом фоне. При этом из реквизита на съемочной площадке использовались только дверные проемы, ступени лестниц, а также такие основные предметы, как столы и стулья. Все остальное было создано при помощи компьютерной графики. А чтобы актеры смогли почувствовать, где они находятся, им перед съемками демонстрировали 3D-модели этих мест». Представляете, каково играть в таких декорациях?

Редколлегия журнала:

Анна Сафронова
Алексей Александров
Алексей Голицын
Алексей Слаповский
Олег Рогов

Подписано в печать 20 октября 2014 г.
Журнал отпечатан в типографии
ИП Сергеев

Цена свободная

Рукописи принимаются по адресу:
E-mail: safronova-volga21@yandex.ru

Электронная версия журнала:
http://magazines.russ.ru/volga/

При перепечатке ссылка на «Волгу» обязательна.